

ЮНОСТЬ

12 '89



ЯНВАРЬ 1990



ФЕВРАЛЬ

1990

МАРТ

АПРЕЛЬ

ПН	1	15	29
ВТ	2	16	30
СР	3	17	31
ЧТ	4	18	
ПТ	5	19	
СБ	6	20	
ВС	7	21	
	8	22	
	9	23	
	10	24	
	11	25	
	12	26	
	13	27	
	14	28	

ПН	5	12	19	26
ВТ	6	13	20	27
СР	7	14	21	28
ЧТ	1	15	22	
ПТ	2	9	16	23
СБ	3	10	17	24
ВС	4	11	18	25

ПН	5	12	19	26
ВТ	6	13	20	27
СР	7	14	21	28
ЧТ	1	8	15	22
ПТ	2	9	16	23
СБ	3	10	17	24
ВС	4	11	18	25

ПН	29	16	23	30
ВТ	30	17	24	
СР	31	18	25	
ЧТ	1	19	26	
ПТ	2	20	27	
СБ	3	21	28	
ВС	4	22	29	

ПН	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВТ	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
СР	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ИЮНЬ

ПН	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВТ	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
СР	27	28	29	30	31								

МАЙ



Михаил НЕСТЕРОВ. 1862—1942 гг.
Философы. 1917 г.
П. Флоренский и Н. Булгаков.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ

12⁽⁴¹⁵⁾

'89



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Татьяна БОБРЫНИНА

Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН

Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)

Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва



Артур БЕЛЯЕВ

Артур Беляев родился в 1965 году в Горловке Донецкой области. Учился в мореходном училище, работал судовым механиком, лесорубом, строителем, шахтером. В этом году стал студентом Литературного института им. М. Горького. Публикуется впервые.

ТРИ РАССКАЗА

Хорошо иметь себе дом-дачу где-нибудь на Руси, в том краю, чьи дороги помнят версты, где в полях водятся зайцы, а земля — жива и довольна простыми красками цветов. Так, пережив полное совершенствование, загадывает молодой мужчина, впервые почувствовавший себя хозяином, когда смута и лень неуверенности исчезают, в духе — сила, покой и честно хочется жены, дома, малышей. Необходимой становится родина.

Где она, родина? Где место души?

Притаи на миг хлопоты, приятель, слушай, что ответится тебе милей всего, где та местность и жизнь, которые всегда за тобой? Та земля, что готов защищать без опыта, лишь с одной верой — она моя! — той земли ты урожденный.

Огромна наша равнина... А уж на ней — и леса и реки, и луга и горы; гуляют здесь ветры и люди, поют птицы, меняются день, ночь...

Утром, на заре, во время первой росы, когда зима еще далеко, на подворье такой же сильный, приятный запах растений, как и после дождя. Выйти не одетым, замереть на крыльце — и любоваться, и вспоминать.

И вправду, небо в той стороне розовое-розовое: птицы уже не спят... Вот бы так — птицей. Солнце почти взошло, смотри ты, и уже в туче, нет, в облаке, утром — в облаке. Хм, мужики говорят: «Балда встала», — х-ха... Все так ластится. Что это, заутреня? или как там раньше было?.. Хорошо так все рассматривать, а рядом, за дверью и за ставнями, — темно, теплая постель, мягкий бочок... Какой сад! Какие яблони, груши, а вишни! Будто с самого начала росли здесь. А иначе и быть не могло. И у всех так. Тот раз пробовал поспелые вишни после дождя затаянного и совсем не почувствовал сладости, — словно водой вымыло; зато какой вкус сока, как пахуче! Ха-ха, кабы росли у нас пальмы да лианы, чтоб попугаи прыгали и шимпанзе прыгали! — смешно... Нет, не нужны нам тут ни ананасы, ни водопады — ничего, все есть, все свое.

Неужели пар изо рта? Летом?! Сейчас попробую, выдохну. Есть! А еще раз дохну — идет! А и воздух чистый, даже в животе прохладней стало, посвежело. Не буду курить, а ведь хотел выйти и закурить: не буду курить!

Не гремит ничего. Вот бы петуха купить, чтоб кричал!

На праздники, спозаранку!

А днем — зрелое лето, омытое дождями. Уже забыты: освобождение весны и восторг нашествий тепла, и буйный цвет сада с ароматом будущих фруктов. Теперь вода в речке тепла даже ночью, клубника — в банках, в лесах — джунгли и песни сверчков волнуют лишь сверчков.

Отобедали. Спокойным своим поведением («ленивым» — сказала бы жена) дал понять, что все свободны.

А что у друзей? А у них будто бы гулянье — бери да езжай; или они ко мне.

Босиком на двор — по травке да по пыли. Это гододская пыль — привозная, там она пачкаст. А здесь... Пройтись туда, потоптаться, — пяткам тепло, пальцам мягко; да сделать чуть ли не трепака по птичьим узорам, чтоб пушилось и вздымалось, как от бури, небольшой бури. Вот тут-то и прихватит жена, самое время: «Сходил бы на речку да выгнал детей из воды!» И то.

Так: дети живы, губы еще не посинели, присмотр соседский, и отмель надежная.

— Вы хоть загораете?

— Загорали! Папа, папа! Иди к нам! Вода такая теплая! О, в самом деле. Искупаться?

— Папа, папа! Только не уплывай!

Не уплыву. Я рядом.

Да закупаться и позабыть время. Назваться силачом. Тут уж придется пускать пузыри — показывать водяного и русалку, и как крокодил хватается за ногу, и как рак; устраивать цунами и кричать под водой; изображать трамплин и утку.

Еще не начали строить пирамиду, а жена тут как тут — пришла звать к столу, все как положено. Напугать ее брызгами, напустить на нее мокрых детей — чтоб повисли. Выдержит? Выдержала... Ну пойдем, хозяйюшка, проверю.

Вечерняя благодать? — обязательно.

Тихомирис. Не злится. Не торопится рука делать зарубки на столе, — прошедшее или день будущий, что важно не забыть? Будущее — счастье: иначе мы бы не жили; а в прошлом... в нем каждая минута памятного счастья...

Так возникают мысли. Приятен им окружающий покой, когда глаза твои сильнее уходящего солнца и крик твой мощней дремотного ветра; но не для них твоя воля — для раздумий:

о доме: мой бревенчатый дом, сколько лесу на тебя ушло; для того ли росли деревья? Это плохо? Но и дрова когда-то были деревьями...

о лете: так вот оно, оказывается, какое, настоящее лето. Настоящее — это с изысканным запахом, нежным и неуловимым зрелых вишен, крыжовника, еще зеленых и терпких яблок... Так и с женщинами. Пройдет такая рядом — без кричащей косметики, яркой одежды, горящих глаз, — почувствуешь такой же летний, тонкий и непонятный, кажущийся простым из-за своей слабости запах; и сразу не обратишь на нее внимания, увлеченный броскими красотками. Лишь со временем, недоумевая, будешь возвращаться к этому видению, к этому запаху, ставшему загадкой. И будешь стремиться понять и постичь ее. И вот уже, кажется, познал эту красоту; и, кажется, стал достойным такой женщины! Ан нет, голубчик. Чтобы иметь таких женщин, нужно быть мужчиной, на которого они оглянутся.

Эх!..

Выйти на крыльцо, погладить теплой ладонью теплый живот и сказать с чувством:

— А давай-ка, Маня, щец!

— На ночь?!

— На ночь...

Ночь, желаемая добрым людям и безмятежным младенцам, пришла исполнить отбой нежною колыбельной.

Все уснул, как хотел; укачал детей.

Но не получается последнего и душевного вздоха. Отчего? Может, был уж однажды усыплен — так же не больно и без спору? И не был ли когда-то обманут? — обманом нелепым и неумным, которого никто не боялся? И верю ли в это? Не спится...

Ничего нет. Неужели понимаю, что все разрушено; крестьян — нет; неволи — нет; воли — нет; малой, своей родины, родинки — нет...

Неужели?

Откуда этот Кремль?

Зачем эти березы?

Но ведь что-то светит, не дает воле грусти. Сейчас... Вот-вот тронет. Но ведь! Но ведь — главное — не перевелись еще на Руси русские! Люди! Вот же она — Родина, совсем рядом, положила свою руку.

Все хорошо, все хорошо...

В тишине, сложив крестом руки — обняв плечи, засыпал мужчина — проспался художник...

Но спать, спать.

...рождалась красота, — появлялись храмы, жар-птицы...

Нет! спать...

...буланые кони, непобедимые полки...

...спать...

...белое небо, и русское золото!..

До завтра.

Проснулся ли, или причудилось, но очнулся от сна, почувствовал, что светлеет, и подумал: сегодня — завтра.

НАКАНУНЕ

За серым забором располагаются шесть соток земли с домом, летней кухней и подсобными постройками, с пышным огородом, цветами и плодовыми деревьями. Легонький ветерок, прилетевший со стороны, бывшей при татарах Диким полем, мановением своим зыблет ветви: сочные абрикосы в сахарных язвах сваливаются на кирпичные дорожки и в грядки. Пахнет осиным пиром. В небе — пусто; дневной шум близкого города привычен. Заповедник собственных домов и дач.

В гамаке, в тени могучих яблонь, хозяйничает Петр, юноша-допризывник. В локте от него — стол с ягодами и фруктами, нарочно поставленный так, чтоб не мешать самой неистойвой качке. В руках у него книга, весьма удобная для чтения, украшенная, помимо рисунков рыцарского оружия, многочисленными помарками — следами рук читателей.

Старик приляжет — сохраняет силы; у него уже устало тело за долгие годы. Отрок лежит с удовольствием днем оттого, что мышцы его еще не окрепли; он только накапливает удал. Вчерашняя драка обещает ему товарищеский почет, а отдохнувшее тело не угнетает страсти летних купаний, хмельных вечеров и таинственных бессонниц. Знакомые и понятные вещи предстают юношеству в романтических книгах, открывающих верную тактику светлым душам, не ведающим еще мирной тоски тыловых контор; когда совесть их молода и на чашах ее весов не громоздятся еще груды добра и груды зла.

Итак, книга досталась кому надо. Петр читает, думает и воображает.

«...А если б я был рыцарем в старину, то смог бы совладать, безоружный, против меча!..»

Действительно, часто мы представляем чужих предков с умом для нас понятным, менее коварными. Оттого и переносимся воображением в старину, облаченную в дворянские одежды или с нимбом набекрень, а то и к беспощадным пиратам на грозном корабле и с дюжиной разноплеменных наложниц. И в мыслях нет представить себя босоногим пахарем... Завоевательный ум наш оставил себе от прошлых жизней не только самое нужное, но и многими красотами наполнил музей памяти, в котором не каждый — знаток. «...А меня так уже ранили в ногу, нет! в руку, в левую. А я ему кинжалом — в глотку, митров с пяти — на!»

Тут же воображение создало живописные чужие трупы, обезумевших бесхозных лошадей, себя — ловкого красавца в окровавленных доспехах; страшное побоище в осаде многочисленных и наглых врагов; и уже дрожит земля от громады успевающих на подмогу приятелей! Свой меч правит битвой!.. Но видения исчезают, тело расслабляется; слышен собачий лай у дальних соседей... «О!.. Что там за картинка в середине? У... красиво... Такие ушки!» (Ушами треть мужского населения этих мест называет женские груди красивой формы — бедственная удаленность от Парижа сказывается в этой шутке.)

В это время калитка в воротах отворилась и вошел старший брат, с недавнего времени скучающий по причине ранней женитьбы. Петр для него — не умней молодой жены; но и сам он для младшего есть неопределенное родное существо, бывшее когда-то очень больно, а теперь безобидное...

— Что, никого нет?

— Нет. Я один. А что ты куришь? Болгарские? Дай-ка мне одну родопину.

Закурили. Брат постоял у гамака, осмотрел подворье; говорить не о чем — с детства.

— Куда Рекс подевался? — спросил старший тоном неудачно проснувшегося.

— Не знаю. Вечером вернется. А ты что один? Где моя невестка? Гуляет? Ладно, дай кольцо примерить. Ну дай!

— Пошел вон! — с чувством ответил брат и сам вышел.

Петр покачался с закрытыми глазами; подумал о брате, как о забракованном рысак, усмехнулся. Затем накрыл лицо раскрытой книгой, вспоминая пережитое; настроение его не изменилось; он продолжил свое чтение.

«...И с бунтующими крестьянами справился бы в одиночку — мечом плашмя их по головам! — А ну пошли вон, скоты! — Ха! Такие балбесы! Первыми на них налететь и коном валить, как бы не шутя... Чурки! ...А если такие, что злые, которые грабят, убивают, — те будут смелые, с косами, специально сделанными воевать, с вилами; кто с мечом там, с копьями...» Ему припомнилась картинка из учебника истории, где мятежные крестьяне-вандейцы нацелились косою в грудь молодому герою. «Да, с теми опасно... Нет! и с такими бы справился! Увернулся бы и от косы! Так бы подсел под удар, а сам ногой его в живот — раз! А тут еще один — прыг! на меня, стал, ноги расставил, только рубить сплеча, а я ему носом между ног — на!!! Как дал! И на коня!» И тут же яблочным отгрызком попадает в ствол дерева — как врагу в лоб.

Жара спала, зной сменился теплом; ожили тени; яснее стали голоса птиц и людей.

Петр еще помешкал в усадьбе, не имея цели для спешки. Незаметно собрался, закрыл двери и спрятал ключи в потаенном месте. Уже уходя, пиул ногой пустой на цепи ошейник, незлобиво обзавая кобеля сухой, и отправился гулять.

Хорошее имя — Петр. Теперь редкое, немодное. Но за то служит оно хозяину и кличкой, оберегая от злых и дружеских языков фамилию и тело; однако кривому или сухорукому не укрыться звучным именем от привычек нашего общезнания...

Беспечный и удачно повоевавший, он повстречал на тихой и светлой улочке косяря, подправлявшего траву у забора.

Что-то знакомое припомнилось ему...

И вдруг душа его смутилась и ослабела; род жуткого видения ощутил он, когда в злоеющей неудаче возникают мрачные силы, готовые без правил, равнодушно сгубить внезапно покинутого и оробевшего человека.

Его поразил огромная рукоять косы — длинная, гладкая; широкий клинок — настоящая сталь! — мокрый и блестящий; подсечка травы и лысая, неуютная земля. Увидел чужие, самоуверенные руки, сдержанную силу размаха...

Неизвестный мужик, невысокий и некрасивый, махал ко-
сой — сверкала сталь!

Он почувствовал свое мягкое тело, неумелые ноги
и руки...

— Ого... — только и прошептал, — ого-го...

Вот из таких вздохов и рождается в душе ранняя ста-
рость, знаешь?

ПРОСОНЬЕ

Это зыбкое положение сложилось неудачно на окраине
нашего города, посреди морозного февральского утра, в тот
час, когда на улицах больше обычного больных и старых.
Резвый приятель мой и неприметный старый житель встре-
тились по дороге домой, случайно, как встречаются в озере
рак и рыба. Мерзлый путь подвел их, подскользнул, помешал
разойтись обычно; молодой предупредил раньше и громче о
дрянной дороге, но и старый пробурчал свое: мол, знамо мне
и сопливых и скользких. На том они и разошлись — не вста-
ли рядом (что было бы моему рассказу верным символом).

Каждое пятое утро наступившей недели первый человек
около — директор шахты-кормилицы — учил угледобытчи-
ков работать лучше и больше на благо неосоциализма: Голос
убедителя властвовал над залом, вырывался через репро-
дуктор на улицу, где толпа шахтеров, естественно, курила,
вела аечные споры о бабе и о том, что недоразвитый комму-
низм хуже капитализма. Ему равнодушно верили; да и сам
руководитель безумен не настолько, чтобы ответить за свои
убеждения как должно: «Если не выполню обещаний — пу-
щу себе пулю в лоб!» Не такое уж кровожадное время,
к тому же и наганов у теперешних директоров нет.

Молох подземный неуспен, балуете людьми в четыре
приема непрерывно; и круговорот жизни горняцкой схожа
с движением воды в природе, поэтому всегда громоздкое
тело шахты, все ее палаты, заполнено живьем.

А в бане, там, где всегда светло и много черных ручьев,
где медлительные тетki устали наблюдать голых мужчин
и отмывать грязь, шахтеры ночной смены, посвежевшие
и неторопливые, договаривали свои хлопоты, насмекались
над чертовой матерью. Скоро домой, спать; отдохнут черные
веки и руки в татуировках шрамов; осталось отчитаться,
ругнуться с начальником и домой — выходные дни и семей-
ная благодать.

Уже проснулись малые дети, когда Серега вышел из систе-
мы. Яркое солнце поздней зимы гнало сон от глаз, облизы-
вало его нутривую шапку и высвечивало пятна на модной
в наших краях куртке. Напыленная ночным ветром поземка
улеглась к бордюрам тротуаров, к подножиям деревьев и до-
мов; угольная пыль припорошила снег. И день не похож на
полнокровный день — слишком короток и робкое солнце.

Идет парень, которого старухи представили бы: «молодой,
красивый», — и только легкие думки кружат в его голове.
О чем? Может, о предстоящей гулянке с домашней вод-
кой — радостные мечты подпоить бывшую одноклассницу
Нелли и узнать, от природы ли у нее такая высокая грудь.
Или захватил его впечатления недавний рассказ горного
мастера Тимофеевича о верном друге молодости, когда пол-
но было послевоенных урок, а друг не боялся проворства
чужих ножей? Он думает о разном, ведь в юности мечты
и размышления сливаются в одно, и это бравурно и наивно-
красиво. «Что ты знаешь, я уже давно забыл!» — отвечал
мне Серега местной шуткой, когда я бестолково пытался
спорить с ним о жизни. — Пусть дураки думают!» (Дура-
ки — я и прочие, уверенные в открытии неведомой другими
чудо-правды. И он прав, он не придумывает, ему и так все
ясно; он — народ, а мы — грешные пером — лишь подстил-
ка, половик с красивым узором.)

Улица Наклонная пестрела полосками катков, посыпан-
ных песком и вновь раскатанных детворой. На одном из
таких скользких мест торопливый ровесник мой чуть было не
столкнулся с незнакомым человеком. Трудно ему удалось
увернуть от столкновения свое целестремленное тело, изог-
нувшись так, что хрустнуло в пояснице.

— Ты что, дед? Прешь, как бычок, — возмутился он,
недовольный пассивностью путника. — Идешь не знаешь
куда. Ты ж смотри, — добавил затем беззлобно.

— Мотню застегни, — посоветовал без оглядки старик.

На том и разошлись. Обычный диалог для шахты, где до
седых бровей всё Вити да Саша.

Пораженный парень поправил одежду и оглянулся; недоу-
мение и презрение отразились на его лице. Встречный был
тому причиной.

Еще с прошлых времен старика навещали разные недуги.

Они оставили ему худобу и неряшливую одежду, походку. буд-
то идет в гору. Делал он шаги по ненадежной дороге осторожно;
ветхие шнурки лежали бестрепетно на его ботинках в засох-
шей грязи; пальцы с затупившимися ногтями держали бан-
ку, налитую пивом, — пена билась в капроновую крышку.

Жалкая некрасивость старика поразила Серегу; и он ушел,
непривычно грустя. Известны ему были и жизнь-любовь,
и жизнь-веселье; жизнь-страдание навещала нечасто. Каж-
дой из этих маленьких жизней сопутствовали особенные
люди и ситуации: девицы и тайная ночь, дружеское застолье
и здоровое тело, душевные напасти и изнасилованная со-
весть. Но непонятная жизнь — жизнь-просонье, — тусклая,
небывалая и невозможная, еще не раскрылась ему...

Чем пугают лесные ужы босоногих мальчишек? Для кого
не умирают в нашем государстве, в наших столицах убогие —
на вокзалах, базарах, у магазинов они торгуют результатом
прожитого — выставляют обрубки бедер и дырявые руки;
их ли милостить?

Откуда приходят, куда уходят такие уроды жизни? Что
они могут сказать и кто их сумеет понять?..

«Мы с другом», «мы с напарником» — начинают иногда
свои рассказы мужчины. При этом предполагается надеж-
ный товарищ, часто даже ловчее их. А если спутником
окажется такой вот дряхлый, которому жизнь не мила?
С ним в паре много детей из огня не наносишь и от погони
далеко не убежишь!.. А он идет себе — по возрасту еще
мужчина, — неподвижный лицом, с драгоценной ношей в ру-
ках. И если для другого это допинг, ему — негодный и вер-
ный друг, без которого туга; лишь он прощает хилую плоть
и понимает мысли. «Ну, братец пиво, побалуемся?!» — обра-
тился он, как к побратиму, оставшись наедине...

Здесь скажу я: много чего витает около, знай лови.
И услышу ожидаемое: «Сам лови!» Так.

О... различные выдыхания волнуют сферы...

«...Утром Мария-соседка зашла к жинке после магазина,
сказала, стоит возле пивбара цистерна «того пойла» боль-
шая. А мне хоть невеличка; даже не дослушал, взял в кори-
доре банку — пошел по пиву. Может, достану, пока бабы
там брешут. Э, забыл сетку...»

Старик зашел в дом и, не зная, чем оправдываться,
позвал неторопливо: «Света!..» Но та хлопала в спальне по
подушкам, выражала немилость. Наказанный нежданной
и неведомой виной, он подумал плохо о супруге, не зная, где
искать в своем доме глубокую кружку; потер влажную банку
рукавом; присел ненадолго, не зная, с чего начать церемо-
нию питья; подумал о жизни: «От, сучка...» — и позабыл,
вздыхнув. Осталось придвинуть стакан и налить по первому.

Желая позлиться и не выдумав никакой мести, хозяйка
зашла на кухню и принялась молча презирать выпивоху, на
что тот сворал: «Хочешь пивка? Я сейчас налью. Немно-
жко?» Старуха проговорила «тьфу» и ушла убираться по
дому. С утра сложилось, что муж оказался виновным без
проступка, — видимо, так причудливо устроена совместная
долгая жизнь.

Старик включил радио, сел поудобней; вспомнил, как
хорошо бы так сидеть в компании с Лукьяновичем, — у того
всегда бывает рыбка-таранка; рыбалит себе под Марковым
Яром, тоже, наверное, редко ездит туда сейчас. Потом
вспомнил своего друга Колю — тот как-то говорил, что
бабу свою гоняет; такая она у него стертота — нигде не
работала всю жизнь, а пристаёт: куда ты всё деньги носишь?
Так он ее — по морде, сколько уже раз, что и на пол падала.
Вот так...

Старик сидел хмельной; лучи солнца из окна делали кудес-
ным его профиль, светлили волосы — он казался сухими
и прозрачными, какими видятся уже высокие травы.

Он оставил половину банки на вечер, когда по телевизору
будет передача; вышел на двор, справил свои дела и стал
смотреть на дорогу, на богатые хозяйства соседей, пока не
замерзла под пиджаком спина. Его удивило высокое еще
солнце. «О, рано!..» — вздохнул по лету и пошел жить в дом
далее, до вечера, когда жена постелит себе кровать,
а ему — на диване и до темноты, черт знает, сколько можно
наделать всего.

В доме грелась на плите вода, и Света привычно старалась
у огня, его давно не целованная Света...

«Хорошо живем», — отвечают они о себе, о доме, о немно-
гих заботах — старик, безрадостный к воскресным дням,
и старуха, та все никак не соберется начать верить в бога.
Не приведи господь помереть им — и заплачут дети, захлопо-
нут безрадостно; и неразумным внукам неловко будет на
поминок и страшно. А так — хорошо живут. Не тревожат...



Татьяна
КУЗОВЛЕВА

☆☆☆

Все мое здесь — и беда, и слава.
Все мое — и мужество, и страх.
Вот она лежит — моя держава.
Я стою в распахнутых дверях.

В каменной московской этажерке
Помню смех и плач любого дня.
Поименио — палачей и жертвы
Помню я,
Хоть не было меня.

Помню всех. Со всем народом вместе
Тех — стыжусь, а теми — дорожу.
— Только б не уиизиться до мест! —
Словно заклинание твержу.

О Каине

О Каине я думаю. О Каине.
Ведь если даже жгло его раскаянье,
Не потому, что он жалел об Авеле,
А потому лишь, что его ославили.
Я думаю: убийцы и предатели
С веками оптимизма не утратили.
В миру они все чаще златоусты.
В миру у них сентиментальны чувства,
И все-таки, беременные злом,
Они живут — как будто на изломе,
Страдая оттого, что обстоятельства
Их все равно подвигнут на предательства,
Но твердо веря: путь к деньгам ли, к славе ли
Всегда лежит через убийство Авеля.

Про Каина я думаю. Про Кайна.
Как ни крутись, живет он неприкаянно.
Он, может, был бы измениться рад,
Но как в крови изменишь геинный ряд,
Коль ни предать, коль ни убить — нельзя?
...У Кайна — всегда одна стезя...

☆☆☆

Какие ветры? Ветры ни при чем.
Не в них искать беды первопричину.

Не ими сорван с места этот дом,
Где женщина устала ждать мужчину.
Любовью наши держатся дома.
А без любви что стоят эти стены?
Какая их срывает кутерьма
Во всех широтах Солнечной системы!
И дом летит — погашены огни.
Исход полета этого летален.
Отчаяние безумию сродни.
Где видано, чтобы дома — летали?
Он рвется прочь — куда глаза глядят.
И только прочь — от прошлого нодальше,
От памяти — ее так горек яд,
От утешений — в них так много фальши.
Скорей — уж не дожить и до утра.
Скорей — разметан скарб по ветру скудный.
На смерть любви всегда поют ветра
И гонят жизнь — до вечности в секунду.
Он призраком летит за окном.
Он гибнет, рассыпаясь в стеноя.
...Пока живу, удерживаю дом.
Какне ветры! Я им цену знаю.

☆☆☆

Не выходи из дома — подождем:
Земля и небо сближены дождем.
Прочна его серебряная нить.
Прочнее и нельзя соединить.
И мы оставим их наедине:
Прикрой же дверь и обернись ко мне,
И различи, вплотную подходя,
Каким напором дышит речь дождя
И как, ее между собой деля,
Хранят молчанье Небо и Земля.
К чему слова им? Крепче нету пут,
Чем пути те, когда дожди идут.
Когда приближен к сердцу окном.
И все пути обрублены дождем.

Гёльдерлин

В средневековом Тюбингене и,
Смахнув напластованья лет,
Безумного искала гения —
Ведь должен был остаться след!
И указали мне прохожие
На башню или равелин,
Где век свой в заточенье прожил он,
Голубоглазый Гёльдерлин.

И вежливые дети нации
Меня оставили одну.
И, предаваясь медитациям,
Я прислонилась лбом к окну:

— Я знаю, до и после шедшими
Нисколько не бралось во грех
Считать поэтов сумасшедшими —
Так безопаснее для всех.

И утешаемый лишь лекарем,
Но зло осмеивный людьми,
Над желтою рекой, над Неккаром,
Он плакал о своей любви —

Той, коротавшей дни угрюмые
Среди ностылой чепухи,
Той чистой, на черте безумия,
Когда рождаются стихи.
Когда струна поет меж душами,
Когда анахронична речь...

И некому предостеречь,
Что в эту бездну заглянувшие
Не смогут разум уберечь.

☆☆☆

Завидуйте:

Мол, ей легко дается
Полет над бездной к тайнам ремесла.
Лишь мне известно, как на шабаш рвется
Из рук моих домашняя метла.

Лишь мне известно, но каким орбитам
Выводит к счастью женщину семья.
И то, что вы зовете скорбно «бытом»,
То жизнь моя.

И всё, что непонятно в ней и смутно,
То взглядам не откроется чужим.
Лишь левое плечо болит под утро —
Я ночью сердце сдерживаю им.

Ему и днем вполне хватает воли
Страдать и неть, работать и любить...
И на вопросы праздные: — Легко ли? —
Лишь усмехнусь: — Что может легче быть...



Татьяна
СМЕРТИНА

☆☆☆

Знаем, что — молодо.
Знаем, что — зелено.
Знаем — не золото.
Знаем — не велено!

Но — мы откроем
Шкатулку устало,
Что бы там ни было!
Что б ни лежало!

☆☆☆

Только смей задеть-то!
Не увидишь счастья.
Из ужей браслеты
На моих запястьях.
В волосах дремучих
Зелье-сон волнится.
А в кустах колючих —
Волк ручиной таится!

☆☆☆

Мне сказали: «Достигла цели».
Причешу я волос метели —
Не на лодочке я плыла,

По ножу через пропасть шла.
Хоть слезами подол весь вышит,
Знаю, цель моя — этой выше...

☆☆☆

На ладони

мертвый шмель —
Отгудела метель
Полосатая
И мохнатая...
Видно, много полетал
И цветов обцеловал...
Видно, стар он,
Очень стар...

Что ж заботит вещей знак?
Что же в сердце — холод?
Сердце знает — все не так!
Он убит, он молод...

Масленица в Сорвижах

Ух, золотиста —
Маслеика-важенка!
Коню —

мониста,
Мне —
ярмарка!

За малую лепту
Подарок богат:
В его гриву —
Ленту,
В мою гриву —
Бант.
Смеюсь у ключа —
Бант мне идет.
Конь у плеча
Радостно ржет.
Вот она, масленка!
Вот она, важенка!
Мне —

красованье,
Коню —
гарцеванье!

Соперницы

Ах, подруженька моя,
Почему же ты — змея?
Я ль пригрела не со зла?
Иль сама ты приползла?
Скользкая,

вертучая,
Язычком игручая,
Ты вокруг много вилась,
То играла, то стлалась...

Что ж, змея — опасный друг,
Ягодинку в сердце вдруг
Укусила в час зари —
Умирает от любви!

Сгиб любимый человек —
Не коснусь его вовек!

Посажу сирени куст,
Кто идет — посмотрит пусть:
К небу крестики цветов —
Здесь скончалась любовь!

Анатолий
ПРИСТАВКИН

КУКУШАТА, ИЛИ ЖАЛОБНАЯ ПЕСНЬ ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ СЕРДЦА

Повесть

Я сел так, чтобы не прикасаться к скатерти. Теперь я рассматривал, что на столе стояли ваза, пустая, и еще какие-то пузырьки, в них, как потом выяснилось, была соль и что-то еще, совсем бесплатное. И никто не шарпал, не крал, не совал в карман. Чудно. У нас исчезло бы сразу. Мигнуть не успели.

Тут подбежал к нам человек в белом халате. Странный такой человек, недоросток, но горластый, с глазами жулика. Уж кого-кого, а жуликов-то я узнаю везде. У них взгляд такой: бегающий и нахальный.

Маша достала из сумки карточку с цветными талонами. Человек отрезал ножницами несколько талонов, показал на листочке какие-то названия блюд и пропал.

А Маша посмотрела ему вслед и засмеялась:

— Это Филиппок... Так его здесь зовут. Кормил меня в прошлый мой приезд. Он похож на артиста Карандаша. Ты же слышал про Карандаша, который выступает в цирке?

Я уже перестал удивляться глупым Машиним вопросам. Ну кто же в «сице» не знает Карандаша. Вот недавно в картине его смотрели, картина называлась «Наш двор». Там Карандаш под потешную музыку бежит с портфелем, потому что он домоуправ, и хочет организовать работу по уборке двора, а у него, дурачка, все валится из рук, и ничего он делать не умеет. А все остальные трудящиеся даже очень умеют все делать. Они дружно выходят во двор, и пока Карандаш потешно бежит и всем мешает, трудящиеся разбирают свалку во дворе и делают ужасно красивый порядок.

Пока я пересказывал Маше картину, я про себя подумал, что этот Филиппок с черными комичными усиками даже очень напоминает Адольфа Гитлера, каким его рисуют в газетах... «Собирает он команду, посылает на восток, а немская команда будет драпать без порток».

Маша улыбнулась стихам. А сама она помнила другой фильм, про поезд, который идет, и все хором поют: «Тра-та, красота, мы возьмем с собой кота, чижику, собаку, Петьку-забияку...» В общем, там поют, а один толстяк все ест и ест, а Карандаш вот как здесь, в ресторане, бежит с подносом, и все-то у него с подноса валится, и тарелки, и хлеб... Правда, Филиппок хороший официант, и у него ничего не валится.

Тут он снова к нам подбежал и поставил передо мной и перед Машей настоящие белые тарелки, я из таких еще не ел, их и разбить немудрено. А в тарелках дымилось что-то вкусное, запах проридил до кишок. Тут же Филиппок положил мне две железки, одна из которых нож, а другая вилка. Нож я пощупал на остроту, заточен так себе, а вилка мне понравилась: если сю кого пырнуть, так не хуже иного гвоздя будет. А Филиппок вернулся и поставил графин с красной водой, а к нему стаканы, которые у них называются бокалы.

Маша сказала:

— Это морс... Он сладкий. Давай выпьем и посидим.

Я сразу подумал, что вот такой морс Антон Петрович небось с ней и пил.

Я взял стакан двумя руками и все сразу выпил. Облизал стеклянные края и губы. А вот есть оказалось нечем, ложку-то они не дали. А попросить у Филиппка я побоялся, рявкнет еще: куда, мол, стянул? Но пока я раздумывал, Филиппок из-за моей спины положил ложку.

— Вот, сударь... Для удобства,— и улыбнулся в усики.

Это я-то сударь, ну прям кино! И как он, ловкач с быстрыми глазами, успел догадаться, что мне тут ложка нужна!

Но у нас и правда, как в кино, где я был не совсем собой, а кем-то, кто играл меня. И странно видеть эту игру и знать при этом, что сидит-то не кто-нибудь, а сиюю вправду я, хотя в это трудно поверить.

Кукушата, конечно, не поверят. Да я и сам завтра не поверю, когда буду вспоминать. Вот бы всю жизнь отсюда не уходить, а занять место, вилку с ножом за пазухой заханьрить да другие стекляшки, чтобы не потырили, а стул можно тоже с собой носить. На плече или за спиной. Он и нетяжелый совсем.

В этот момент произошло еще одно событие.

В конце зала в углу, рядом с деревом появились два человека. Их никто, кроме меня, и не заметил. Все торопливо пожирала из своих тарелок. Один из прибывших, весь



какой-то членистоногий, в военной форме, но без погон, поднес к подбородку скрипочку, а другой, черный, толстый, носатый, из носа волосы, но с гармошкой, вдруг заиграл что-то протяжное, а скрипач весь задергался, затопал ножкой, задвигал быстро смычком, закрутил головой и — появилась музыка. Настоящая музыка, которую все могли слушать. Но все жевали и делали вид, что они не слушают, а слушал один я, забыв про ложку и про тарелку. И вот что меня сразило: скрипач и гармонист тоже делали вид, что им никто не нужен, а будто они играют только сами для себя! Ну, и для меня. Ведь я-то слушал!

Маша пристально посмотрела на меня, наверное, догадалась, о чем я думаю.

— Это здешние музыканты... Хорошо, правда?

— Не знаю,— сказал я.

— Все-таки хорошо. Старинный вальс. А вот как зовут их... Сейчас вспомню... Да, правильно: Марк Моисеич, это который со скрипкой, а тот с баяном Роман... Они в прошлый раз играли. Но ты ешь, они еще долго будут играть.

Вот новости, чтобы меня просили есть. Я молниеносно схватил все, что лежало на тарелке, но языком вылизывать тарелку не стал. Потому что увидел, что Маша тоже не лижет и никто кругом за столами тарелок не лижет. Я пальцем все подобрал, а палец тот облизал. А чтобы не думать об еде, стал смотреть на музыкантов. Тот, который Марк Моисеич, все топал тонкой ножкой и медлительному, туповатому Роману кричал сердито в перерывах между музыкой:

— Тут же соль, соль нужна!

Я посмотрел на стол и подумал, что соли мы могли бы и своей им отсыпать за такую игру, если только Филиппок не заметит. Жулики — они приметливые. Но Маша ухватила мой взгляд и поняла по-своему:

— Ты не наелся, Сергей?

Я вздохнул. Ну, что можно ответить на такой глупый, дурацкий вопрос. Как ей объяснить, что мы, которые из «спеца», можем есть много, очень много, в общем-то сколько нам дадут. И если будут давать без конца, то мы без конца будем есть. Даже сто тарелок! Хотя сто тарелок нам никто никогда не даст. В том кино, рассказанном Машей, жирный толстяк, который все время ест и ест, и тот не получал сразу, наверное, сто тарелок!

Маша поняла мой вздох по-своему. Она взмахнула рукой, и рядом сразу же объявился Филиппок, который как Карандаш, но который еще похож на Гитлера. Он щерился сквозь свои усики и глядел на меня так, будто не Маша, а он был моей родной теткой.

А Маша полезла в сумочку и опять достала талоны. Филиппок отстриг крошечными ножницами два талона с цифрами, ссыпал их в кошелечек на груди и исчез. Появился и исчез он как в сказке, мгновенно. Маша не смотрела, а я на всякий случай проследил, правильно ли он отрежет талоны. Я спросил Машу про талоны. Кукушата ведь тоже захотят знать, каким способом в ресторане добывают жратье, и надо им все подробно разъяснить. Потому что им в этот ресторан никогда в жизни не попасть и даже не представить, где я побывал и каким образом меня кормили на этом месте.

Да и мне, и мне на это место никогда не попасть! Это ведь дуриком с Машей проник, пролез в узкую щелочку, которая не для нашего брата шакала. Сижу барином. жру, как барин, а выскочу отсюда, так кто-нибудь с ходу прыгнет и займет мой стол, и мой стул, и мою тарелку!

Такие были у меня переживания в то время, как Маша рассказывала про себя, что служит она в санитарном поезде и ездит на нем то на фронт, то с фронта, а в поезде, прямо на ходу, лечат и выхаживают раненых наших бойцов.

Маша опять посмотрела на часы и объяснила, что на этот раз они встали вблизи Москвы, и, когда из вагона перегрузят раненых в госпиталь, они снова поедут на фронт... Завтра или послезавтра. Так сказал их начальник.

Играла музыка, топал тонкой ножкой, вертеться, как на шарнирах, скрипач Марк Моисеич, занималась едой, будто срочным делом, публика. Но среди всех, кого я смог увидеть — а большинство были военные, — я не разглядел ни одного пацана. Я еще раз удостоверился: сюда и сынков-то, всяких там Карасиков с папами Наполсончиками не пускают, не то что беспризорницу, вроде меня.

Маша вдруг спросила:

— Хочешь поехать со мной?

— Куда?

— В поезде... Мы возьмем раненых, а потом в тыл... И на фронт. Так и будем вместе ездить. Ну?

Она смотрела на меня и кусала губы. И глаза у нее были какие-то страдающие, будто ей было больно.

— А Кукушата? — спросил я тогда.

Мне представилось, что мы все бросаем наш заклятый режимный «спец» и начинаем ездить на фронт. А еще нам талоны дадут, чтобы мы на станциях жрали из белых тарелок и пили сладкий красный морс... Вот это жизнь! А мы будем кричать: «Эй, Филиппок, гони сто тарелок жратья! Нет, не сто, тыщу! Сто тысяч! И все сразу!»

Но мечта оборвалась так же неожиданно, как и возникла. Маша виновато произнесла:

— Нет, всех невозможно... Сергей... Я за тебя могу у начальника поезда, полковника, попросить. Ну, как... тет-ка... Я уже о тебе упоминала... Я хороший врач, они меня ценят... Понимаешь?

Я кивнул. Ее-то они ценят, они нас, Кукушат, не ценят. Вот сказочку слышал, не помню уж кто в «спеце» рассказывал, как летел орел, огромный такой орел, а к нему присоединилась мелкая птишечка. День она летит за орлом, другой, на третий устала и жалобно кричит: «О-ре-е-л, а о-ре-е-л... А куда мы с тобой летим?». Орел подумал и, не поворачивая головы лениво ответил: «А хрен его знает!»

Так нужно ли нам роиться и спешить за орлом, то бишь за поездом, которому до нас, как и всем остальным, в этом мире нет дела? Как нет дела никому до Марка Моисеича и Романа! А уж как стараются, и музыка у них прямо до груди, до печенок и селезенки достает.

А вот они закончили, и опять никто не заметил. Сложили молчком да тишком свои уставшие инструменты, присели за столик неподалеку. Им что-то в тарелочках принесли. Наверное, плату за их музыку.

А вдруг они такие же, как я, бедолаги, покоряют сейчас да и вытрут на улице. Музыка-то никому здесь не нужна! Только мне, который здесь чужой!

Я доел вторую тарелку, что мне принесли, с жалостью посмотрел, на ней еще для облизыванья осталась коричневая жижищечка, но не рискнул вылизывать. Тихий Филиппок с понимающей миной, улыбаясь в усишки, стоял за моей спиной и караулил мои движения! Небось унесет за занавеску да сам и оближет! По роже видно.

Я сказал, не глядя на Машу:

— Я без Кукушат не могу.

— Почему?

Опять это глупое: «Почему».

В «спеце» бы меня так спросили, я бы ответил: «По кочану!»

— Не могу... Они же свои.

Маша сказала, заглядывая мне в лицо:

— Ну какие же свои... Они тебе не родня! Ты разве не понял?

Я-то понял, это она не поняла. Мы все в «спеце» друг другу родня, родня тем, что мы все ничьи. Как, скажем, родня дворняжке дворняжка. А Кукушата не просто шантрапа, это Кукушкины, породы такой, значит.

— Да не Кукушкины они! И ты не Кукушкин, господи!

— А кто?

— Ты Егоров!

— А они?

— И они кто-нибудь.

— Но кто?

Маша затравленно оглянулась. Сладенький Филиппок стоял за спиной и с улыбкой смотрел на нас. Маша торопливо вынула деньги, я даже рассмотрел, что это были две бумажки по сто рублей, и как-то ловко сунула Филиппку в руку, и он еще больше осклабился.

А мне сказала:

— Пойдем! Скоро поезд!

Мы пошли снова через зал, и я все выворачивал шее, чтобы запомнить лесную картину. Последний раз оглянувшись, я увидел Филиппка, который понимающе улыбался мне вслед.

Я сказал про себя:

«Господи... Боже! Если ты есть! Сделай так, чтобы я еще когда-нибудь, хоть через сто лет попал сюда! Сделай, господи! Ну что тебе стоит! А я что хочу, я буду терпеть, и «спец», и шефов, и все! Я бы от пайки по корочке отдавал, если бы знал, что это надо... чтобы попасть когда-нибудь в жизни в такой рай!»

Поезд пришел, но не сразу. И Маша отчего-то все дергалась, взглядывала на часы, и я подумал, что она боится опоздать. На меня она почти не смотрела.

— Может, я пойду? — сказал я ей. — Они там будут искать.

— Переживут! — ответила она резко и крепко взяла меня за руку. Будто испугалась, что я и вправду убегу.

А потом показался паровоз, и Маша почему-то еще сильнее вцепилась в меня. Она крикнула, я едва за шумом расслышал:

— Сергей... — И опять на паровоз и на меня. — Сергей... Я хочу тебе что-то сказать...

Я кивнул. Хочет, так пусть говорит. Я уже привык к ее дурным вопросам и ничего интересного для себя не ждал. Если она про своего Антона Петровича заведет и слезами меня начнет омыывать, я сбегу. Не такая уж она сильная, чтоб меня удержать.

Паровоз прошипел и встал. И люди пробежали. Но народу уезжающего было мало. И он почти сразу загудел. А Маша мне закричала:

— Вот что... Сергей! Я завтра приеду! На полчаса! Там такой поезд есть, чтобы сразу мне обратно... Так ты приходи сюда утром... Ты понял? К восьми утра приходи и подожди. Вот тут!

— А завтрак? — спросил я.

Я не мог не спросить, потому что я такой и все мы в «спеце» такие, нас хоть про запас корми, а пайку-то нашу отдай!

— Я тебя тут накормлю!

— Тут? — спросил я, сразу представив, что, может быть, она поведет меня снова в тот, заказанный нам всем рай?!

— А пайка? — спросил я опять.

— Вот глупый! — закричала она и побежала к вагону. Залезла по ступенькам, и поезд сразу пошел. Она высунулась из вагона и закричала на весь перрон: — Се-ер-ге-ей! Завтра! В во-о-семь! Жди-и!

Я махнул рукой, чтобы не торчала в дверях и не кричала, как психопатка. А я сам решу, как мне быть и с пайкой и с поездом. На горизонте появился мент, издали приглядываясь ко мне, и я тут же двинул в противоположную сторону, чтобы поскорее попасть домой.

12.

Ночью плохо спалось. Не то что я переживал или меня смутил такой поворот с Машей. Сейчас в войну у всех, как сказала Туся, балуют нервишки. Все стали какие-то психованные, сами не знают, что делают. У нас в поселке из-за этого то под поезд бросаются, то купороса или кислоты напьются. А то и стреляются, и так бывает. А Маша, и без очков видно, сдвинута на своем Егорове. Ей дурная голова ногам покоя не дает.

Впрочем, если послушать, то и о нас и нашем «спеце» в поселке не лучше говорят. Одни считают, что мы сплошная уголовщина и по нас тюрьга плачет, а другие, что мы просто психованные, оттого-то нас так крепко и держат, и никуда не пускают.

Директор Чушка при случае тоже не прочь загнать про наше психопатство, если надо из милиции вытаскивать. «Не знаете, что ли, — скажет, — у меня тут филиал Белых Столбов, я за их действия ответственности не несу!»

Врет, конечно, несет и только пугает, но ему так удобно пугать. Спросу меньше. Но если к нам приглядеться, то видно, что мы и сами-то ведем себя, как психи. Сандра вон в дни зарплаты попрошайничает у ворот швейной фабрики, а накопив сколько-то денежек, бежит на вокзал, чтобы в Москву уехать. Последний раз и Корешка с собой прихватила. Их выловили, когда они в поезд уже успели сесть.

В своем кабинете Чушка спросил у нее:

— Чего тебя несет в Москву? Ты можешь ответить?

Но она ответить не могла. А за нее ответил Корешок:

— Мы собирались в Кремль к товарищу Сталину.

— Зачем? Он что, звал вас в гости?

Сандра слушала и молчала, уставясь в пол. Впрочем, Чушка тоже в пол смотрел, даже свои ворованные золотые очки забавлял для грозности нацепить. Этот последний побег вывел его из себя.

— Зачем? — крикнул он. — Зачем?

— Мы хотели спросить...

— Что спросить?

— Ну, спросить... Про родителей...

— О каких родителях ты говоришь? — закричал Чушка. Его лицо побавровело. — У вас нет родителей! Нет! И не было!

В это время по радио песню пели.

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде...

Чушка свирепо посмотрел на репродуктор, который мешал допросу, подбежал и выдернул вилку. А мы все это через окно видели. Не замечая нас, он закричал, обращаясь к милиции, которая привела Сандру:

— Но вы же видите, она чокнутая! Они все у меня чокнутые! Их всех надо от общества изолировать!

Тут он подскочил к Сандре, взял ее за воротник, она даже голову от страха втянула, и мы вслед за ней втянули, думали, что он ее сейчас ударит. А Бесик прошептал: «Если стукнет, я ему окно побью!»

Но Чушка не стал бить Сандру, а лишь кулаком перед ее носом помахал.

— Ты вот что... — закричал ей в лицо. — Ты третий раз весь «спец» баламутишь! Теперь замолкни! Еще раз уйдешь, я тебя посажу. В зону! Или нет! Нет! Я тебя к Козлу пошлю на месяц! Вот! Будешь у него отработывать!

Говорить Сандре «замолкни» бессмысленно. Она и так навсегда замолкла. А вот угроза Козлом не пустая. Козел, то есть Козлов, начальник станции, сухой такой старикашка с ярко-красными губами и наглым взглядом. Глаза голубые, большие, как плюшки, посматривает, как нахамит. Он-то и снабжает нашего Чушку драгоценным углем, привозит ему домой, а нас посылают разгружать. А взамен Чушка ему девочку для работы посылает. Однажды Сандру тоже отпустили, да она через час сбежала. Появилась вся растерзанная, легла в постель и завывала. Ничего мы от нее не смогли добиться, только поняли, что к Козлу ее нельзя отпускать. При его имени она вздрагивает и становится белее снега. Наверное, им удобно, что Сандра вообще молчит. А если бы мы все замолчали, так еще удобнее было бы. Правда, непонятно тогда, как они бы нас допрашивали, особенно когда комиссия с военными приезжает. Их одна Сандра со своей немой выводит надолго из себя. А тут, если представить, устраивается весь «спец», сто человек, и в ответ ни слова. И наказывать нельзя: все нелегко. Немая картина!

Комиссия ходит, удивляется, негодует, в рот заглядывает, а мы, как идиотики, лишь звуки непонятные издаем! И тогда комиссия кричит: «Они же не кон-тро-ли-ру-е-мы!» К Козлу их! К Козлу!»

Так я все представлял и уснул.

И вдруг увидел зеленый луг, так ясно, будто наяву, а мы, дети из младшей группы, в пионерлагере, идем, выстроившись по двое, на прогулке. Впереди нас вожатая с венком из желтых одуванчиков.

Но почему же я никогда не вспоминал этого лагеря, в котором я был до войны один раз в жизни? Даже лысый военный, который нас пытал, не мог из меня выжать этого лагеря!

А теперь, когда я и думать не думаю, он вдруг явился ко мне сам, да еще в цветном сне. Мы идем, взявшись за руки, а перед нами луговая в зелени и в цветах пойма реки, которая сверкает под солнцем. А вожатую, теперь я точно помню, зовут Люба. И мы все любим нашу Любу, как могут любить только дети, и мы кричим ей изо всех сил: «Люба! Люба! Мы хотим землянику собирать!» Потому что мы знаем, что в зеленой траве около тропинки созрела крупная ягода земляника!

А Люба поворачивается к нам лицом, пятится и смешно, как девочка, прыгает, глядя на нас и улыбаясь нам, хлопая в ладоши, кричит: «А кто будет петь песню про кукушку? Ну, споем?»

Мы отвечаем хором: «Споем!»

И мы поем, господа, как же я мог забыть, что эта песня про кукушку всю жизнь во мне жила и сейчас перехватывает горло от ее незамысловатых слов.

Там адали за рекой раздается порой
Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...
Это птичка поет под ракитовым кустом
Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...

Наши голоса льются, как голоса ангелов с небес, чисто-чисто, звонко-звонко, а нам отвечает с другого берега эхо. Сердечки вздрагивают, восторгаясь этим замечательным днем, за которым будет и другой, и третий, и так без конца, а все дни такие солнечные и только счастливые, где мы все друг друга любим и любим нашу Любу, и так до конца лета.

А потом до конца других лет и других зим, и еще длинной преддлинной жизни!

Она вся представляется нам, как эта сверкающая под солнцем тропка в блестящей траве, овсянная никем не придуманной, а как бы само собой явившейся к нам песней: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...»

Утром я ринулся на станцию, не сказав ни слова Кукушатам, которые, конечно же, высматривали меня с вечера и хотели все от меня узнать.

Я не ждал от этого утра чуда. Но что-то я, наверное, ждал. А если врал самому себе про психопатство Маши, так это для утешения, чтобы легче было пережить, если что-то не сойдется. Хотя, повторю, я не знал, чего же я жду. На станцию я шел, впервые не скрываясь, знал, что скажу, если схватят. Я скажу: «Тетка у меня последний раз приедет на поезде, а я ее должен встретить».

На станции я нарочно вертелся там, где побольше ментов. Мне хотелось, чтобы они меня спросили: «А ты откуда? Не из «спеца» случайно сюда залетел? Или по тебе карцер плачет?»

Но никто ни разу ко мне не подошел. Вот тетка исчезнет, тогда они появятся. Они появляются, когда некому заступиться. Такой глупый у жизни закон.

Я полюбовался на огромную вывеску «Голятвино». Так и поселок называется. Рассказывают, что, когда и поселка не было, стоял на этом месте кабак у дороги и люди вино пили. Ну и пропивались до голя. И говорили: голят-вино... Или же: гулять-вино... А может, врут, винище-то везде хлещет, и в Москве тоже, наверное, не без пьянки!

Я вспомнил про ресторан, сходил, посмотрел на него. Я и раньше тут, рядышком, иногда ошибался, но теперь-то совсем другое дело. На окнах были бархатные красные занавески, и ничего за ними я не увидел. Ни столиков с белыми скатертями, ни деревьев с кадками, ни самого главного, картины на стене, такой красивой, что дух захватывает.

И еще я подумал, что наш Чушка, и Уж, и Наполеончик, и Козел тоже сюда не допускаются. А я был! Захочу, попрошу тетку, так еще зайду. Вот если бы их всех собрать, Чушку, Ужа, Наполеончика, Козла, — выстроить, к примеру, на платформе и так небрежной походкой мимо пройти, да напрямик в ресторан. А они, придурки поселковые, смотрят и от зависти лопаются прямо, и у них слюны изо рта текут. Может, они даже туда проситься будут, а тут на них Филиппок как топнет ногой, как рывкнет баском:

— Пойдите, суцьи выродки! Не видите, что ли! Это не про вас! Это для особых, которые... Которые с теткой идут! А у вас и тетки-то нет! Так ша! Замолкните! И в зону!

За своими мечтами не заметил, как поезд выскочил, зашипел и остановился. Я посмотрел на вагоны, и мне показалось, что Маша не приехала. И вот странно, я испугался, что ее не будет, а я как дурак ждал. И вдруг, когда совсем уж расстроился, обнаружил ее неподалеку. Она бежала ко мне так, будто меня потеряла, а теперь нашла и боялась, что я могу насовсем исчезнуть.

Мой испуг прошел, и даже радость прошла. Ну, приехала Маша и приехала.

А она с ходу, не останавливаясь, подхватила меня и куда-то потащила, я даже не успел спросить, куда она меня тащит. Мы пролетели через зал ожидания, выскочили на улицу, снова нырнули в дверцу вокзала с обратной стороны, спустились в прохладный подвал и вдруг оказались на большой кухне, посреди нее стояла толстая баба, а рядом наш Филиппок. И они сразу сказали:

— Сюда, сюда!

Это была небольшая совсем комната, но тоже со столами, а на столах были белые скатерти и даже вазочки с цветами.

— Здесь и поедим! — Маша торопливо бросила на стул сумку и села. И я сел.

Оглядываясь, она добавила, что ресторан наверху еще не работает, а она такая голодная вышла из Москвы в четыре утра, а через полчаса обратный поезд, а это еще четыре часа дороги...

Филиппок расставлял тарелки, а я хоть отводил глаза, но все равно видел, что было на тех белых тарелках: хлеб, маленькие кусочки колбасы, сахар, масло. Маша полезла в сумку и что-то достала, завернутое в бумажку, и положила рядом с собой. Несколько раз она трогала сверток рукой. А я рассматривал цветок в вазочке и вдруг заметил муравья. Его, бедолагу, вместе с цветком утащили с клумбы, и теперь он суетится, карабкался по стеблю и не знал, в какую

сторону бежать. А куда он из этого бетонированного подвала может выбраться? Попалялся парень, теперь в муравейнике о тебе небось мамка-папка плачут... Или детдомовские, если своих никого нет...

— Ешь. Не зевай,— сказала Маша и тут же занялась своей тарелкой.— Ешь и внимательно слушай меня. Договорились?

Я кивнул. Договориться со мной, чтобы я ел, не трудно. Маша почему-то оглянулась: никого рядом не было, и даже неуловимый Филиппок пропал, растворился в кухне.

— Так вот, Сергей... Папа твой, я тебе говорила, человек был известный и в те годы получил за свой самолет огромную премию. Но тучи стучались, и он ждал со дня на день, что за ним придут. И тогда он всю сумму перевел на твое имя и положил в кассу, так я ему посоветовала. А книжку, сберегательную, отдал на хранение мне, а я ее спрятала у подруги. А потом, когда меня выпустили, я стала тебя искать, а искала, разумеется, тебя — Егорова, а ты уже был Кукушкин, и, конечно, нигде о тебе сведений не было... Я посылая запросы, звонила, ездила... Пока не наткнулась, совершенно случайно, на одну женщину — тоже врача... Она в те поры, когда забирали твоего отца, в детском распределителе специальным работала. Через нее проходили дети врагов народа...

Я умко ест и глотать мгновенно, не жуя, но тут у меня какой-то кусок застрял в горле, и я закашлялся.

— Дети... Кто?

Маша сосредоточенно пила чай и не сразу ответила.

Произнесла, как бы оправдываясь:

— Так вас называют... Прости, называли... Ты пойми... Я не стала бы тебе говорить, если бы не знала, что могу тебя не увидеть. А большие никто тебе этого и не скажет. Но только... — Она оглянулась, хоть в комнате по-прежнему никого не было. — Молчи... Ты понимаешь... Это ведь тайна... Опасная тайна. Я долго колебалась, прежде чем решила тебе рассказать. Но я подумала, что ты уже взрослый и должен знать о себе то, что от вас скрывают.

Я посмотрел на муравьишку: он метался по стеблю вверх и вниз. Сколько же он так будет бессмысленно бегать в этом загоне?

— А кто от нас скрывает? — спросил я, не глядя на Машу.

— Все.

— А они... все... знают? Что мы... такие? Да?

— Конечно, они знают! — воскликнула Маша и опять оглянулась.

— И директор наш знает?

— Директор... В первую очередь!

— А почему мы не знаем?

В это время я поднял глаза и увидел Филиппка, неведомо как возникшего рядом. Он стоял и лыбился в свои усишки. Будто знал, о чем мы говорим, и молча участвовал в нашем самом секретном в мире разговоре.

Маша рукой прикрыла сверток, а Филиппку сказала:

— Я могу вместо карточек деньгами? — тут же выложила сотенные бумажки и опять подхватила меня под локоть:

— Пойдем! Пойдем отсюда!

Я затормозился. Все было съедено, но оставался муравьишка, несчастный и бездомный, который был обречен на заточение в этом подвале.

— Сейчас,— сказал я и подставил ему палец. Он забрался на палец и так, со мной, выскочил наверх, на улицу.

Только здесь Маша вздохнула свободно, сверток был зажат у нее в руке. Она увела меня в дальний конец платформы и стала рассказывать, как она меня искала и однажды наткнулась на эту странную женщину из распределителя...

— Ее фамилия Кукушкина... Ты догадываешься?

— Нет,— ответил я. Тут я нагнулся и сдул муравьишку с пальца. Беги, дурачок, к своим да больше не влипай в такие истории. Эти, из подвала, тебя не выпустят, им даже на ум не придет, что ты тоже хочешь жить.

— Ну чего копаешься? — спросила Маша. — Ты же меня не слушаешь?

— Слушаю,— сказал я. — Ее фамилия Кукушкина... Как и наша... И моя...

— В том-то и дело! Она дала вам свою фамилию. Теперь понял?

— А зачем?

— Она зашифровала вас... Чтобы не было хуже!

— А почему хуже? — удивился я.

— Ох,— Маша вздохнула. — Но ведь вы дети этих, кто арестован. Вам лучше не быть с теми фамилиями. Так она

рассудила. И дала вам, многим, свою... Ну, она спасала вас, понимаешь?

Ничего я не понимал. Но я уже молчал. Потому что был, как тот муравьишка в подвале: никаких ходов и выходов оттуда, куда меня, сорвав с цветка, доставили, уже не было. Это Маша меня на пальце пыталась вынести... А куда? Она же уедет... Уедет, а мне знать и сейчас, и завтра, и всю жизнь, что я не просто Сергей Кукушкин... А враг, потому что мой отец — враг... И что меня скрывали за другой фамилией...

Я вспомнил про сверток и спросил:

— Можно посмотреть?

Маша сказала:

— Это теперь твое.

Я развернул сверток. Там лежала серенькая книжечка, и на первой ее странице было написано: «Егоров Сергей Антонович». А еще круглая печать. И большими буквами сверху: «Сберегательные трудовые кассы СССР. Счет № 4102», а внизу мелко: «Заведующий сберегательной кассой (контролер)» и подпись. Я перевернул еще страницу, она была пуста. Почти пуста. Только сверху, в левом углу стояла цифра. Я сразу ее не понял, она была какая-то странная, будто одни нули.

Маша наклонилась и спросила тихо:

— Ну? Ты разобрал? Сколько он тебе оставил?

Я покачал головой. Ничего я не разобрал. Но слово «оставил» вызвало у меня странное чувство. Мне захотелось плакать.

— Он боялся, что ты один пропадешь... Он спешил что-то сделать. Он сказал: «Я ему в жизни уже ничем не помогу. И он пропадет. Пусть хоть это будет... На черный день...»

— А сколько здесь? — Я и правда не мог никак прочесть эту странную цифру. Хотя в цифрах-то я разбирался.

Маша тихо засмеялась.

— Вот глупый. Ну, читай. Это что? Сто, да? И еще нули.

— А что получается?

— Подумай!

Я подумал. У меня ничего не получалось.

— Сто тысяч получается,— произнесла странно Маша и опять посмотрела по сторонам. — А теперь спрячь... Далеко, далеко, Сергей, очень далеко спрячь!

Она взяла книжечку у меня из рук, снова завернула ее в бумагу, пока я тупо размышлял о деньгах. Что такое сто тысяч, если у меня в жизни самое большее было три рубля. Да и то давно. А сто рублей я видел один раз в чужих руках. А сколько же теперь у меня будет тех увиденных мной сотен? Раз увидел, два увидел, три... Так чокнуться можно. А больше ничего мне в голову не приходило. Ничего, кроме тупой, как полено, мысли, что эта чужая книжка мне не нужна. Зачем она мне? Вот десятку я бы взял... И сотню. Но сотню, может, и не стал бы, из-за нее тут в поселке голову оторвут.

Как сквозь сон, услышал голос Маши:

— Вместе с книжкой я положила другие документы, не потеряй. Там свидетельство о рождении... О твоём рождении. И заверенная бумажка от Кукушкиной: она юридически подтверждает, что в детприемнике дала тебе свою фамилию, а что на самом деле ты Егоров. Но этого сейчас никто не должен знать. Эту Кукушкину и так таскали долго. Она лишь тем и отбилась, что заявила, что вы все, все не помнили настоящих своих фамилий... Она будто бы вынужденно давала вам свою.

Я спросил Машу:

— А если и вправду не помнили?

— Ну, кто-то и не помнил,— ответила Маша.

— Скажи... А может так быть, что я чего-то не помнил, а потом вдруг стал помнить?

— А что ты вспомнил?

— Лагерь,— сказал я.

— Какой лагерь? — Мне показалось, что она вздрогнула.

— Ну, лагерь,— повторил я. — Лес... Тропинка... И песня... Про кукушку, песня...

— Про кукушку? — как-то бессмысленно переспросила Маша.

— Да, про кукушку.

— Ты вот что,— Маша будто опомнившись, сунула мне сверток в карман. — Ты это возьми и спрячь. Я бы тебе еще кое-что привезла, у меня были письма и фотографии, да все забрали. Но ведь книжка тоже память? Я бы сама хранила, но фронт... Могут не вернуться.

Я опять спросил:

— Значит, лагерь у меня был?

— Если помнишь, значит, был,— сказала торопливо Маша и поглядела в ту сторону, откуда ожидался поезд.

И он, правда, появился, прогромыхал огромными колесами и обдал паром.

— А я не знаю, помню я или не помню,— крикнул я, стараясь перекричать паровоз.

— Но песню ты помнишь?

— Помню.

— Значит, и остальное было! — крикнула Маша и поцеловала меня в щеку. — Им хочется, чтобы ничего не было! А оно было! Было!

13.

Глянув в щель, я повернулся к Моте.

Я знал, что он не спит, лежит, вцепившись в свое ружье, и караулит ненавистных ментов.

**Возьмем винтовки новые, на штык флажки,
И с песнею в стрелковые пойдем кружки.**

— Светло,— сказал я негромко. — Скоро начнут.

Я сказал «начнут», но что это означает, я не знал. Думаю, что никто не знал. Начнут, и все. Лучше об этом не думать. Хотя думалось все равно. А сказал я для того, чтобы услышать свой голос. А еще хотелось в ответ услышать тоже голос. Не плач, не стон, не мычание, а голос, обращенный лично ко мне. А то тяжело становилось ждать.

— Чего они делают... Как ты думаешь?

— Мне думать неохота,— ответил Мотя. — Мне им врезать охота.

— А может, сразу не надо? — спросил я, но не очень уверенно спросил, потому что врезать-то им мы все хотели бы. Да как теперь врежешь. Об этом вчера надо было думать.

— А чего ждать?

— Ну... Может, они захотят это... Без драки...

— И ты им поверишь?

Нет, легавым я не поверю. Никто из нас им не поверит. Да мы теперь такие ученые, что не только им, а никому не поверим. Разве только товарищу Сталину, который про нас сказал, что людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодородное дерево.

— Тогда давай поговорим о чем-нибудь приличном,— предложил Мотя.

— О пайке... — воткнулся Ангел.

— Или о куреве,— подал голос из угла Шахтер. И вздохнул.

— Или о мести... — сказал Бесик. — Вот если бы была у нас сейчас граната... Я бы их всех! Всех!

Сандра промычала в тон. Она тоже жалела, что у нас нет гранаты. Но мы все об этом жалели. Впрочем, выбора у нас не было. Берданка в счет не шла. От нее один звук, а проку никакого. Это менты, когда предлагали нам добром сдаваться, не бужить, не расчухали с вечера. Может, оттого и не нападают, что решили, будто мы тут все вооружены! Войско собирают во главе с доблестным маршалом Наполеончиком, который царствует в поселке и безжалостно карает всех, кого увидит: каждая бабка, вынесшая на базар картофельный пирог, у него в спекулянтки записывается, а каждый пацан из «спеца» — в преступники.

И я сказал Моте, но опять же негромко:

— Наполеончик-то расвирипел после вчерашнего... Как бы он стрелять не начал...

— Не начнет,— отмахнулся Мотя. — Они еще за нас отвечают.

— Перед кем это они отвечают?

— Ну, перед кем... Перед всеми...

— Так все против нас.

И вдруг я сказал то, что сверлило меня до костей. Я просто не мог не произнести вслух.

— Все, кроме товарища Сталина. Нам надо ему письмо написать.

— А дойдет разве? — спросил Ангел с телега.

И Сандра промычала, повторив его интонацию, сомневаясь, что дойдет.

— А может, сейчас написать? — сказал Сверчок.

Бесик прямо взорвался от его слов:

— Сейчас? В сарае?!

— Ох, курить хочется,— вздохнул Шахтер.

И все замолчали.

Я посмотрел в щель, в которой теперь ни насыпи, ни

бугра не стало видно, густой туман холодил глаза. Тогда я стал думать о письме товарищу Сталину.

Поезд укатил в Москву, увозя навсегда неродную тетку Машу. А я направился к себе в «спец».

Но до «спеца» я не дошел. Чтобы продлить дорогу, свернул на одну улочку, другую и сам удивился, попав на окраину поселка, на тот самый пустырь, где вчера неподалеку от насыпи и сарая сидел с теткой и обалдевал.

По-нашенски: обжирался на холяву!

Ноги-то лучше помнят, где нам хорошо. Туда и ведут.

Я присел на тот же самый бугорок и, оглядевшись, как это делала Маша, достал пакет, от которого изо всех сил отрывкался: документы, завернутые в плотную серую бумагу. Я положил его рядом с собой на траву и отвернулся, чтобы он не вызывал жалости.

Надо было решить, что мне с ним делать. С ним и с собой.

Я, конечно, понимал, что если его, к примеру, взять да выбросить и вообще уничтожить, то с собой ничего уже делать не надо. Это мы вдвоем с ним не могли дальше нормально жить. А порознь — очень даже могли, и до сих пор вполне нормально жили!

Требуется лишь покрепче закрыть глаза, как закрывает на Историю наш директор Уж — счастливый к тому ж, и раз навсегда сказать себе одно: ЭТОГО НЕ БЫЛО!

А что было-то? — спросу себя. И отвечу — да ничего и не было! Я ни от кого и никогда не родился, и до войны ни с кем не рос. Этаким я птенчик из чужого яйца в гнезде кукушка, то есть, мимо летела! Кукушкин сын! Звучит почти как сукин сын!

В моей Истории есть рассказ о царе Шумерском Саргоне. Шумеры, народ такой странный, все умели, как наши «спецы», а вот исчезли, и ничего, кроме каких-то глиняных дощечек с надписями, не осталось. Так этот Саргон сказал о себе: мать моя, мол, была бедна, а отца, так и вовсе не было. Родила меня мать, положила в тростниковую корзину, вход замазала смолой да и пустила по реке!

Понятно, по корзине на каждого из нас уж всегда найдется! Да и думать так, и отвечать легче: откуда, мол, дружок? Да из корзины! По реке прибыл!

Тогда единственный документ, свидетельствующий о нашем появлении на свет, — это корзина. И ничего, кроме корзины. Я посмотрел на сверток. Ветерок приподнял край бумаги, и он, как живой, шевельнулся.

Чувствует. Шебурщится. Жить просит... А я вот сейчас его и прикончу! Прикончу и с легкой душой отправлюсь в свою, богом данную «спецу», где ждут не дожидутся меня Кукушата! Стану травить им всякие разные истории про ресторан, как трескал за обе щеки из белых тарелок, как обхаживал меня Филиппок, похожий на Карандаша, а может, и на Гитлера, как играли возле кадки с цветком. Притоптывая ножкой, два музыканта: скрипач и баянист! Соль! Соль! Обхохочешься! Я и мелодию на губах сдрынькаю! А если на расческу бумажку положить да сильно дунуть, так целый оркестр получится! Я им про картину на стене загну: лес, зверюги там, не меньше меня размером, прямо наша «спецовская» жизнь в натуре! Бесик, скажу, на дерево полез, а Корешок со Сверчком на земле в помойке роются! Кукушата оборжуют от такой картины! И Шахтер будет лыбиться, покуривая беломорину из той драгоценной пачки, которую я ему торжественно вручу!

Тут же, на бугорке, вырыл я рукой ямку, неглубокую. земля была мягкая, сплошь песок. С оглядкой — все-таки теткина школа не прошла даром — я опустил сверток в ямку и торопливо закидал землей. Заровнял, прихлопывая ладонью, и мусором сверху посыпал. Похоронил, не разворачивая, чтобы не смущать себя и не знать про себя ничего лишнего. Потому что ЭТОГО НЕ БЫЛО.

Вдыхая полной грудью, я отряхнул от песка руки и, не оборачиваясь на место преступления, направился в «спец», где меня ждала пайка хлеба.

Первые полдня прошли особенно свободно, и я, правда, ни о чем не думал. Мне было хорошо, как раньше, когда тоже ничего не было. Пайка оказалась удачной — горбушка, которая достается лишь блатным и то раз в сто лет, да с добавочкой, приколотой, как у нас делают, спичкой к основному кусу. И хоть я не успел проголодаться, но добавочек съел и корочку от горбушки пососал, а потом пошел искать Кукушат, чтобы выложить им скорей свои приключения.

Но Кукушат не было. они отработывали шефство у Чушки на дому. А Туся, выдавшая мне пайку, сказала:

— Можешь не идти... Они и без тебя справятся...
— Могу и не идти, — ответил я. Но про себя решил идти. Чтобы скорей их увидеть.

Только Туся все не отпускала меня, а расспрашивала про тетку, кто она, и что делает, и какие у нее планы. Она даже отложила дела, уехала меня в директорский кабинет, и прямо таяла от любопытства, и липла ко мне не меньше тетки Маши. Будто и сама стала родней.

Я врал и видел, что Туся развесила уши и верит каждому моему слову. Я сказал, что тетка — полковник, она начальник санитарного поезда, а ее муж — генерал... Они скоро снова приедут и заберут меня. Они и сейчас бы забрали, да генерал-то воюет, а тетка ездит... А квартира в Москве пуста, мне там одному ошиваться неохота! Тут, в «спец», как говорят, веселее... Если не прижимают...

— Да нет, да нет, — зашептала Туся быстро. — Кто же тебя будет прижимать, ты у нас теперь такой...

— Какой? — поинтересовался я.

— Особенный!

— Чем же я особенный-то? Наталья Власовна?

— Ну как же, — сказала Туся, но кто-то открыл дверь и позвал, и она крикнула, чтобы подождали, она очень занята. — Вот и Иван Орехович говорил, что тетка, выдать, «шишка» и нужно пересмотреть твоё дело, потому что по бумагам тетка не числится! Он сам проверял!

— Проверял? — спросил я, благодаря мысленно Тусю за ее глупое простодушие.

— Проверял... Он куда-то письмо написал, и вообще... Но ты не бойся. — Туся округлила глаза и понизила голос, поглядев на дверь, там могли подслушивать наши сексоты. — Пока твоих нет, я тебя не брошу... А как приедут, ты меня с ними познакомишь! Ладно?

Я согласился. Как приедут, я ее непременно познакомлю. А про себя подумал, что Туся, хоть и дура, но не такая уж глупая дура, а вполне себе на уме. Вот только долго ей придется ждать, пока «мои» приедут. Подождут они с Чушкой да и скумекают, что дело-то нечисто! Тем более что им в письме отпишут про тетку, никакой, мол, у него, то есть, у меня, тетки нет. Вот если бы им тогда документик под нос сунуть, тот, что о моем рождении... Или прямо книжкой с деньгами перед Чушкиным рылом потрясти?!

Только нет у меня их теперь: ни книжки, ни документов. Были, да спыли. Когда я от Туси ушел, все о документах думал. Решил двинуть к Чушке домой, чтобы не маяться в одиночку, но таким странным зигзагом пошел, что сам не заметил, как очутился на окраине около своего бугорка. Там и присел, едва на ужин поспел, уж Кукушата вернулись.

Окружили меня, стали расспрашивать, особенно Хвостик, он радовался, прыгал и в глаза заглядывал:

— Серый! А Серый! Ты правда на станции был?

— Правда, — сказал я и отдал Шахтеру пачку папирос. Он удивиться не успел.

Но тут в столовой собрание устроили по поводу начала учебного года. Чушка, а потом Туся и директор школы — Уж — оратор к тому ж! — говорили о порядке и дисциплине. Ходить на занятия строем, за непосещение — карцер, ну и прочие привычные дела.

Все эти ненювые новости мы приняли молча. Мы про себя знали, что школа нам не нужна. И Чушке не нужна, и Тусе, и Ужу... Мы из «спец», и это в нас втелось, как клеймо, на всю жизнь. Нас и дальше всякие «спецы» ждут: спецучилища (под надзором), спецремеслуха... спецколония... спецлагерь...

И спецхрана само собой. А стаж нам, точнее «спецстаж», начисляется с рождения. С корзины, то есть, которая уже с решеточкой.

И везде, везде там свое образование, и учителя свои, и школа совсем другая. Там Сабонеев не в чести, ибо он может помочь выжить карасям, но нам помочь выжить в тех «спецуловнях» не может.

Вот в моей Истории, которую я подобрал в светлый час на пожаре... А светлый оттого, что горел-то дом ночью и светло было! И все наши хапали из огня что ни попадя, какую-то тumbочку с продуктами расшарапили... Только мне из тumbочки ничего не обломилось, а я от огорчения книжку подобрал, у нее уже края тлели! Посмотрел: История! Что за История такая, вот пожар — это, правда, история, да еще, видать, уголовная, потому что легавые прибежали... А мы тикать, я книжечку скорей за пазуху! От нее и до сих пор дымом пахнет! А мне, когда читаю, все кажется, что дымом пахнут истории, которые в ней рассказываются. А там, значит, есть история про всемирный потоп, как всю

землю залило водой, а один старик-то не растерялся, сколотил плот, да всех тварей на него и насажал, и чистых, и нечистых... Тем и спаслись... Он их, небось, в корзинках держал... А на некоторых корзинках, чтобы не спутать, бирочка: «нечистый»! Как про нас написано, мы, ясное дело, нечистые, потому что грязные... А Чушка — в роли того старика. Небось, на плоту-то «спецрежим» был, иначе бы перетопли все!

Носит нас по океану, а куда причалим, неизвестно. Да и причалим ли! Вот вам и Сабонеев! Который о карасях болест и лещах разных.

За размышлениями я чуть главного не пропустил. А главное вот что: до школы осталась неделя, и нас посылают в колхоз на уборку свеклы.

До меня дошло, когда все закричали «ура»: поездка в колхоз у нас любят. В колхозе воля, в колхозе жрать! Хочешь, иди в поле, а хочешь, в лес, никаких тебе ментов и легавых, кроме пьяного бригадира дяди Феди. В лесу, правда, не слишком разживешься, гриб там какой-нибудь схавашь, орех подберешь, и все. Зато в поле много кой-чего съестного растет, свекла, к примеру, ее можно сырой жрать, или турнепс, или морковь... А морковью брюхо набить — счастье!

Нас распустили, вслили ложиться спать, с утра пораньше будет от колхоза машина. Я лег и все о документах своих зарытых думал.

Колхоз колхозом, а документы обратно добывать надо. Кругом гудели разговоры вокруг поездки, вспоминали, как в прошлый год на рынок колхозный бегали.

На том же рынке можно даже под ногами что-то найти. Теряют все и везде, но тут особый глаз нужен. В «спец» есть такие, их почему-то «грибниками» зовут. Вот и сейчас один «грибник» похвалился, что червонец вчера нашел!

А кто-то сказал:

— А я сотню видел... Правда, не успел, другие из-под

носа вырвали!

Тогда крикнули:

— Эй! Дайте свет, хочу посмотреть на фрайера, который сто рублей видел! Может, он сто вшей видел! А не сто рублей!

И снова заржали.

Известно, что люди теряют бумажники, кошельки, даже хлебные карточки. Но только все знают, что хотя легенды о больших деньгах бытуют среди «спецов» все время, а вот находят-то мелочишку, рубль, там, или два. Хвостик однажды рылся в помойке, видит, мокрый рубль лежит. Схватил, а он не целый, — половинка! Так Хвостик, бедный, всю помойку в поисках второй половинки перерыл, а потом от огорчения заплакал.

Я слушал чужой треп про деньги, как кто-то их нашел и суккой божится, что нашел, а ему не верят. И правильно делают, что не верят. Я бы тоже не поверил, да ведь сам недавно закопал. Не сотню, даже не тысячу!

И вдруг мне стало холодно от мысли, что их там уже нет, без меня откопали. Потому что любой, кто придет на бугорок, а бродят там многие, всякая шушера, сразу увидит, что землю тут рыли. Это только кажется, что надежно землей присыпано и мусором забросано... У такого, как наши «грибники», глаз наострил на штык в землю-то видеть!

Я даже подскочил, вообразив, что это, мое, завернутое в бумажку, кто-то тырит в тот момент, когда я тут разлеживаюсь, байки дурные о находках слушаю.

А у меня своя находка, родная, кровная в этот момент пропадает!

Ай да Серый! Ай да ловкач! За бесплатно подарочек кому-то сделал! А сам теперь червонец найти мечтает!

Я натянул штаны, а рубашу в руках потащил, якобы в уборную, которая на дворе стоит. Выскочил на крыльцо, а тут как тут наша Туся дежурит, со сторожем ляссы точит... А сторож-то, мы это знаем, хоть инвалид, а Чушке да в милицию все доложит. Ему где-то челюстью снесло, так вторая половина, как целая, доносит!

Он за свои нынешние геройства даже паек особый получает! Как же! Не просто пацанов, а опасных, то есть «режимных», сторожит!

Протрусил я мимо него да Туси, в темную уборную забежал. Кожей, пока летел, почувствовал, что ко всему еще и дождик накрапывает. Вернулся, спиной ощущая: криворотый меня глазом проследил, — и опять нырнул под одеяло. Чуть согрелся, стал дальше думать, как со своей оплошкой

быть. В окно если удрать, то надо час, а может, два не спать. Да ведь если и выскочу, в темноте-то мне документов не найти.

Всю ночь, даже не просыпаясь, я слышал: дождь шумит, разойдясь за окном. А мне все снилось, что я под этим дождем ищу свои документы. Одну ямку вырыл, не нашел, стал другую рыть, и третью... и четвертую... Наверное, за ночь я ямок сто вырыл, но так ничего и не нашел. А когда проснулся утром, у меня пальцы от копания болели.

14.

Утром я сбежал и откопал свои документы, они даже не успели отсыреть. Земля, а сохранилось не хуже, чем за моей пазухой. Теперь я засунул пакет в Историю, а Историю запертал поглубже под рубаху. При себе-то надежней, если шмона нет. Так и поехал в колхоз в машине, ощущая кожей, что документы при мне, около тела!

Ехать недалеко, километров десять. И места знакомые, мы тут несколько раз бывали: поле, овражек и дом с навесом, который зовется «полесвым станом».

Пока искали бригадира дядю Федю, который всегда под хмельком, Кукушата разбрелись по полю. Кто попрактичней, побрел искать брюкву или морковь, другие же тут, на жнивье, стали собирать улиток, у себя в «спец» мы их всех живьем съели, ни одной в округе не осталось.

Я ушел в овражек, присел на траву и достал свой пакет. Снова ощущал его, он был на диво сухой. Или над моим бурком не капало!

Развернул бумагу, расстелил на земле, а на нее сверху положил документы. Стал их по очереди рассматривать, но начал со сберегательной книжки. Про свое рождение я не хотел, не мог читать. Мы уже один раз смотрели с Машей книжку. Но это все равно, что кучей шарापить из одной миски!

Смотреть, как и жрать, надо в одиночку. Чтобы все принадлежало только тебе: твоим рукам, твоим глазам, твоему желудку! А больше никому! Ни Чушке, ни Маше, ни даже товарищу Сталину!

Хотя нет, товарищу Сталину, если бы сказали, я бы корочку от пайки, не задумываясь, отдал!

Я пощупал, погладил серую плотную бумагу, попробовал на язык, потом понюхал. Вкуса никакого, а пахла она дымом, оттого что лежала в Истории. На обложке был нарисован сверху герб и ниже крупно надпись: «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА». Ну, понятно, берегут, чтобы не сперли... Что же у них там, в кассе, своих жуликов, что ли, нет?!

Ниже крупной надписи шли помельче: «ощадна книжка», «омонат дафтарчаси», «сактык кітапшасы», «сактык книжкасы»... А дальше совсем уже не по-нашему. Я так понял: наводят тень на плетень, чтобы показать, что не воруют... Запрятали, мол, так, что не найдешь. В общем, сактык книжкасы! Не лезь, мол, гад, а то по рукам! И по сактыку!

Я открыл страничку, где стояли обозначенные цифрой деньги, ее Маша тогда показала! Но с Машей я ничего и рассмотреть не успел, не только прикинуть про себя, что же эта цифра на самом деле означает.

Я стал внимательно изучать эту страницу. Там было написано: «приход», «расход», «остаток» и «подписи».

Никаких «приходов» и «расходов» в книжке не было, и «остатка» тоже не оставалось, а подпись стояла одна, и та закорючка. Вот тебе и «сактык»! Доказывай потом, что деньги им отдавал! Фигу докажешь! Сактык тебе, скажут, моржовый, а не деньги!

Цифра тоже была одна, ее написали от руки чернилами: единичка, потом нули. Единичка-то одна, а нулей много. Целых пять штук.

Надо бы вслух произнести цифру, но у меня язык увяз, не поворачивается, уж очень она была ненормальная. Вот когда в школе в задачке пишешь, то она кажется нормальной, а здесь нет. Стоит представить, что это не из задачки, и обозначаются не тонны стали, или, там, угля, добытые стахановским трудом, а рубли, которые якобы реально существуют, — становится не по себе. Но, правда, я не верил, что эти рубли на самом деле есть. Для кого-то, может, и есть, а для кого и нет. У меня лично таких денег быть не может. У меня могут быть одни нули... Без палочки...

Пять нулей, вот что тут мое!

В это время нас позвали. Бригадир дядя Федя, коротконогий, сегодня еще не пьяный, в резиновых сапогах и длинном брезентовом плаще и в картузе, с кнутом в руках стал показывать, что нам надо сделать.

Он ткнул кнутом в поле:

— Дергайте бурак, а норма — вон, до того куста!

В поле, метрах в ста от нас стоял единственный куст оршника.

Бригадир сел на телегу и уехал, а Кукушата выдернули несколько свеклин и стали жрать. Впрочем, некоторые уже успели набить свеклой брюхо, и морды и руки у них были красного цвета.

Мотя посмотрел вслед бригадиру, который «конечно, хороший», потом на небо, и сказал:

— Далек куст-то вырос...

— Далек, — согласился Бесик и красноречиво посмотрел на Корешка. — Ведь далеко? А бригадир-то хороший!

— Не близко, — подтвердил, шмыгнув носом, Корешок и утер нос рукавом. — А бригадир и правда хороший.

Втроем они сходили за лопатами, что лежали под навесом, и направились в сторону куста. Через полчаса куст был вырыт и аккуратно перенесен на край поля, где начиналась свекла.

— Поздравляю с выполнением нормы, — произнес Мотя. — А бригадир-то хороший!

— Ура бригадиру! — крикнули Кукушата и разбежались промышлять.

Лишь Хвостик не отходил от меня ни на шаг, да Мотя, всегда нетерпеливый, обстоятельный, окликнул на ходу:

— Ты не заболел, Серый?

— А что? — Я почему-то испугался.

— Вид у тебя...

— Какой... у меня вид?

— Ну... будто тебя взяли менты.

— Документы? — Я машинально потрогал за пазухой. Мне почему-то показалось, что Мотя сказал так: «Будто у тебя взяли документы!»

— Так у тебя документы? — спросил сразу он.

Тут и Корешок с Бесиком подошли, вытирая от свеклы губы и сплевывая на землю жирную грязь. Они тоже стали слушать. А Хвостик с ходу подхватил:

— Менты — документы! Менты — документы!

И правда, в этом сочетании слов была какая-то неусловная связь. А еще я почему-то подумал, что Хвостик тут, в колхозе, среди поля, похож на молодого кабыздоха, выпущенного на свободу. Бегаёт, встает на четвереньки, как восторженный щен, и все нюхает, разве что не лает! Так ему тут вольготно без режима! Ну, и нам само собой. И без всяких документов тут свободно.

И вдруг я решил, что без документов мне будет лучше. Я полез за пазуху и достал сверток. Не тяжелый он, а вот стал я замечать, что давит он на грудь и мешает дышать. Мне даже почудилось, что он разбух от своих собственных нулей и стал толще, чем моя родная История.

Я развернул, не торопясь, бумагу, извлек документы и положил их на землю. А Кукушата стояли, смотрели.

— Читайте... Завидуйте... — сказал я стихами Владимира Маяковского, которые мы изучали в школе, про какую-то красного цвета паспортину, и пошел прочь. Читайте, завидуйте, я гражданин... И чего поэт выставлялся... Я вот тоже гражданин... И ни хрена... Из штанин... И вовсе не из штанин, а из-за пазухи, в штанинах-то после шмона фиг что останется!

...Глупости всякие в голову лезли.

Я оглянулся через несколько шагов и увидел, что стоят Кукушата, вперились глазами в бумажки, которые я положил около их ног, а взять в руки-то боялся. Может, потому и боялся, что никогда не держали в руках настоящих документов! Их документ — корзина!

— Читайте! Читайте! — добавил я, сам не знаю почему, угрожающе. И подумалось: будете знать, из каких корзинок дети берутся! Дети... Которые враги... Которые... Которого... В общем, народа...

По овражку, заросшему мелкими кустиками ивняка, дотопал я до ручья, пересек его по гнилому скользкому дереву и, миновав кочкарник и болотце, вышел к сосновому бору.

Здесь было сухо и тепло, как в деревенской избе.

Я лег на мягкую хвойную подстилку и закрыл глаза.

Сомкнутому с остальными, из «спеца», не только с Кукушатами, как сомкнуты звенья единой цепи, невозможно вычленил себя и остался одному, даже на короткое время. Но сейчас я был один.

Я ведь не крикнул Кукушатам, что мы дети всяких там врагов. Хотя из меня прямо-таки рвалось. Но одно дело услышать от Маши, а другое самому произнести. Да и вот что чудно-то: когда Маша мне это толковала, я не принимал

на свой счет. Будто про кого-то, а не про меня шла речь. Как в кино: там кругом, только потерей бдительность, шпион или диверсант, и все норовят что-то поджечь, да скорей украсть изобретение и продать его фашистам! А мы-то, если посудить, хоть и режимные, но советские, а значит, мы свои, против фашистов боремся под руководством нашего вождя и учителя товарища Сталина.

А теперь выходит, я вовсе и не борюсь с врагами, а сам враг, потому что сын врага! И Кукушата, как и остальные из «спеца», враги, потому что они дети неистовых никому врагов, про которых мне вдалбливала моя Маша.

Я еще подумал, что если есть дети врагов, то должны быть и жены, и племянники, и двоюродные сестры врагов, а может быть, и отцы, и матери врагов. Всего этого я не смог представить. Ведь известно же, что люди, что кругом живут, кому-нибудь да кем-нибудь приходится. И если бы у меня на самом деле была бы тетка, а у нее дети, то эти дети как двоюродные мне сестры и братья стали бы врагами лишь потому, что мой отец тоже был врагом. А если бы у них, когда они подрастут, появились дети, то и они тоже должны были бы врагами, и так без конца. И вышло, что сплошь все, кто бы нам ни встретился, а может, вообще все в Советском Союзе — одни враги! Разве так может быть?

С такой чехардой в голове я и заснул. Сказалась беспокойная почва, когда крутился я из-за документов, которые во мне копал. Но вот свалил свою ношу на Мотю, на других Кукушат и сразу полегчало. Теперь-то я понял, почему люди говорят: «Покайся, и тебе полегчает». Это, значит, я каялся, хотя и не понимал, в чем именно. Может, в том, что я враг? Но хоть и враг, сын врага, но выспался вполне как честный человек, и к вечеру, вовсе успокоившись, я вернулся на полевой стан. Меня тут ждали.

15.

— Значит, ты Егоров? — спросил Мотя.

Кукушата, сгрудившись, смотрели на меня. Даже Хвостик не бросился навстречу, а испуганно выглядывал из-за чужих спин.

«А ведь, и правда как чужие», — подумалось вдруг.

Вспомнились слова Маши: «Ну какие они тебе свои... Они тебе не родня! Разве до тебя еще не дошло?»

А кто тогда свои? Маша? Нет, Маша еще не своя. И уж тем более неведомой мне Антон Петрович, хоть он и оставил мне деньги. А может, я теперь вообще без своих остался?

— Значит, Егоров? — повторил Корешок вслед за Мотей, но строже. Если он молчит, значит, говорит устами Моти, а если повторяет за ним, то слова Моти приобретают более суровый смысл.

— Может, и Егоров, — сказал я. — И что?

— А мы тогда кто? — выкрикнул Бесик и сделал ко мне шаг, будто собирался со мной драться на кулачках.

— Откуда мне знать?

— Но мы не Кукушкины? Да? Не Кукушкины?

— Чакай! Чакай! — миролюбиво произнес Ангел, вступая за меня. — Серый-то при чем?

— А ты... Если Кукушкин, а не какой-нибудь Егоров, — огрызнулся Бесик, поворачиваясь к Ангелу, — то говори, как все! А не чакай! Чего ты сбиваешь своим чавканьем!

Ангел пожал плечами и тихо улыбнулся.

— Это не я... Я хотел лишь сказать «погоди», а получилось «чакай»... Но почему, скажи, Серый должен знать, Кукушкины мы с тобой или нет? Он и про себя толком ничего не знает... Потому и принес документы к нам... Правда, Серый?

— А почему к нам? Зачем нам документы?

— Вот и я говорю! — воскликнул Корешок. — Зачем тетка принесла эти документы? Без них жили, без них проживем!

— Тетка-то хорошая, — вздохнул Мотя.

— А наговняла, как плохая! — наступал Бесик.

— Она деньги принесла, что отец оставил.

— Значит, отец виноват!

— Виноват, что деньги оставил... Ну, ты дашь!

— А может, он и не отец вовсе!

— А кто?

— Сказано же: враг народов... Наворовал и ту-ту!

— А много он оставил?

Все испытующе посмотрели на меня.

А у меня язык не поворачивался назвать им сумму.

— Ну, сколько?

— Там написано, — сказал я.

Открыли книжку, и все Кукушата разом уставились на цифру, проставленную чернилом в верхнем левом углу. Но с ними случилось то же, что раньше со мной: сразу это понять было нельзя. Все разглядывали палочку с нулями и молча сопели.

— Серый! Серый! — крикнул Хвостик, продираясь ко мне. — А мне покажешь? Я тоже хочу видеть!

Я взял книжку и сунул ее Хвосту.

— Сколько здесь? — спросил невинно. Но я знал, что делаю. Хвосту-то ничего не стоило это произнести. И все уставились на Хвостика, ожидая.

— Сто, — сказал он сразу.

— Сто рублей?

— Ого! Гуляма! — воскликнул Ангел.

— Гуляем! — передразнил его Бесик.

— Десять пирожков с картошкой! — ахнул Сверчок.

— А я бы мешок махры купил, — мечтательно произнес Шахтер. — Во накурится бы... Из задницы бы дым пошел!

— А я бы калоши купил, — вздохнул Корешок.

А Сандра промывчала протяжной обычной: она тоже знала, куда истратить такие деньги.

Один Мотя не восторгался. Я это сразу заметил. Он раньше других догадался, что на самом деле означает эта цифра. А догадавшись, уже не суетился и не мечтал. Переживать можно из-за червонца, скажем, или сотни. А когда денег столько, что невозможно вслух произнести, то и волноваться уже незачем. Это все равно, что кому-то из Кукушат подарили бы для утоления голода элеватор с хлебом! А на хрена ему элеватор: как нищему дворец! Ему кусман хлеба дай, он будет счастлив, а уж предел мечтаний — бухарик!

Мотя поглядел на Хвостика, снисходительно поправил:

— Хвостик! Ты у нас известный грамотей! Но от цифры ты оставил один хвостик... Тут вовсе не сто рублей... Правда, Серый?

Оттого, что Мотя назвал меня моим привычным именем, стало не так тяжело.

— Правда, — ответил я и вздохнул.

— А сколько? — настаивал Корешок. — Двести! А может, целых триста!!! Нет, триста пятьдесят!!!

Мотя помотал головой.

— Нет, нет, — и посмотрел на меня выжидающе. И все посмотрели. А Хвостик привстал на цыпочки, заглядывая ко мне в рот, будто мог увидеть цифру, которая оттуда вылетит.

Я знал, что от меня ждут, но не мог себя заставить произнести вслух эту цифру. Не мог, и все. Получалось бы, что верю в нее. А я в нее не верил.

Мотя, странно усмехаясь, ответил за меня:

— Ладно уж, скажу. Там написано всего-то... — Он опять посмотрел на меня, а потом обвел глазами напряженные лица Кукушат. — Всего-то... Сто тыщ.

Он назвал «сто тыщ», нисколько не затрудняясь. И я сразу же подумал, что он тоже не верит в эту сумасшедшую цифру и смотрит на нее отвлеченно, будто разговор идет о задачке на уроке.

— Это сколько? Серый? — выкрикнул Хвостик. — Это больше ста рублей?

Но все остальные молчали. Уже не спрашивали. Вопрос повис в воздухе, потому что цифру назвал не я, которому могли и не поверить. Моте верили всегда. Он не умел врать.

В это время Сверчок, которому попала в руки сберегательная книжка, перелистнул страницы и нашел то, что другие не заметили.

— А вот тут, в конце написано... — сказал он. — «К сведению вкладчика»...

— Давай! Читай! — приказал Бесик. И Сандра после долгого молчания мыкнула требовательно. Она промышляла у фабрики мелочью, больше рубля ей не давали. Но она хотела знать подробности про такие деньги.

Сверчок громко прочел:

— Государство гарантирует тайну вкладов, их сохранность и выдачу по первому требованию вкладчика...

Мотя взял у Сверчка книжку и тоже стал читать. Оторвался, сказал:

— Тут написано, что арестовать могут!

— Кого? — закричали Кукушата в несколько голосов. — Серого? Арестовать?

Все посмотрели на меня с уважением. И правда, за такие деньги нельзя не сажать, это и дураку понятно. Спроси кого хошь, он скажет: у честного гражданина столько денег не бывает. А если есть, значит, награл! Поинтересуются

ведь: «Откуда грóщи, человек хороший». А ты ни «бе» ни «ме!» Антон Петрович какой-то подарил... Это чтой-то, господи-товарищи, не верится, что такие грóщи у нас дарят задарма! А тащите-ка сюда самого Антона Петровича, пусть и он ответит, как у него, врага народов, такая несоветская цифра завелась, что люди выговорить не в состоянии! «Так его взяли», — скажут. Ага, взяли, значит, не напрасно, у нас напрасно не берут». А теперь по стопам папочки и сынок пошел... Тоже огрести советское общественное богатство ни за что ни про что мечтает! Так мы «гарантируем» ему вполне «тайно» десять лет!

За разговорами не заметили, что быстрые сумерки перешли в ночь. Все стояли вокруг Моти и не торопились в дом, где на полу была разложена солома и огромный брезент, которым мы укрывались. А для тепла мы на ночь алезали еще в мешки из-под картофеля.

— Тебе, Серый, надо ехать в Москву, — так мне сказали. — Лучше завтра. На свекле и без тебя управимся.

Тут Сандра громко замычала, и все подумали, с ней что-то происходит. Она разволивалась, слышно прямо было, как ее трясет.

— Чего она? — спросил Мотя.

— Хочет в Москву, — пояснил Корешок. — К товарищу Сталину. Она ведь к нему и раньше хотела!

— Ну, пусть и она едет! — решил Мотя. — Сталина увидит. Он там в Кремле живет. Это недалеко от вокзала.

16.

Станция наша зовется Голятьвино. Кратко так — Голяки. Ну и мы, естественно, Голяки. А прямо за линией напротив вокзала стоят рядком шесть домов-бараков, к станции они повернуты торцом. Вот на этих торцах, раньше, наверное, белых, а сейчас серых от копоти, с каких-то довоенных пор намалеваны зеленой несмываемой краской слова известной песни: «МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ!». На каждом бараке по слову. На первом бараке «МЫ», на втором — «РОЖДЕНЫ», на третьем — «ЧТОБ» и так далее до слова «БЫЛЬЮ».

Жизнь в бараках известно какая, а с песней, так вроде легче. А те, кто живет тут, тоже приспособились к песне, они по этим словам между собой бараки различают. Кто-нибудь спросит: «Вы постное масло где отоваривали?» А ему ответят: «В «Сказке» выбросили, да уже кончилось... А вот в «Былью» по мясным талонам селедку дают!»

Можно услышать и такое: «Вы, кажется, проживаете в «Рождены»?» «Нет, мы оттуда пересели, мы снимаем угол в «Мы», а наши старики прописаны в «Чтобе».

В «Былью», между прочим, и мы были, там расположена родимая голятьвинская милиция. Чтоб она когда-нибудь сгорела! Не их, барак жалко! Не раз приходилось у них гостить. А рядом, в «Сказке», находятся «Похоронное бюро», «загс», «Сберегательная касса», к сожалению, не та, что нам нужна, и другие поселковые заведения.

Сюда мы и пришли после двух часов быстрой ходьбы по пыльной проселочной дороге. Было еще темно. А выходили из стана при звездах.

Чтобы не волновать ментов и самим не волноваться, встали между бараками «Сделать» и «Былью», прикрываясь от посторонних взглядов дохлыми кустиками акации.

Решив согреться, Сверчок затеял песню. Известно, что, когда поешь и под песню дрыгаешься, немного теплей.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор;
Нам разум дал стальные руки — крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор!

Припев Сверчок спел иначе:

Все выше, и выше на крыше,
Мы будем с тобой выплывать,
А если поднимется шухер,
Мы будем бутылки кидать!

«Если шухер поднимется, мы будем удирать!» — вот как надо петь. Песня-то вообще про нас. Еще вчера поездка в Москву казалась сказкой и вот превращается в быль. Если, конечно, легавые не пересекут да не снимут с поезда в самый последний момент. Мы знаем: вовсе нам не даны «стальные руки-крылья», и мотора нет, который бы заменил сердце! Руки, пальцы на руках у нас скрючились от холода, и мы согревали их, поднося ко рту, а что касается сердец, никаких ие железных, они в тот миг, когда мы решили «преодолеть пространство и простор» аж до самой Москвы, где никто из нас не бывал, стучали изо всех сил, бились так, что нам казалось, слышит весь поселок!

Ангел, засевший вблизи насыпи, в траве, негромко проку-ковал, что означало — поезд на подходе.

Мы тоже увидели три огненных пятна, надвигающихся из серого сумрака. Никакой команды не было. Мы разом бросились наперсрез, оглядываясь на Сандру и на Хвостика, чтобы, не дай бог, не споткнулись да не попали ногой в стрелку! Но успели проскочить и уж спиной мы почувствовали, как, злобно шипя и обдавая нас паром, сотрясая землю, прогудел за нами паровоз, и от него, как от шипящего котла, пахнуло жаром, горячим металлом, перегретым маслом и угольной гарью.

Но все эти громы и запахи сдуло вагонным ветром, поднялась пыль, и поезд встал. Мимо нас побежали люди.

Разбившись на несколько групп, чтобы не привлекать внимания ментов, мы оглядели вагоны, выбирая себе проводницу. Мы знали, какая она должна быть. У третьего вагона увидели: не молодая и не старая, в железнодорожной шинели с погонами, но в платке и в валенках, она встала, загораживая собой дверь и оглядывая сонными глазами станцию.

Распределились мы так: я и Сандра, то есть отъезжающие, чуть в стороне, недалеко, чтобы в несколько прыжков оказаться у двери, Мотя посередке у окна вагона, рядом Корешок. А Сверчок и Ангел в разных концах от нас, для прикрытия и для шухера! Все было продумано еще вчера.

А к проводнице не спеша направился Шахтер, держа за руку Хвостика. Мы увидели, как он приблизился к ней и что-то спросил; она нехотя ответила. Он достал независимо пачку папирос «Беломор», закурил и ей предложил, ясно, от такого щедрого подарка она не откажется. Сейчас Шахтер скажет: «А мы батю встречаем, чего-то он не выходит, никак заснул...» «Да я объявляла!» — удивится проводница. «Ну, — усмехнется Шахтер, — а он-то у нас глухой! Хоть бомбу над ухом взрывай!»

— Ох, господи, — донеслось до нас, — где же его искать-то!

Проводница оказалась и впрямь жалостливая, такую и выбирали!

— Вот, братишка покажет! — И Шахтер ткнул в спину Хвостика. — А я тут покараулю! Идите, не беспокойтесь!

— Ну да! Ну да! — и, подхватившись, проводница с Хвостиком скрылась в вагоне.

Шахтер сделал нам знак. Мы рванули, и следом за проводницей влезли в вагон, прямо в гущу сидящих и лежащих пассажиров. Тут-то уж нас не достанешь!

Вжились, притерлись, стали сразу своими. Сандра нырнула на третью полку, отодвигая чужие мешки. И было слышно, как проводница окликает пропавшего Хвостика, который по нашему замыслу должен был для протяжки времени скрыться с ее глаз, а уж потом выскочить к Моте в окошко!

Мимо снова пролетела проводница, торопясь к выходу, но без Хвостика. И тут же поезд дернулся и медленно поплыл. Стукнули колеса. Я глянул в окно, стараясь увидеть кого-то из наших, хотя бы Шахтера, но не увидел. Тогда я посмотрел на Сандру; она лежала неподвижно, почти не дыша, только было заметно, как дрожит от напряжения ее щека. Небось, вспомнила, как в таком же вагоне, от такой же полки ее с криком отдирали и тащили на выход.

Менты в таких случаях не церемонятся, заламывают назад руки и гнут позвоночник, чтобы стирать носом пыль с пола. Такое ли забыть! И ждет, как раздастся у дверей: «Ату их! Бандюки проникли в вагон! Девка с парнем! Шуруйте, ищите, а то порежут всех!»

Но поезд набирал скорость, и люди, спящие на вещах, какие-то бабка со старичком, среди лета в тулупчиках и вос-ный с вешмешком, и женщина с двумя детишками, втро-ем на одной полке, и еще кто-то, зарытый в ватник, в тряпье, мирно храпящие, привели нас в чувство и внушили уверенность, что мы едем со всеми вместе. И никто нас не ищет.

Я приподнялся на мыски и тронул Сандру за руку, что означало: «Не дрейфь! Мы едем! Все нормально!»

Она вздрогнула от моего прикосновения, открыла глаза и попыталась улыбнуться. Но губы дрогнули, получилась гримаса. Тогда я полез на полку, втиснувшись рядом с чьим-то сундуком у ее ног. Я сидел и смотрел на нее, и видел, как она плачет, беззвучно, одними губами, даже слез не выдать. Тоже наша «спецовская» школа — плакать втихаря... Но я ее не утешал: пусть выплачется, будет легче. Если бы нас схватили, она бы точно не плакала, она бы кричала и кусалась. А теперь она плачет от счастья, что все-таки нас не схватили.

Кто-то потянул меня за штанину. Я дрыгнул ногой, посмотрел вниз: там стоял Хвостик!

Стоял и лыбился, как на картинке Буратино, рот баранкой до ушей, глаза сияют от радости. Я даже ахнул про себя. Но вслух не произнес ни словечка: опасно. Народ расшевеливался, поднимал головы, уже как бы не спал, а додремывал.

Я соскочил с полки от Сандры и, заталкивая младшего Кукушкина за вещи, прошипел в ухо:

— А ты откуда? Не успел высочиться? Да?

Хвостик радостно закивал. Громким шепотом пересказал, как он спрятался от неповоротливой проводницы под лавку, как она его там шарилась, а он сидел не дыша, а когда она побежала к выходу, то поезд уже тронулся, а окно заело и не открывалось. И Мотя за стеклом лишь махнул рукой: мол, езжай, раз так вышло.

— Серый! А Серый! — звенел на ухо комариком Хвостик. — Я с вами буду, да? Я увижу Москву? Да?

Я кивнул и огляделся, мне показалось, что кто-то рядом шевельнулся и приоткрыл глаза.

— Серый! Смотри, что у меня! — Он разжал кулак и показал кусок сухаря. Я сделал знак молчать, хотя сухарь, это, конечно, неплохо. Небось, нашел под лавкой. Беда лишь, что для троих это не еда. Как не еда и свеколка, в кармане у Сандры, которую мы с собой захватили. Вот Сандра проснется, да и вагон перестанет дрыгаться, мы займемся делом.

— Ешь и помалкивай! — сказал я Хвостуку одними губами. — А лучше, если ты уберешься к себе обратно под лавку! Надо будет, позовем! Хвостик кивнул и исчез. А я на всякий случай прицельно оглядел пассажиров, чтобы на будущее решить, кто тут для нас опасен. Опыт, добытый собственной шкурой, подсказывал, что совсем безопасных людей не бывает. Сейчас вроде бы мирен, спит, а задень нечаянно, враз зубы покажет. Да весь мир, как ни крути, делится на нас, «спецов», и на них, всех остальных. Остальные разные: добрые и злые, энергичные и ленивые, или военные, или доходяги... Но опасаться надо всех! Вот и тут: опасна проводница, она на службе; опасен военный с вещмешком, он сильнее остальных; опасны старички, они пугливы, стерегутся жульи и в каждом его видят! По той же причине опасна и женщина с детишками...

Так, оценив обстановку, я забрался обратно к Сандре на полку и стал ждать. Не заметил, как уснул, сказавшись бессонная ночь перед посадкой, и сразу увидел Москву, множество длинных барakov, выстроенных в ряд, а на них крупными буквами слова: «СТОЛИЦА ПРИВЕТСТВУЕТ КУКУШАТ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. ДОРОГИЕ БЕСПРИЗОРНЫЕ!»

На перроне духовой оркестр яростно наяривает «Мурку», множество людей с флажками, с транспарантами, даже с цветами. Нас узнают, кричат «Ура!», бросаются к вагонным дверям, отталкивая друг друга. Но вдруг люди расступаются и откуда-то из-за их спин появляется в хрустящей форме, в сапожках, надрасных до блеска, в новой форменной фуражке Наполеончик. А следом за ним хвостом наши голытькинские: Чушка, Уж, Козел, Туся, Помидор, косорылый сторож и другие.

Я вижу, как сжимается, будто от удара, Хвостик и как отливает кровь на лице Сандры, да и у меня самого сердце куда-то падает, от страха мною овладевают неподвижность и немота. Бежать бы, но куда не убежишь: сзади нас подпирает проводница, а впереди плотной стеной осаждает толпа.

— Серый! А Серый! — кричит сквозь шум Хвостик, задирая ко мне испуганное лицо. — Смываемся! А то возьмут!

И правда, идут так, будто уже на ходу нас судят, а лица у всех непреклонно-решительные, гневно обвиняющие.

Наполеончик властным движением руки убирает шум. Будто он тут главный, а митинг лично для него устроен.

— Ну, а вы к кому приехали? — спрашивает, оглядывая нас, обшаривая, быстрым профессиональным взглядом сверху вниз.

Хвостик молчит, а Сандра в сильном волнении оборачивается ко мне, ищет защиты; я вижу, как дрожит у нее щека, а глаза наполняются слезами.

Я отвечаю за себя и за Хвостика с Сандрой:

— Мы приехали к товарищу Сталину! Он, между прочим, нас ждет!

— А тут мы за него, — произносит с легкой усмешкой Наполеончик и, сняв фуражку, лобует на околышек и на

зеркальный лаковый козырек. Для пущего блеска он дышит на него, вытягивая трубчатой губы, и надраивает суконным рукавом. Потом поднимает на нас всевидящие стального цвета глаза. — Мы тут за товарища Сталина! Разве не понятно, что говорю?

Сандра беспокойно дергается и опять смотрит на меня. Слезы текут по ее лицу и капают с подбородка. Я вижу, как она хочет сказать: «Не соглашайся! Нам нужен товарищ Сталин, а не он! Не он! Он нам вовсе не нужен! Он обязательно наврет!»

— Нам нужен товарищ Сталин! — повторяю я, хотя начинаю понимать, что дело наше проиграно. Еще раньше это поняли встречающие: толпа растаяла, а может, ее убрали или куда засадили.

— А зачем он вам? — интересуется Наполеончик, теперь он рассматривает свои сапоги, начищенные до блеска, сперва один, потом другой. — Товарищ Сталин-то зачем?

— Надо! Надо! — кричит, осмелев, Хвостик, но спиной жмется на всякий случай ко мне. — А вас я узнал! Вы просто легавый! Да! Да! Да!

— Он меня узнал! — хмыкает удоалетворенно Наполеончик, оборачиваясь к свите, ближе всех стоит Чушка и понимающе лыбится, глядя в землю. — А я такой, что меня нельзя не узнать! Я на картине Герасимова во весь рост изображен, два на три метра. Мы с товарищем Сталиным во время прогулки на Кремлевской стене! Кто не видел, можете в Третьяковке посмотреть! Там одно сукно, ого-го-го, как написано! И сапоги не хуже блестят!

— Серый! Не верь ему! Не верь! Я знаю, там на картине вовсе не он, а товарищ Ворошилов изображен! А его там нет! Нет! — кричит мне Хвостик из последних сил.

— Я и не верю, — говорю я. — Я сам у товарища Сталина спрошу.

— Он спросит! — качает головой Наполеончик и снова оборачивается к Чушке, который ему кивает. — Он спросит! — И вдруг зычно, словно на плацу, кричит: — Я те-е спро-шу! Ты за-ч-е-е-м в Москву приехал? К Сталину, гению всех народов, лучшему другу советских милиционеров! А пачпорт у тебя есть? Краснокожая из штанин паспортна? К Сталину в Москву беспачпортных не пускают! Я вас сразу узнал: вы режимные, из «спецца», по вас в Москве Таганка плачет! Пересылка по вас плачет! И все магаданские лагеря!

— Серый! — кричит в отчаянии Хвостик и дергает меня за рубашку. — Он думает, у нас документов нет! А у нас есть документы! Скажи ему: у нас есть, есть!

Я спохватываюсь, торопливо ощупываю грудь. Но пусто под рубашкой, потому что самые отъявленные жулики-милиционеры успели у меня все наше богатство в виде Истории и документов стянуть! Оттого и скалятся рожки сытые, московские, что уверены, у нас, «спецовских», ничего своего нет! И документов нет! И Истории своей нет!

Мы родом из корзины!

Я в страхе просыпаюсь, ощущая напоследок, как мой голос вязнет в глухоте окружающих, я пытаюсь кричать, но уже и самого себя не слышу: «Документы! Документы! Документы!»

Зато втяве снизу доносятся голоса, требующие документы. Я смотрю на Сандру, она уже не спит, тревожно прислушивается.

Высовываюсь, но едва-едва, краем глазка и вижу солдат с повязками, они проверяют бумаги у военного с вещмешком, у старичков тоже проверяют, и у женщин с детьми. Потом они задирают головы и торопливо окидывают взглядом полки и нас, торчащих наверху. Конечно, они видят нас, но ничего не спрашивают и уходят. Ясно, это не легавые, и мы их не интересуем.

Я говорю, чтобы успокоить Сандру:

— Видишь, — будто она может знать о моем кошмарном сне с Наполеончиком. — Никаких пачпортов для Москвы и не требуется! Зря пугали!

Но сам торопливо ощупываю рубашку: слава Богу! Книга с документами на месте!

Хвостик появился, как черт из-под печки, лишь только мы с Сандрой слезли сверху. А слезли мы для работы. Никто из пассажиров нам не удивился: ну слезли и слезли, значит, так и должно быть. Мы протолкнулись к середине вагона и встали так, чтобы Хвостик был впереди и все бы его видели. За ним Сандра, а потом я. Обращаясь к вагону, Хвостик звонким голосом объявил:

— Да-ра-гие па-па-ни, ма-ма-ши, се-стры, бра-тья, моря-ки, летчики и советские боевые бойцы, а также трудовое население, которое в борьбе с проклятым фашистом кует нашу общую победу над врагом! От имени советских сирот, протерпевших от проклятого Гитлера голод и лишения, примите наш поклон и бедственные слова о помощи, которую мы просим!

**Проклятый Гитлер, что же ты паделал,
Ты всю семью, родню мою убил,
Родителей угнал моих в неволю
И младшую сестренку погубил...**

После стихов, прочтенных с пафосом, Хвостик набрал полную грудь воздуха и с жаром зашел:

**Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!**

Тут уже и я подхватил, и Сандра замычала:

**Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.**

Люди, только восстав ото сна, оглядывались на нас, некоторые что-то жевали, но было заметно, что они прислушиваются к нам, да и как не прислушаться! Мы и сами знали, что в отличие от других попрошаск, которыми наполнены улицы и поезды, мы не поем жалостливых песенок про упавшего с неба летчика, которому изменила неверная курва-жена, а, прочтя чувствительные стихи про Гитлера, мы берем за горло песней, звучащей часто по радио, вроде бы привычной, но и не привычной... А вся непривычка в нашем исполнении: там ее поет суровый мужской хор, а тут всего два детских беззащитных голоса, а это для слушателя, как обухом по голове! Я заметил, особенно возбуждались военные, а у них-то самые щедрые подачки! Мы-то наперед знали!

Дальше опять шли стихи, я громко их выкликнул:

**Ты слышишь нас, родной товарищ Сталин,
Отмети за нас врагу, сирот войны,
За землю, что поругана врагами,
Пусть в бой на смерть идут твои сыны...**

И мы спели песню, посвященную нашему любимому вождю.

**Ордена недаром нам страна вручила,
Это знает каждый наш боец,
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов!
Мы готовы к бою, Сталин, наш отец!**

**В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога!
Кони сытые бьют копытами
Встретим мы по-сталински врага!**

Мы не вертели головами, а были сосредоточены на выступлении и все-таки чутко ощущали, что происходит вокруг. Только проводницу я не сразу заметил, Сандра толкнула меня локтем: смотри, мол, и «эта» пришла! Надо ли обесражаться?

Я успокаивающе кивнул: «Пой, не бойся! Ничего страшного!» Но сам на всякий случай глянул, скосив глаза: проводница слушала, прислонясь к стенке, ничего угрожающего в ее позе и правды не было. Пускай слушает, лишь бы не мешала. Это вначале она могла нас схватить и выставить, а теперь не выставит, пассажиры не дадут! А нищих да сирот по вагонам вообще не принято обижать, особенно, если они песни для людей поют.

**А мы тебя ждем, боец, после боя,
Ждет мамаша твоя, и невеста, и отец,
Они тебя обнимут и к сердцу прижмут при встрече,
Когда с победой вернешься, герой-боец!**

После таких торжественных стихов, обозначающих нашу тыловую верность фронтовикам, мы спели самую знаменитую и самую любимую песню: «На позиции девушка провожала бойца» — и завершили концерт.

Но мы не бросились тотчас собирать дань, а самую малость выждали, чтобы слушатели пришли в себя, оценив исполнение, и прикинули свои возможности. Ну то есть пошарили по мешкам, чего не жалко, отдать! Но ждали мы недолго. Нельзя, чтобы о нас забыли или остыли от впечатления. Так втроем, с Хвостиком впереди, мы знали, что ему дадут больше, мы двинулись по вагону, медленно поворачи-

ваясь во все стороны, чтобы видеть каждого и никого не пропустить. От трех пар глаз нисколько-то отвернешься! А тому, кто нам подавал, мы громко, так, чтобы другие слышали, говорили: «Спасибо, дорогой дядя солдат (как вариант: «...дорогая тетя колхозница!») от имени всех советских сирот Советского Союза, несчастных жертв заклятого Гитлера!» А если отваливали горбунику хлеба, отломок жмы-ха или чего-то еще, того богаче, мы прибавляли с поклоном: «Здоровья всей вашей родне и вашим детям, пусть им повезет больше, чем нам!»

Вагон сыпал на редкость щедро, в наших Голяках так не подают. А может, мы тут были сегодня первые. Лестки рубли и червонцы, яички, картофелины, кусочки сухарей, несколько соленых огурцов, три крупинки сахарина в бумажке и две крошечные карамельки, облещенные табачной крошкой.

Все это пассажиры валили Хвостика, а мы тут же у него забирали, подхватывая и ссыпая Сандре в подол, чтобы освободить ладошки Хвостика для новых даров!

Какая-то старушка отдала бутылку молока и торопливо перекрестила нас дрожащей рукой. А солдатик, молодой, сразу видно, не восвавший, растерянно шарил в своем фанерном чемоданчике, не находя ничего, и вдруг вытащил лезвие бритвы. Мы взяли бритву, такие вещи на улице не валяются!

Конечно, мы не могли не понимать, что на людей действовали не только наши песни, но и наши лица, и одежда, и поведение. И тревожа и возбуждая жалость у взрослых, мы сами, конечно, не чувствовали себя несчастными. И никого других мы не жалели. Я бы сказал так, мы были даже жестоки по отношению к этим людям, ибо лучше понимали, что мы с ними делаем, и мы точно рассчитывали наперед, за какие там ниточки внутри надо их подергать побольше, чтобы вызвать слезы, а значит, побольше получить!

Пройдя вагон, мы выскочили в тамбур и стали осматривать свое, честно заработанное добро, тут же ренная на ходу, что поскорей сожрать, а что оставить на потом или даже загнать. Наверное, мы разом подумали: тут для всех бы Кукушат хватило! Хвостик прыгал вокруг подола, заглядывая в него восторженно, и повторял:

— Серый! А Серый! Это все можно брать, да?

— По очереди, — сказал я строго.

Но очередь была именно его, Хвостика, пусть возьмет, что захочется, он заработал свой кусок. Я даже знал, чего ему захочется: карамельки в табачных крошках! Где это он еще получит!

Тут за спиной снова возникла проводница. Я кожей почувствовал ее и сразу оглянулся. А Сандра прижала к себе подол. И Хвостик ошестинился. Мы, конечно, решили, что она пришла получить свою долю, и уже торопливо в уме прикидывали, какой ценой мы от нее откупимся! Но проводница ничего не потребовала.

Она смотрела на нас так же, как там, в вагоне, и какой-то просительный огонек светился в ее глазах.

— Чего скукожились! — произнесла, глядя на Сандру. — Не кусаюсь! Пошли со мной! — И повторила: — Пошли, пошли! В моем доме и посидите, а я еще чаю дам.

Она привела в закуток в конце вагона, отгороженный от всех куском брезента, тут, на нижней полке, нас рассадил. Достала чайник, огромный, жестяной, и кружки тоже железные, налила всем, а себе из флакончика чего-то вонючего. Мы сли, трескали за обе щеки и пили чай, а проводница молча на нас смотрела, лишь подливала себе из флакончика. А когда мы прибрали и то, что сперва хотели съесть, и то, что на опосля оставляли, проводница заговорила.

— Ну вот, — произнесла облегченно, будто сама насытилась. — И ладно. И ладно... А зовут меня Дуня... Тетя Дуся, значит. А всдь я смекнула тогда, что вы меня одурачили. Насчет глухого батьки-то! Провели старуху... — И засмеялась, прикрывая рот ладошкой, — там не было зубов. Потом обратилась к Сандре: — А ты чего, девка, все молчишь? Язык проглотила?

— Так она, тетя Дуся, без языка! — сказал Хвостик.

— Немая, что ли? А я гляжу... — И тетя Дуся покачала головой. — Зато ты у нас за двоих голосистый... Тебя кто уил петь? А?

Я посмотрел на Хвостика, испугавшись, что он сейчас брякнет про «спец». Но Хвостик ответил, как надо:

— Жизнь научила!

— Вот-вот, — согласилась она. — И жизнь, и война.

С теми словами полезла под лавку, достала полотняный мешочек, а из него краюху хлеба. Каждому из нас отложила



по куску, а Сандре самый большой дала, видать, та ей понравилась. И чая налила, а себе снова из флакончика.

— А я езжу,— сказала, выпив и нюхнув корочку.— Муж умер, детей на фронте поубивало. Младшенькому восемнадцатый шел... Так чего я одна в холодной избе! Пошла баба колесить по стране, вот и езжу! А песни страсть как люблю. И петь тоже! Меня до войны на всеобщую сельскую выставку в Москву с песнями-то послали! Тетя Дуся посмотрела на флакончик, даже руку протянула, но отставила. И вдруг запела протяжно и тоненько, прям как по радио:

В понедельник я банюшку топил,
А во вторник я в банюшку ходил,
Среду в угаре пролежала,
А четверг я головушку чесала,
Пятница день не прядущий,
Не вьрдут, не ткут, не мотают,
А в субботу родных вспоминают...
Ох ты милая мой, Амеля,
Так проходит с тобой вся неделя!

Сандра слушала напряженно, я видел, что она разволновалась. А Хвостик даже в рот тете Дусе заглядывал, так ему интересно было ее пение.

А она оборвала и сказала Сандре:

— А то поехали, девонька, вместе... По Рассе-то! Ты уж больно мне пришлась. Поехали, говорю, а?

— А я! — спросил Хвостик. — А я посуду?

— И ты... Чего не поехать! Будете со мной работать!

— Мы не можем,— сказал я за всех.— Нам в Москву сперва надо.

— В Москву, разгонять тоску! Чего там забыли? — удивилась тетя Дуся.

— К товарищу Сталину! — крикнул Хвостик.

— Ишь! — произнесла недоверчиво тетя Дуся. — Прям к ему?

— К нему,— подтвердил я. А Сандра замычала.

— У нас документ есть! Настоящий! — заявил еще Хвостик.

Тетя Дуся покачала головой.

— Какой же у вас документ?

Напрасно я моргал Хвостик, он не замечал ничего. Зато заметила тетя Дуся.

— Да ты не жмурься,— сказала мне ласково.— Я тебе не милиция, чтобы документы спрашивать. Сама по справке с колхозу-то прибыла, как в первый раз в городе прибывалась. Нешто я способна обидеть-то... Или пугать...

— Серый! — попросил Хвостик. — Покажи! Покажи!

Сандра кивнула: ей можно показать.

Я полез за пазуху, достал книгу, а из нее сверток. Развернул, думал, тетя Дуся станет берегательную книжку смотреть. Я даже специально книжку к ней пододвинул, чтобы она не думала, что мы уж совсем нищие. А мы-то не нищие! Но тетя Дуся заглянула в книжку и отодвинула без интереса. А вот свидетельство о рождении взяла и внимательно прочитала, шевеля губами.

— Егоров? Сергей Антонович — ты? А где они сами — отец, мать?

— Умерли.

— И мать?

— Да.

— Кто сказал?

— Тетка... — ответил я. — Ну, Маша.

— Врет,— вдруг сердито буркнула тетя Дуся. И отвернулась.

— Почему? — спросил я. А что «почему», я сам не знал.

— Молодая ведь,— пояснила тетя Дуся.— А на фронте, небось, не была. Чего ей умирать-то? Живет...

— Где живет? — спросил Хвостик, вытаращив глаза и чуть флакончик на пол не опрокинул. Едва тетя Дуся успела ухватить. А ухватив, тут же приложила.

Вытерла рот ладонью, произнесла:

— А где я живу? Между небом и землей!

Тут Сандра что-то промычала. Даже я не понял, что она спрашивает. Я-то не понял, а тетя Дуся вполне ее поняла.

— А ты, девка, не удивляйся,— сказала как-то просто.—

Сама не знаю как, но я в этой бутылочке все вижу. Только адреса не могу назвать. А может, вам Сталин скажет. Он там, наверху... А мы внизу... — и тут же, подперев подбородок рукой, затянула грустно-грустно:

В часом небе месяц светит,
Я с варничкою брожу.
Мать на улице ругает,
Что я поздно прихожу...

Тетя Дуся села и заплакала.

И Сандра тоже с ней вместе начала плакать. Они обнялись, и тетя Дуся стала ей рассказывать, как до войны жили... И как в избе у них и сахар, и даже мука была... Не всегда, до этого наголодались в колхозе, когда колхоз организовывали. А потом-то ничего, ей даже от правления за ударную работу бюст товарища Сталина из белого гипса подарили! А к нему в придачу штаны ватные. И послали в Москву, на «Выставку», вот где рай-то был. Поселили их восемь человек, всё бабы из разных деревень, в каменном доме, с теплой уборной, и даже кормили трижды в день в столовой! Однажды привезли ее на радио, посадили в какой-то странной комнате за стеклом с глухой дверью и велели петь! Поперву она стеснялась, но мужик от радио попался толковый, все как надо объяснил, а сам за стеклом стоял и рукой махал... Вот как я артисткой-то стала! А до того была дура дурой, ничего в Москве не понимала... И сразу в артистки! Если бы не война...

19.

Тетя Дуся как-то вдруг сникла и заснула. Но спала недолго, а к Москве вообще пришла в себя, затормошилась, стала опять уговаривать Сандру оставаться с ней. Но мы сказали, что нам обязательно надо понасть к товарищу Сталину.

Тетя Дуся поинтересовалась, когда же мы будем возвращаться, и велела отыскать ее в третьем вагоне, она через два дня ровно будет стоять тут же на вокзальчике. Ее нетрудно найти.

Она просмотрела мои бумаги и разделила их: сберегательную книжку велела спрятать под подкладку ватника, а остальное: документы вместе с собранными по вагону деньгами, их оказалось пятьдесят три рубля, завернула в бумагу и сунула мне в карман, а карман зашпилила на булавку: «Держи крепче, тут жуликов хватает!»

А когда уж совсем подъезжали к Москве и поезд встал, она со вздохом спросила:

— Вы хоть знаете, куда идти-то? Москва — во! Как деревня больша-я!

— Нам в Кремль надо, — ответил я. — А до Кремля, говорят, тут недалеко!

— Недалеко! — передразнила она. — А в какую сторону — недалеко?

Я промолчал. Я уже знал: выйду в Москве на площадь и сразу все увижу. Раз Кремль, значит, самый видный!

Пассажиры, которым мы пели, ушли, а другие уже толпились и хотели скорей попасть в вагон, тетя Дуся их отгоняла, придерживая дверь рукой.

— Я сама-то не знаю... Где их Кремль... Но, думаю, что надо идти, как люди идут... Как все, так и вы за ними! К нему, к Сталину, небось, много ездят, всем надо ведь о чем-то просить. А кого еще просить? Он наш Бог и заступник! Я ему перед бюстом-то свечку ставила в избе!

Мы попрощались с тетей Дусей. Она заперла дверь и еще дошла до конца поезда и сунула Сандре в руки холщовый мешочек с хлебом. Потом она обняла Сандру: «Ох, девонька... Ох, девонька...» И все шмыгала носом. Погладила меня и Хвостика по голове и сразу ушла.

Вслед за толпой, за мешочниками и военными мы спустились по ступенькам в город и оказались на площади. Такая это была площадь, что мы опупели от грохота. Гудели автомобили, кричали люди, а еще звенели трамваи. Мы их узиали по кино. И дома мы тоже по кино узнали: высокие, каменные и в каждом, наверное, тысяча окон. Только окна закрыты и не видно, чтобы кто-то торчал наружу.

От всей этой круговерти закружилась голова. Сандра побледнела и оглянулась на меня. Но я не мог ее утешить, я тоже растерялся. А Хвостик закрыл глаза и уткнулся мне головой в живот. Так мы и стояли на площади, как приезжие дурачки, не зная куда идти. Люди двигались, обходя нас, и если бы мы, как советовала тетя Дуся, решили последовать за ними, то нам пришлось бы идти в разные стороны, и влево, и вправо, и даже куда-то под землю.

Я задрал голову вверх, но Кремля не увидел и звезд его

тоже не увидел. Хотя у нас в книжке писали, что они видны из всех краев и даже из всех стран.

Тогда я решился. Я приказал своим стоять, как вкопанным, и не двигаться, даже если будут из всех сил толкать. Оглядываясь на каждом шагу, чтобы их не потерять и самому не потеряться, я продвинулся самую малость и замстил бородатого дворника с метлой. Он стоял, опершись на эту метлу и спокойно курил. Я обошел его со всех сторон и под бороду заглянул. И оказавшись напротив него, я спросил как можно вежливо:

— Дя-с-нька! В Кремль как пройти?

Дворник возвышался, как памятник какому-нибудь знаменитому дворнику, и даже от моих слов не крлыхнулся. И метла его тоже не крлыхнулась.

Я подумал, что, может быть, он глухой, и крикнул громче:

— Дя-с-нька! В Кремль... Как про-о-т-и?

Дворник ожил. Но ожил не для меня, а для себя. Он поднял голову, оглядел вприщур площадь, швырнул наземь окурок и тут же замел его метлой. А когда я повернулся, поняв, что не докричусь, звук небось не доходит через его бороду, он спокойно буркнул мне в спину:

— На метре туды... В Охотный ряд... Понял? — и вдруг рассердившись, крикнул: — Понасхали, думают, Москва им резиновая! И ходюте, и ходюте, и мусарюте... Прям, работать не дают! — И с этими словами замахнулся метлой и пустил в меня пылью.

Я отскочил, чтобы не понасть под метлу, и торопливо вернулся к своим, они издали за мной наблюдали.

Хвостик бросился мне навстречу:

— Серый! Ты его спросил, да? Где Кремль?

— Спросил, — ответил я. — На метре надо схать.

— А туда разве пускают?

Сандра промычала, качая головой. Она, как и Хвостик, сомневалась, что в метро пускают. Туда небось по пачпортам каким или пропускам. Жаль, тети Дуси нет, мы бы спросили, прежде чем на рожон лезть. А лучше всего не смешить москвичей и не рынаться, куда не просят. Тем более, что Мотя утверждал, что до Кремля тут рукой подать. А Мотя все знает.

Так мы и пошли, крепко сцепив руки между собой, чтобы нас не размело толпой. Мы уже поняли: зазеваешься, а зевать тут есть на что, и пропал! Где тогда искать-то друга друга! Это не Голяки, там нашего брата за километр на улице выдать! Захочешь потеряться, не сможешь, с милицией отыщут!

Долго шли, когда уже и не думали, что близко, за угол какого-то дома завернули и обомлели! Перед нами, как на той конфетной коробке, стоял самый что ни на есть настоящий Кремль, и башня, и стена, а перед стеной красный Мавзолей Ленина. А рядом со всем этим, прямо по площади, люди ходили, будто для них нормально все это, вот так жить и ходить мимо.

— Смотри! Кремль! Кремль! — закричал Хвостик, а я скорей зажал ему ладонью рот. Я уже понял, что в Москве нельзя кричать. Как крикнешь, так менты уже глазами шарают: кто кричит? Почему кричит? И вообще, откуда такой приехал, что не кричать, как все тутошние прохожие, он не может?!

Но если честно, я и сам, как Хвостик, ошалел при виде Кремля оттого, что он настоящий, а мы, хоть голяки из «спеца», а тут рядом с ним! Мы сразу дальше не пошли, чтобы опомниться, чтобы привыкнуть, что мы тут. Конечно, мы знали, что нам нужны ворота, а ворота, ясное дело, в башне: это на другом конце площади. А площадь-то поката-я! Да булыжник на ней, так мы, чтобы не споткнуться, осторожно ступали, и все по сторонам головой крутили, потому что мы не знали, как на самом деле до Красной площади-то у Кремля ходят. Идут, скажем, на цыпочках или руки по швам держат, или голову, как в строю, на Кремль равняют. Не может быть, чтобы тут ходили, как ходят везде! Это вам не Голяки задрисанные, где плюй на землю, не заметят! Да что плевать, можно за углом, скажем, и помочиться, и звук при этом погромче выдать! А тут-то попробуй, выдай! Тебя сразу сцапают за твое звуковое место: чего, мол, шпана немая, ты воздух около самого Кремля портишь? А товарищ Сталин, а другие вожди — за тебя должны нухать?!

Дурачки, конечно, мысли лезли в голову. Но я уже заметил: как только надо думать иначе из-за всякого терзания в груди, так разные глупости в голову лезут, доказывая, что мы, вшивота «спецовская», не достойны ничего прилич-

него и уж точно не достойны быть и думать около Кремля.

Друг за дружкой, с оглядкой на ментов, которых тут как палок в заборе навтыкаю, мы всю, от одного края до другого, площадь прошли, только еще около Мавзолея постоим, где часовые друг на друга вытаращив глаза смотрят. Всперлись друг в друга и едят глазами! Будто в «моргалки» играют. А кто первый моргнет, тому щелобон в лоб. А двери между часовыми деревянные закрыты. Говорят, туда Сталин один ходит. Пойдет, все Ильичу как есть доложит, слезу смахнет, усы мокрые утрет, вот, мол, Ильич, оставил ты меня, а как трудно сидеть в Кремле да по телефону звонить, умаялся. Хотя там Клим Ворошилов и Семен Буденный меня иногда подменяют, когда на фронт едешь! Пожалуется наш вождь, а потом вздохнет и с новыми силами за дела возьмется.

Так мы представили и к воротам пошли, чтобы товарища Сталина скорей утешить. Мы ему скажем: мы с тобой, товарищ Сталин, хоть куда, пусть и без Лениина, но по ленинскому пути. А потом уж мы спросим, как нам дальше Кукушкиным жить, если отцов у нас нет, а где их искать, неизвестно. А он вызовет к себе кого-нибудь из подчиненных и прикажет всех наших, кто кому отец или мать, срочно найти.

Но мы, еще не дойдя, увидели, что ворота в Кремле закрыты. Высокие ворота, железные, а рядом мильтоны сторожат.

Но я нашелся, негромко своим сказал:

— Ну закрыты... Ну и что? Значит, какая другая дырка есть! Это как забор у Сиволапа: все позакрывал, а дырку-то не заметил!

Я так сказал, хотя, честно, не знал, где искать эту дырку. Я вообще до сего дня думал, что Кремль — это башня со звездой, как на картинках, в башне — ворота. А внутри, в башне, товарищ Сталин живет. А теперь я увидел стену, а за стеной еще дома, и сразу сообразил, что ее надо кругом обшарить, как забор в огороде, когда залезть надо. Где-нибудь да будет дыра! Забор-то без дыры не бывает!

Мы целый час стену пехом обходили, в кусты попали, как в лес все равно. Вот тебе и «охотничий заряд»! Заблудиться можно! Но я-то тоже не дурак, все вверх, на зубцы смотрел, чтобы курс не потерять. Внизу стены дырок пока тоже не попадалось. Зато выскочил, будто заяц из-под кустов, человек, похожий на пожарника, и, отряхивая с себя сухие листья, закричал:

— Куда! Куда! Уходите! Здесь нельзя гулять! Здесь зона!

Слово «зона» нас немного насторожило, потому что Чушка его обожает, но все равно мы обрадовались человеку, мы хотели у него спросить, нет ли тут какой дырки? Но он рта не дал нам открыть, а подбежал и стал толкать в спину, и все повторял:

— Идите! Идите подальше! А то и себя не найдете!

Вот олух, мы на то и в Кремль-то пришли, чтобы себя найти! А без Кремля-то мы как себя найдем?

Но пока я хотел это объяснить, он вытолкнул нас из кустов на дорогу, а сам будто сквозь землю провалился.

20.

Ворота мы нашли! Я ведь точно знал, что без ворот забора не бывает! Только к тем воротам нас не пустили. Хотя мы так ловко вынырнули, что менты нас сразу и не засекли. А их тут больше, чем деревьев в лесу! И все какие-то новенькие, сверкающие, будто только отштамповали, не то что наш замызганный Наполеончик! А как они нас заместили, бросились навстречу, будто ждали. То есть бросились не все, а двое, зато бегом, остальные же встали полукругом, будто этих двоих сторожат и боятся за их жизнь. А сами нет-нет и по сторонам зыркают. А как машина въезжает или выезжает какая — длинная, черная, тоже блестящая, они сразу ей честь отдадут! А кому отдадут, не видно, темно в машине-то, будто завешано одеялом.

А эти двое с красными повязками, нас сразу к стене и прижали.

— Кто? Откуда? Почему здесь?

Чтобы они Хвостика не раздавили, я его за свою спину поставил. И Сандру плечом прикрыл. Так как они шинелью прямо в лицо лезли, я двумя руками уперся, чтобы рот был свободный, и в ихнюю шинель им крикнул:

— Мы приехали к товарищу Сталину!

— Кто мы? — спросили сверху. — Зачем?

— Из Голятьино... Он же наш друг!

— Кто? Кто? — И тот, что меня прижимал, захохотал

и отодвинулся, чтобы рассмотреть нас. Я тоже на него посмотрел. Рожа, как у недобитого буржуа на картинке! Про таких говорят: «Погоны голубые, рожа красная!» А когда он хохотал, открывая рот, я снизу увидел: у него зубы золотые! Блестят шибче, чем его собственные пуговицы!

В этот момент я их не боялся. Тут рядом, за воротами, вдоль стены, вместе с Климом Ворошиловым гуляет товарищ Сталин. Он-то в обиду нас не даст! Увидит, позовет, посадит, как Гелю Маркизову, на колени, подарит коробку конфет, а потом скажет: «Ну, рассказывай, браток, все рассказывай, меня эта милиция вот как за горло взяла, не дает шагу ступить к народу, охраняет!» Но мы жаловаться не станем, мы прямо с главного начнем, с документов. Нет, не с документов, а с Егорова, от которого документы. И с отцов других Кукушат...

А мильтоны все хохотали. Он оборачивался к другому, помоложе, и повторял:

— Ха-ха... Друг... Слышал... Он их друг... Ха-ха! Дружок! Вот этому!

И тут Хвостик из-за спины крикнул, я от него даже не ожидал:

— А у нас документ есть!

И спрятался снова. Мне горячо даже спине стало, когда он прижимался, едва дыша от страха.

Тогда этот, с зубами, что блестели, как пуговицы, перестал хохотать и, уже не наваливаясь, сказал:

— Давай сюда! — И так как я молчал, он повторил железным тоном: — Документ, говорю!

А второй, помоложе, сбоку хмыкнул:

— Какой у него документ... Шпана... Он и фамилию свою вряд ли знает!

Угадал ведь! Месяц назад, и правда, не знал. Но теперь-то знал! И смогу им доказать! Чтобы меньше скалились!

Я полез в карман, расщепил булавку и достал сверток:

— Вот! Документ! Настоящий!

Я еще думал, что дело только в документе, а уж если они убедятся, что мы имеем настоящий документ, то сразу пропустят к товарищу Сталину.

Они схватили сверток так, будто боялись, что я им не отдам. И тут же повернулись к нам спиной.

Склонив головы, чего-то там вычитывали, а другие, еще несколько ментов, стояли на расстоянии и смотрели на нас. И совсем они не были так добродушно настроены, как эти двое. Я даже подумал: волки! Серые, одинаковые, звериный оскал. Вот тебе и «Охотничий заряд»... охотятся, только за кем? За такими, как мы?

Я оглянулся и увидел, что Сандра все о них понимает, может, еще раньше меня поняла: в глазах ее был уже не страх, а злость! Дикий такой огонек, как у зверька, загнанного в западню!

А тут эти двое повернулись, и я заметил, что старший прячет мои документы в карман.

— Ладно, разберемся... Отведи, пусть посидят среди шнырей да крысятников... И девушку... Я бы ее попользовал, но мала...

А младший добавил:

— Малая всегда удалая! Уж, наверняка, не целка!

— Ну vedi, там посмотрим!

— А документы? — спросил я. Про товарища Сталина я промолчал.

— Какие документы?

— Наши! Документы!

— Потом, потом... — сказал младший со странной ухмылкой. — Будет вам документ по первое число!

А старший повернулся спиной, чтобы уйти. И тут, я сам не заметил, как произошло: Сандра прыгнула и вцепилась зубами в мертвое в скудный рукав. Он сперва и не понял, отмахнулся, но Сандра держалась крепко. Она держалась и вопила на всю площадь. Младший тогда бросился ее отрывать, и двое из оцепления бросились, они схватили Сандру поперек туловища и рванули, подняв в воздух! Но тут уже мы с Хвостиком тоже вцепились в руку старшему, и в другую руку, мешая ему защищаться от Сандры. И, конечно, тоже заорали на всю площадь. Мы-то себя не слышали, но крик, визг, наверное, стоял такой, что если бы товарищ Сталин и правда гулял в это время по Кремлю с Климом Ворошиловым, он обязательно выглянул, чтобы узнать, кто это так кричит.

И вдруг все кончилось. Я и не заметил, как они нас отпустили и встали по стойке смирно перед кем-то, кто

появился перед ними. А появился старичок, сухенький, дряблый, малорослый, но в форме. Он стоял и смотрел на ментов. А они, эти хохотальщики, весельчаки золотозубые, прикармливающие наши настоящие документы, теперь вытянулись по струнке и дрожали, как мальчишки перед учителем.

— Что за шум? — спросил старичок. И сощурился посмотрел на нас.

— Вот, пытались проникнуть... Задержали...

— Кого задержали? — поинтересовался он, тяжело вздыхая.

— Этих...

— У нас документы! Настоящие! — крикнул я, понимая, что нам уже нечего терять. Хуже все равно не будет.

— Так точно, документы, — засуетился золотозубый. И достал из кармана наши документы.

— Ну и что? — спросил старичок и опять вздохнул.

— Метрики... Справка...

— Ну и что? — повторил старичок и закрыл глаза.

— Надо переписать. Зафиксировать, так сказать... Уточнить... Бдительность прежде всего!

Старичок махнул рукой:

— Отпусти... Нашел кого бдить! Дети же... — Повернулся и пошел. Неподалеку, как оказалось, стояла его машина.

Он сел и уехал не оглянувшись, а двое, не обращая теперь на нас никакого внимания, стали переписывать что-то из наших бумаг в свои.

Я слышал, как старший сказал:

— Вот сучка, она мне рукав прокусила. Представляешь?

— В другой раз, — спокойно ответил младший. — Никуда они от нас не уйдут!

А этот все осматривал беспокойно шинель и вдруг спросил:

— Как ты думаешь, они не бешеные?

Молодой поглядел на нас, иаверное, чтобы проверить в самом деле, не бешеные ли мы. Но отвернулся, поймав свирепый взгляд Сандры.

— Кто ж их знает... Лучше бы они перекусали друг друга... И нам меньше возни... пострелять бы их, как волчат, и дело с концом!

Младший, не заворачивая, сунул документы мне в руки. Старший же стоял так, будто нас уже не видел. Больно здорово его на наших глазах встряхнули.

Я схватил документы и тут только подумал, что в свертке были еще и деньги! Пятьдесят три рубля! Я сразу увидел, что денег нет!

— А деньги? — крикнул я. Но крикнул неуверенно, потому что я не мог представить, что менты могли у всех на глазах, вот сейчас, нас ограбить. Может, тетя Дуся положила деньги отдельно от книжки?

— Какие еще деньги! — осклаившись, рыкнул младший. — Скажи спасибо, что голова цела!

— И сучку свою зубастую береги... ПопадетсЯ, я ей не только зубы. я ей хребет переломлю! — прошипел старший, так, чтобы, кроме нас да иапарника, никто не мог его услышать.

И хоть ничего не слышали менты из окружения, но расступились, самую малость, чтобы можно было между ними протиснуться. А когда мы попытались пройти, один все-таки изловчился и дал мне больно поджопник сапогом так, что я встал на карачки. Они и Сандре съездили по спине, а вот Хвостика не достали, он между ног проскочил.

21.

— Послушай, Серый... — сказал Мотя негромко. — А те менты, что вас в Москве курочили... Они такие же? Или они другие?

Я посмотрел в щель, но не было ничего видно. И Ангел примолк, услышав живой голос, и Сандра... Вот, думаю, Сандра никогда уже не забудет тех ментов.

— Другие, — произнес я нехотя. Мне и правда их вспоминать не хотелось. Но я еще добавил: — Но такие же!

Я вдруг представил, как мы от них бежали... Вот это был гон! А в голове, словно гвоздь, висела фраза, брошенная молодым ментом, который и не казался сперва таким страшным, как тот, старший, что затыкал мне рот своим животом. Молодой говорил о нас, как о чем-то постороннем, я запомнил его слова: «В другой, мол, раз поймает! Никуда они от нас не уйдут!»

И не ушли же! Подстрелят, как волчат, и дело с концом!

— Значит, они все тогда знали, — сказал вдруг Мотя.

— Что они знали? — выкрикнул Бесик. — Что мы станем стрелять?

— Да нет... Они знали, что мы все равно попадемся.

— А чего тут знать? — спросил, кашлянув, Шахтер. — Конечно, попадемся... Дорожка-то одна...

— Правда, одна?

— Одна! Одна! В сарай!

— Думашь, легавый имел в виду сарай?

— Он сказал: «В другой, мол, раз... Никуда не уйдут...»

И Сандра промычала громко, все поняли, что и она взбудоражилась, когда ей напомнили о той встрече у Кремля. Знала ли она, дошло ли до нее из разговора этих двух, что они ее там делили? Сперва-то я решил, что не поняла. Но потом увидел на улице все тот же ненавистный огонек в ее глазах, он так и не растаял до сего дня (ночи?), а даже, даже усилился! Сейчас я подумал — конечно, поняла! Не оттого ли она и прыгнула, и шинель этому придурку прокусила?

Но мы и правда неслись как бешеные. Может, мы тогда впрямую поняли слова, что мы далеко не уйдем и нас будут по Москве отстреливать, будто волчат! Мы летели, сменяя улицу за улицей, и все они казались теперь нам одинаковыми. И еще я тогда запомнил, не памятью, а какой-то частью мозжечка, что это были как бы не улицы, а каменные стены до небся, по обе стороны дороги. от них никуда не уйти! Все окна наглухо задрасны, завешены! Все двери закрыты!

Что за дикий город, где все, все наглухо забито и закрыто!

Загнанные в узкий коридор между домами, мы бежали, не пытаясь никуда свернуть. Мы уже догадались, что это так сделано, чтобы нельзя было свернуть. Мы неслись из последних сил только вперед, ведомые этими стенами! Времени казалось, что мы движемся по кругу, как недавно у Кремля. К концу мы уже сдохли. Хвостик хоть и не пищал, но цеплялся за меня, почти висел на моей спине, да и Сандра молча выбивалась из сил. В такой момент мы и увидели вокзал!

Вокзал! На нем даже надпись была: «ВОКЗАЛ».

Мы стояли ошарашенные, глотая воздух и вытупив зенки на эту надпись. Бежали, бежали и оказались на вокзале. Не чудно ли!

А может, город так странно устроен, что все улицы-стены направлены к вокзалу, чтобы поскорей отторгнуть чужаков. выпроводить всяких там нежелательных, подозрительных да поскорей посадить их на поезд! В их Голяки!

С ходу, с налета, а может, с испуга мы забрались в межавгонье, чтобы поскорей уехать, сбегать от Москвы. Но потом опомнились: не все же поезда идут к нам в Голяки?

Мы не сразу разобрали, что и вокзал, хоть назывался так и даже был похожим на тот, на наш, вовсе не был нашим вокзалом. Только поезда такие же да пассажиры, в сереньких ватниках с мешками да котомками.

Мы стали спрашивать какого-то мужика с мешком, потом женщину в военной форме и машиниста в робе с масленкой в руках... Никто из них про Голякино слыхом не слыхивал!

Мы тогда уселись на ступеньках, на сходе в город, между кассами и лабазами и стали соображать про свои дела. То есть мы хотели что-то придумать, но мы так устали от Москвы, от Кремля и от милиции, что никаких мыслей у нас не было.

Одно желание — удрать, куда-то исчезнуть, мы были теперь согласны даже на наш протухший «спец», отсюда, как воля из тюрьмы, он казался нам раем.

Мы даже по-другому теперь смотрели на людей, что мельтешили вокруг нас; если уж они влипли, как и мы, в Москву, значит, жизнь у них не сахар! Может, у них даже похлестче, чем у нас! Какой же дурак без всякой причины, без беды сунется в это логово, которое само себя забаррикадировало и само себя заперло от всех! Одни мильтоны вокруг стоят. Интересно, сколько же у них в Москве мильтонов проживает? Если бы, к примеру, всех ментов в Голяки переселить, небось места не хватит!

Хвостик положил голову мне на колени и уснул. И Сандра ко мне с другой стороны прислонилась, закрыв глаза. Но я-то знал, она не спит, переживает. Помычала бы, легче бы стало!

В это время мимо прошел мент, не такой лакированный да блестящий, как те, что из Кремля. Но глаза-то у них у всех одинаковые, напряженно сторожкие. Прошел, замедлил шаг, даже повернулся, но я сделал вид, что его не вижу. Хоть глаз с него не сводил, тоже сторожил и тоже напрягался. Только мое напряжение совсем другое: драпать или не драпать, подождать! А как он прошел, я в кармане докумен-

ты ошупал. Вынул, посмотрел и обратно положил, булавкой, как велела тетя Дуся, зашпилил. Денежек-то, конечно, как не бывало!

Стянули менты наши кровно заработанные рублики. Да ладно бы голявинские стянули, тем от природы суждено грабить, а то московские, которые самого Сталина охраняют! Да как же они могут охранять, если они сами жулики! Того и гляди, они и вожда мирового пролетариата и гения всех народов спокойно оберут! А может, и обобрали!

Старичок, освободитель, тот ничего, да жаль торопился, мы бы ему все про этих ментов выложили бы!

Тут мысли мои поплыли, и я незаметно для себя растворился в каком-то полусне, где ощутимо существовали вокзал и Хвостик с Сандрой, но и спаситель-старичок, который, как ни странно, был рядом и очень даже меня слушал и понимал. И все бы у нас с ним слепилось, сладилось, да голос чужой помешал.

Прямо над ухом проорали:

— По-шли! Ско-рей! Чего тут расселись!

Мы все трое в испуге подскокнули, понимая, по привычке, что надо куда-то идти. Но ментов или другой какой опасности мы не увидели. Горластая, бойкая женщина гнала мимо нас толпу ребят, человек двадцать, я сразу же увидел, что они свои, будто сейчас их выгнали из нашего «спеца».

Женщина подгоняла отстающих, а нам крикнула на ходу:

— Скорей! Да скорей же! Онюздаете, пеняйте на себя!

— Серый? Куда? Куда? — спросил Хвостик со сна, так и не разобрав, куда это его зовут.

Если бы я знал! Но я подтолкнул Сандру, и мы трое рванули изо всех сил за остальными, влезая в самую гущу толпы, и прямо-таки шкуркой ошупывая, что мы свои среди своих, а значит, все не так уж плохо.

22.

На площади стоял автобус. Около него хлонотала в ватных брюках похожая на колобок баба. В бачок, прилепленный сбоку к мотору, она подложила деревянные чурбачки, подождала, пока задымит, и сказала деловито:

— Вот, заправила свой самовар. Теперь можно ехать.

Машина, как выяснилось, работала от дров.

Она зашипела, зарычала, завывала и двинулась не очень шибко по улицам города, обгоняя людей и даже трамваи.

Ребята заикались, засветили в знак одобрения, а я из-за голов разглядел Сандру с Хвостиком, которые пролезли в самый конец автобуса и заняли одно из двоих мест.

Рядом со мной маячил высокий тонкошисый парень, которого все называли Бонифацией, а то еще Боней. Рыжеватый, с веселыми конопатинами, он крутил головой и всем успевал отвечать. По отрывочным репликам я понял, что тут собрались для экскурсии два подмосковных детдома: ребята не все знали друг друга, а воспитательница и подавно.

Бонифация меня спросил:

— А вас, малаховских, возили на «Синюю птицу»?

Я не понял, про какую птицу он спрашивает, про зоопарк, что ли, и на всякий случай ответил, что нас возили, там и синие были, и зеленые, и красные... Всякие, словом, птицы!

— А вам обещали, но не повезли, — сказал Бонифация огорченно. — У нас в Томилинском такой шухер вышел... Понимаешь, подкоп обнаружился под хлебозерку, ну и Хряк пошел лютовать! Тут уж не до театра было, кого в ремеслу выкинули, а кого даже на Кавказ!

— Хряк — директор? — с пониманием спросил я.

— Директор.

— А у нас Чушка!

— Ну, ясно, одной породы! — кивнул Бонифация. — А эта трофейная выставка давно уже... Некоторые из наших сами рванули и другие собирались, так Хряк говорит... Свезите, говорит, с малаховскими, с вашими то есть, с шакалами... А то они у меня туда сами сбегут... И повезли... Да вот она! Вот! — воскликнул он, указывая в окно.

Тут и весь автобус возбужденно загудел, увидели впереди, справа, за широкой рекой в граните берег с площадкой, забитой всяческой военной техникой: пушками, минометами, автомашинами, танками и самоходками с крестами!

Автобус забрался на огромный мост, с него площадка стала еще виднее, мы резко скатились под уклон, свернули направо и въехали в огромные железные ворота, над которыми крупно золотыми буквами было начертано: «ЦПКиО им. ГОРЬКОГО».

Лишь откинулась дверь, ребятня выпанула из автобуса

и с криками «ура» бросилась ко всей этой стоящей вразброс технике.

Проталкиваясь к выходу, я услышал, как баба-шофер поучала воспитательницу.

Она говорила:

— А ты не бежи за ими! Не бежи и не переживай! Ты вожу им отпусти, все равно не удержишь! А как есть захочут, сами как миленькие придут, прибегут даже! Ты вот лучше посиди тут, а я тебе расскажу, как до войны в этом парке я ухащерам своим свидания назначала... Ох, и резва была! Хоть и мала, но резва! Вовсю шалила!

Как она там шалила, я уж не дослушал, потому что, вырвавшись на волю, понесся что есть духу вслед за остальными, боясь не успеть и пропустить главное. Хвостик и Сандра бежали за мной.

С ходу пропустил я две пушечки, танк «Пантеру», так стояло на дощечке, и самоходку «Фердинанд». Тут уж, обливши и осадив кучей, шуровали детдомовские.

Я выбрал себе «Тигра» — так было написано на деревянной бирке, повешенной прямо на оружейном дуло. Осмотрел и крест на башне, и пушку, и ровный стальной бок, видать, крепко жажнули из бронебойки, и полез наверх, торопясь его поскорей занять. Он мне сразу пришелся по душе. Это ничего, что в нем совсем недавно сидели проклятые фашисты и даже то, что сделали «Тигра» в проклятой Германии! Сделали против нас, против меня лично! Ну, конечно, и против Сандры, и против Хвостика! А мы победили тем, что подбили, и значит, мы сильней, и танк теперь наш! Он мой... И я, хлопая по броне, быстро произнес: «Чур-чура, он мой! Мой! Мой!»

— Серый, подожди! — кричал снизу Хвостик, я его сразу за шумом не расслышал. — Я с тобой, Серый!

Он никак не мог забраться на гусеницу, срывался, падал и снова карабкался вверх, ко мне. Я подал ему руку и пома- хал Сандре. Она стояла на расстоянии и, приставив ладонь к глазам, снизу вверх смотрела на меня. Но смотрела без зависти, даже без интереса. Сандру занятый мной танк никак не волновал. Ее лишь волновало, чтобы мы не сверзились обратно, наземь.

Я заглянул через люк в темное нутро машины, потом спустил туда ноги и сполз, ударившись больно коленкой о какую-то железу. Но переживать было некогда, я потерял ногу и огляделся: было сумрачно и остро пахло дымом, даже в глазах защипало. Я примостился на ободранном, обгорелом до скелета сиденье, стараясь представить, как тут были до меня фашисты. Как они тут сидели, как лопотали по-своему, по-фашистски, а может быть, они орали «Хайль Гитлер!», наводя свою пушку и стреляя.

Сверху, в люке появилась в это время на белом небе голова Хвостика. Ничего не видя со света, он в темноту канючил: «Серый! Я к тебе!». И вдруг, не удержавшись, свалился прямо мне на голову. Не будь меня, тут бы, глупыш, и свернул себе шею! За ним и Сандра появилась. Она ни о чем не просила, а молча, упорно лезла вовнутрь, я помог ей спуститься, подставив плечо. И посадил на место наводчика к пушке.

— Будешь наводчиком и стрелком, — сказал я, как командир все равно какой. А Хвостика я просунул в самый нос к смотровой щели, чтобы наблюдал, что делается на воле, и был на шухере.

Не верилось, что нас тут не прихлопнут, в этой железной коробке, и не отведут куда следует.

Это ведь кому из Кукушат рассказать, не поверят: сами лезли по фашистскому «Тигру», сидели у пушки, а были бы снаряды, так и выстрелить бы могли, а может, даже поехать!

Я схватился руками за два рычага, дернул их на себя, как это делает артист Крючков в одном ужасно интересном кино.

— Куда двинем, братва?

Я пошутил, но Хвостик, сидящий впереди, ответил так, словно мы и вправду могли двинуться:

— Туда! — И указал за реку.

— Куда туда? На мост?

— На мост, Серый! И за мост! Там наш Кремль!

— В Кремль, что ли?

— В Кремль, Серый! Правь в Кремль! Только скорей! Скорей!

Он нетерпеливо махнул рукой, и Сандра кивнула. Она была согласна, чтобы мы шли на Кремль!

Нет, Хвостик и Сандра вовсе не играли, они были увере-

ны, что мы сейчас ринемся по мостовой на нашем грохочущем чуде.

И тогда я скомандовал:

— Заводи мотор!

— Есть мотор! — крикнул Хвостик.

— Отпускай фрикцион!

— Отпускаю, Серый!

Я не знал, что такое фрикцион, но так говорили где-то в кино, когда показывали, как Крючков бьет японцев, а потом поет песню про трех танкистов: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой!»

— Вперед, за Родину! За Сталина! — крикнул я и дернул рычаги.

Наша громада дрогнула, качнулась и урча так, что уши закладывало от грохота и рева, словно сошедший с рельсов поезд, поползла по набережной.

— Ура! — крикнул восторженно Хвостик, и Сандра промычала ему в тон. Впрочем, я почти не слышал их из-за шума и лязга. Приминая асфальт и чуть не зацепив стойку железных ворот на выходе, мы свернули на мост, который гулко отозвался под нашими гусеницами.

— Вижу Наполеончика! — крикнул адруг Хвостик.

— Пали в него, в гада! — приказал я Сандре.

Она извлекла из ящика беленький, сверкающий, как игрушка, снаряд и забила в ствол. И тут же выстрелила, закусив губу. Выстрела мы не услышали, только дрогнул стальной корпус «Тигра».

— Вижу директора Чушку!

— Пали в него, в гада!

И Сандра опять выстрелила. Никаких сомнений не отразилось на ее лице.

— Вижу Помидора и Ужа!

— Пали...

— Вижу Козла возле вокзала!

Тут мне и командовать не пришлось: Сандра выпустила сразу три штуки, снаряд за снарядом! Ее лицо побелело в этот миг.

— Вижу Тусю! — вдруг сказал Хвостик.

Я не стал командовать на этот раз, а посмотрел на Сандру. Она спокойно заряжала пушку, целясь в кого-то, кто был впереди.

— Не жалко? — крикнул я.

Она метнула в меня взгляд, странный взгляд человека, помешанного на ненависти. Лицо ее, будто у святой на иконе, светилось в темноте. И я понял, что она убьет их всех, кто окажется на нашем пути.

Но Хвостик заорал:

— Эти... Легавые сторожат у Кремля!

Вот тут Сандра и дала себе волю. Она послала снаряд за снарядом, от частой пальбы стало дымно в кабине и жарко, нечем было уже дышать. Но Сандра ничего не чувствовала. Я думаю, что она бы разнесла сейчас всю Москву, если бы хватило запала! Рассекая дробящуюся под гусеницей брусчатку, мы шли напролом к чугунным литым воротам Кремля, где нас еще недавно держали как арестованных. Попробовали бы мильтоны, сверкая своими пуговицами, теперь нас прижать к стене или даже встать на нашем пути! Мы бы им всем, всем показали!

Ворота отпали сами, едва мы ткнули дулом орудия. И вторые ворота, и третьи... Ишь, поставили ворот!

Тут я сказал Сандре:

— Много у тебя боеприпасов?

Она кивнула.

— Тогда жхни по другим воротам, чтобы они тоже были открытыми! Это все-таки Кремль, а не тюрьма!

Сандра покрутила ручки наводки и выстрелила!

— Она дырку в стене сделала! — закричал Хвостик.

— И правильно сделала! Это для наших... для «спецовских»... И всех других... Пусть лязят, сколько хотят, в гости к товарищу Сталину!

И я запел:

Из сотен тысяч батарей,
За слезы наших матерей,
За нашу Родину: огонь! Огонь!

Тут мы увидели самого товарища Сталина.

Лучший друг советских детей стоял на мраморной приступке дворца и курил задумчиво трубку, вовсе не удивляясь, что мы так шумно ворвались на его территорию. Но острый с прищуром рыжеватый глаз все время следил за нашей машиной, а седой ус немного шевелился.

Я осадил машину и стал карабкаться из люка. Хвостик и Сандра я велел оставаться на боевом посту.

С башни, горячий от боя, я соскользнул, как с горки, и чуть не упал, приземлившись на прямые ноги. Но сразу освоился и тут же, чеканя шаг, пошел прямо к товарищу Сталину.

— Товарищ Сталин! — крикнул я как можно громче. — Экипаж боевой машины, бывшей трофейной, а ныне советской, взял приступом Кремль, чтобы освободить вас от охраны легавых, которые не дают советским людям видеть и разговаривать со своим дорогим и любимым вождем!

Я ждал, что товарищ Сталин, окинув в задумчивости площадь, ответит величаво, как и положено вождю, но я ошибся. Он небрежно отшвырнул на землю трубочку, как надоевшую игрушку, и шагнул ко мне, открыв для объятия руки.

— Дорогой мой! — произнес, смагивая слезу. — Дорогой мой! Дорогой... Я ведь знал, что ты придешь! Зови остальных, всех моих друзей, всех, всех зови! Я хочу видеть, я хочу знать, как вы, дружки мои сердечные, живете? Не обижают ли вас легавые? Кормят ли вас, родных, одевают ли, обувают ли, как положено?

Я махнул в сторону машины, зовя Сандру и Хвостика. И они встали рядом со мной. Тут откуда ни возьмись, появились другие вожди, которых мы знали лишь по портретам в учительской, а теперь видели наяву: Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, Жданов, Микоян и еще кто-то, они все нам улыбались.

Сталин нам лично их представил, а про нас сказал так:

— Прошу любить и жаловать, это мои лучшие друзья из Голятины! — При этом он лукаво улыбнулся. — Голяки... А у нас в Гори их бы звали горяки!

23.

Переиначив в своем «Тигре», утречком, по холодку мы двинулись на поиски Кукушкиной. Хотя мы и дикие, из Голяков, но по адресу на документе найти-то можем. Она-то не в Кремле живет, чтобы к ней не пустили. Другое дело не очень-то хотелось к ней идти. Сам даже не знаю почему. Мешало именно то, что она тоже Кукушкина. Мы и так запутались с этой фамилией.

Но я подумал и решил, что идти-то надо. Тем более что проживает она, как объяснил одноногий сторож с выставки дядя Митя, на Фрунзенской набережной, вот, через речку напротив. Как говорят, привет Кукушкиной от Кукушат. Пишите, не забывайте, наш адрес в Москве трофейная выставка, Тигр, что с дыркой в боку, который рядом с Пантерой! Жду ответа, как соловей лета!

Сторож дядя Митя такой сторож, который ничего не сторожит. Он якобы за все эти Тигры и Пантеры отвечает. А чего за них отвечать, если они — сами по себе стоят и есть не просят. А дядя Митя приспособится, сварганит костерок и варит себе хлебо в солдатском котелке да песни про себя мурлычит, мы ему ни с какого бока не помеха.

Набережная, где проживала наша Кукушкина, оказалась и правда неподалеку, надо было лишь перейти огромный мост, который они тут называют «Крымским». Хотя он в Москве и река под ним тоже Москва.

Шли мы, никого из прохожих ни о чем не спрашивая, чтобы не рисковать. Тот же разговорчивый сторож охотно объяснил, что за нами уже идет охота. Не за нами лично, а за всеми, потому что таких, как мы, осадивших Москву, из разных «спецов» и колоний, тут немало, и живут они не только на выставке, но в подвалах, и на чердаках, и даже в кустах, иногда прямо около Кремля, и все караулят товарища Сталина.

Но менты дотумкали, приказали ловить их, то есть нас, сажать, высылать, и уже жители оповещены об особо грозной им опасности. Причем не только милиция, но санитарная станция, которая предупреждает о всяких там крысах, собаках и тараканах! Теперь пугают нами, что мы несем заразу, что мы грабим и даже убиваем.

— А в газетах, говорят, — это дядя Митя произнес с оглядкой, — прописали о раскрытии заговора группы подростков, которая якобы называлась «Отомстим за родителей». Там какой-то сломанный ствол от пулемета или миномета был, подобрили на свалке под Москвой... Будто они хотели из этого ствола убить товарища Сталина!

У нас на выставке таких ребят нет, мы любим и обожаем родного вождя, да ведь ментам все одно, приказали ловить, они и ловят!

Как наказывал нам дядя Митя, мы ни к кому не подходили, береглись. Сами и дом нашли, и дверь, которая, конеч-

но, оказалась забитой. Мы долго в нее стучали, аж кулаки отбили! Хотели уходить, но тут появилась женщина, странно так на нас посмотрела. Вот теперь я стал замечать, что ОНИ ВСЕ странно на нас смотрят. Кто с боязнью, кто с жалостью или со страхом, а некоторые даже с ненавистью. И при этом ОНИ отводят глаза.

Эта женщина тоже странно посмотрела и тоже отвела глаза. Но, проскочив мимо, она обернулась и крикнула:

— Дверь со двора! — и сразу ушла, ускорив шаг, и еще несколько раз оглянулась.

Мы обошли дом, и правда, в нем оказалась еще одна дверь. Самое чудное, что она была не забита! Она открывалась, и в нее можно было войти.

Теперь-то мы поняли, как в Москве ходить по домам: надо все время искать другую дверь, которая со двора, а не с улицы!

Пока мы осматривались в темном подъезде, вышла старуха, она держала в руках ведро. Эта почему-то нас не испугалась, а спросила:

— К кому, молодые люди?

Никогда москвичи к нам так не обращались. Да и какие мы «люди», особенно тут, в Москве, по нашим невымытым ромам видно. Старуха, наверное, была слепа!

Хвостик сказал:

— Нам в квартиру тридцать два!

— Ну вот она, перед вами, — ответила старуха. — А кого нужно-то? Мешковых, Елисоновых, Кукушкиных...

При этом старуха смотрела на Хвостика.

— Кукушкиных, — подтвердил я.

Старуха вздохнула:

— К дочери моей... Так, понимаю... Алевтине Петровне... — И старуха закричала куда-то в темный коридор приоткрытой двери: — Алевтина! Пришли... Твои...

Я не сразу оценил: «твои». Но старуха-то была ясновидящей, она сразу сообразила, с кем имеет дело!

Из квартиры донесся глухой медленный голос:

— Сколько их? Мама?

— Всего трое!

— Ну, пусть войдут.

— Войдите, — предложила старуха. — Прямо и направо... Она вас ждет.

«Так уж и ждет!» — подумал я.

Старуха, не выпуская из рук ведра, смотрела, как мы пробираемся мрачным коридором, и как бы не нам, а себе добавила:

— Трое — это не много... Вот когда по десять приходят!

Я повернулся, но не увидел ее. И опять подумал, что старуха-то нас угадала. Наверное, не мы первые! Бывали, значит, и другие Кукушкины!

С такой мыслью, настраивая себя на иеудачу, я ступил первым в комнату. Эта комната была загромождена мебелью, как наша трофейная выставка техникой; мебель стояла непонятно как, вкривь, вкось, так что пришлось протискиваться между шкафами и столиками в дальний угол. Там, у окна, в огромном кресле сидела НАША Кукушкина.

Она оказалась совсем некрупной, даже маленькой, и у нее было белое-белое лицо. Но что мне сразу понравилось: глаза не испуганные, как у всех, а вполне спокойные. Она уже знала, кто мы и чего от нее хотим. И глаз своих, я заметил, она в сторону не отвела. Она внимательно нас рассматривала, наверное, стараясь нас вспомнить.

А мы, трое, вытаращились на нее, стараясь вспомнить хоть что-нибудь о ней. Ведь мы же встречались с ней в какие-то отдаленные, непонятные для нас времена... Что-то должно же в нас от нее остаться?

Но ни Сандра, ни Хвостик, я по их лицам увидал, не возродили в памяти эту женщину, чье имя мы в себе, как тайну, не ведая об этом, носили всю нашу жизнь.

— Ну садитесь, — произнесла она ровно. Голос ее и тут, вблизи, был медлителен и глуховат. Она больная, и голос больной. И лицо, и глаза — все у нее было больное. Теперь рядом с ней это стало еще заметней.

Мы, потоптавшись, присели рядом на диван, на самый кончик, чтобы его не замарать. На таком диване мы сидели впервые, как и вообще впервые были в настоящей квартире, среди настоящей мебели. У нас в «спеце» такой мебели, конечно, нет, все привычное, казенное, из досок: лавки, табуретки, столы... А здесь шкаф, так он будто не шкаф, а дворец украшенный, и стол блестящий, словно из камня и почему-то кривоногий, а диван с белым покрывалом и высококой спинкой, а в спинке — зеркало!

Пока мы озирались, женщина ждала.

Потом она сказала:

— Значит, Кукушкины... — И остановила взгляд на Хвостике. Что-то ожило в ее лице.

— Да. Мы — Кукушкины, — ответил я, и Сандра кивнула.

— Как же вас зовут?

— Меня — Сергей... А ее Сандра... Ну, Шура, значит...

А его имени мы не знаем. Мы зовем его Хвостик.

— Правда, — похвалился Хвостик. — Меня так все зовут.

— Мама! — позвала чуть громче женщина, глядя на дверь, так и оставшуюся открытой. — Мама! Поставь чай! Их же надо накормить!

— Да уже поставила, — ответили из коридора.

Женщина посмотрела на Сандру, на меня и вдруг спросила:

— Твоя тетка приходила? Ну, чтобы я написала бумагу?

— Она не тетка.

— Все равно. Но я ей бумагу написала. Хотя, если честно, я и тебя не помню.

Я промолчал.

— Ты, возможно, не знаешь, что она разыскивала каких-то твоих родственников!

Я продолжал молчать. Вот, чего боялся, то и случилось. Страшная у меня началась жизнь! Сберегательная книжка, метрика, родственники... Егоров, который отец! И все, все одному мне! Распределить хотя бы на троих, было бы легче! Кукушкина заглянула мне в лицо и, кажется, поняла, догадалась, что меня разволновало.

— Ты можешь к ним и не ходить, — произнесла. — Я их тоже не видела. Не представляю, какие они. Хотя догадываюсь. Но они знают что-то о твоём отце... Ты же о нем пришел спросить? Об Егорове?

Я помедлил. Но потом решил и сказал «да».

— Тогда поезжай к ним. Я тебе объясню, как их найти.

— А они? — Я показал на Сандру и на Хвостика. Но поправился: — А про них... вы что-нибудь помните?

Женщина покачала головой и устало вздохнула.

— Вас же было столько... Я не успевала считать, не только в лицо заглядывать... Да если бы и заглядывала!

— А почему... спросил я, напрягаясь. — Почему нас было так много? И почему... нас стали называть не по-нашему? А по-вашему?

Теперь я увидел, что Сандра насторожилась, даже побледнела. И Хвостик перестал глазеть на квартиру, а уставился на Кукушкину. Женщина не ответила. Она опять посмотрела на дверь. Произнесла, не повышая голоса, в пространство:

— Мама! Как у тебя с чаем?

— Сейчас, — прозвучало из коридора. — Поспел, несусь.

И хоть мы слышали одну маму, мне вдруг показалось, что там в коридоре присутствует кто-то еще. Шаркали чьи-то ноги, поскрипывали половицы, раздавался кашель.

Женщина терпеливо ждала, глядя на дверь, а мы глядели на нее.

24.

Пришла мама Кукушкиной, она не показала нам черной старухой, как там в подъезде, а была нарядной, в красной кофте и красной косыночке, с подноском в руках. А на подносике, сверкающем, словно серебряный, стояли красивые чашки, прям как в ресторане, даже лучше, и еще чайник, тоже весь разукрашенный, а на отдельном блюдечке небольшие лепешки, мы сразу их, конечно, про себя сосчитали: четыре штуки!

Поднос ее мама поставила на блестящий столик с кривыми ногами и ушла. А Кукушкина налила из чайника чай, всем нам троем и себе, и велела брать блины. Она их так называла.

— Сахара нет. — Она оправдывалась, будто была перед нами виновата. — Но блины из мороженой картошки, сладкие... Может, вам понравятся. Их почему-то дерунами зовут...

Сандра и Хвостик по блину взяли, а чашки брать опасались. Они смотрели на меня. Все-таки я уже один раз ел из такой посуды, а они не ели ни разу.

Я старался изо всех сил, осторожно взял чашку, но тут же плеснул чай на пол. И с испугом посмотрел на Кукушкину.

— Ну, конечно, — сказала она спокойно. — Он же горячий! Не обжегся?

Господи, о чем это она? Тут как бы чего не замарать да не разбить! А об нас уж речи нет! Лучше бы я обжегся, да пол не замочил. Ведь уйдем, а кто-нибудь подумает: «Ну что

с них взять... Они и чашку-то не умеют держать! Недоделанные какие-то!»

Теперь я держал чашку двумя руками и сразу увидел, что Сандра и Хвостик тоже держат чашку двумя руками и дуют на кипятки.

— А вы налейте в блюдечки, — подсказала Кукушкина.

Дальше мы пили уже без происшествий, а мама Кукушкиной еще приходила два раза и каждый раз приносила на тарелочке по четыре блина. Она их где-то там в кухне пекла. А еще там чьи-то ноги в коридоре все шаркали и шаркали.

Я подумал, что если бы я лично пек или кто из наших, мы бы сперва сами нажрались на кухне, а потом бы подумали, угощать каких-то приходящих или лучше не угощать! Мало ли народу по городу-то шастает! Блинов мало, а их, то есть нас, вон сколько! На всех продуктов не хватит!

А Кукушкина сказала, посмотрев на дверь:

— Ну, хоть немного-то сыты? Вот и хорошо. Девочка, поди закрой дверь, а то дует. — И Сандра закрыла. — А теперь я отвечу на ваш вопрос... Почему вас было много... Да потому, что ваших, ну, родителей было много... Там...

— Где? — спросил я в упор. — В тюрьме?

Она не отвела глаз. Но замялась.

— Да. И в лагерях тоже.

— А почему их было много?

Она молчала.

— Они все были врагами?

И тут мама Кукушкиной произнесла из-за нашей спины, мы не заметили, как она объявилась:

— Да ее саму записали в враги... Из-за вас, между прочим! Там позвонки и перешибли!

— Мама, — сказала Кукушкина ровно. — Я тебя прошу!

Но мама будто осерчала и стала быстро говорить, что она свою дочь предупреждала, что это плохо кончится! А когда ее взяли и стали допытываться, зачем она вас засекретила, и она ответила, что вовсе не засекретила, а дала вам свою фамилию, потому что вы не помнили собственных, а они ей не поверили! И стали бить! А потом выпустили, когда в инвалида превратили... И вы тут! И ходите, и ходите! Хоть бы пожалели ее! Ведь она из-за вас пострадала!

И мама ушла. На этот раз в сердцах даже дверью хлопнула, но так сильно, что дверь открылась.

Мы испуганно молчали, а Кукушкина побледнела еще сильнее.

— Да ладно, — отмахнулась, — сидите... Она не на вас это... Она вообще...

— Они вас били? — спросил я. — За нас, да?

Кукушкина сказала Сандре:

— Девочка, поди закрой дверь... Обычно мы с открытой дверью живем. Но что-то похолодало.

А пока Сандра ходила и закрывала, она уже успокоилась. Только бледность не прошла. Она посмотрела на Хвостика и вдруг оживилась:

— А вот его я помню. Он до моего ареста за два дня был. Но у него, и правда, не было ни имени, ни фамилии.

Кукушкина с оглядкой на дверь прошептала:

— Вы небось к товарищу Сталину хотите попасть?

— Мы к нему не попали, — ответил я.

— И не надо! Не надо!

— Почему?

Она пожалала плечами и покосилась на дверь.

— Лучше сходи к своим родственникам... Тут две остановки... на метро...

— А на метро разве разрешают? — удивился я.

— Ну, а как же! Купи билет и езжай, я вам на билет денег дам! У вас же ничего нет?

— У нас сто тысяч есть! — вдруг выпалил Хвостик. — В книжке!

Кукушкина не удивилась. Она нарисовала на бумажке план, как мне найти родственников и как к ним доехать на метро. Остановка «Дворец Советов».

Про Дворец Советов мы учили в школе, он выше всех в мире, а на нем Ленин с протянутой рукой, а на руке у Ленина аэродром, в голове у Ленина зал заседаний для товарища Сталина!

— Нет, — возразила Кукушкина, посмотрев на дверь. — Вы Дворца не увидите, его нет... Но там совсем недалеко... Поезжайте! А насчет книжки я знаю, и я говорила вашей тете или как ее, что не нужна вам эта книжка! Зачем вам такие деньги?

— Бухарик хлеба купим! — сказал Хвостик. — А может, и еще пайку! Если останется!

Кукушкина посмотрела на него задумчиво. В глазах засветился дальний такой теплый-теплый свет.

— А ты, Кукушонок, сказки читаешь? Ну, вот я тебе расскажу. Сказку про слона и про маленькую-маленькую мышку. Встретились они на улице, слон и говорит: «Чего это ты такая маленькая? Надо больше есть! Вот смотри на меня: я много ел и вон какой вырос!» Мышка вздохнула и прошептала: «А я долго болела»... Впрочем, это я про себя... — закончила Кукушкина, вздохнув. — Ну, а хлеб-то, конечно... Там, кстати, касса та самая, где эти деньги положены, рядом с домом... На противоположной стороне. Только дорогу перейти.

— И нам дадут? — спросил я. — Деньги?

— Наверное... Честно говоря, у меня никогда не было денег, чтобы на книжке. Понятия не имею, как их берут. Но вам там скажут.

Кукушкина произнесла в сторону двери, чуть напрягаясь:

— Мама! Ты их проводишь?

На пороге встала мама, сразу, будто ждала тут за дверью. Мы поднялись, не зная, как удобнее уйти.

Но Кукушкина сделала знак подойти поближе и всех нас поцеловала — Хвостика, Сандру и меня. Наклоняя мою голову, она произнесла на ухо:

— Не ищите их... Не надо их искать... Их никого уже нет. Ты меня понял? Никого. А вы поберегитесь... Вы нужны... Вы почки от могучего дерева... Но вам надо еще вырасти! Ты понял! Постарайтесь уцелеть! Они никого не щадят!

Я сказал:

— Ладно.

Хотя ничего понять не смог. Я только потом, не скоро дотумкал, в чем дело, когда мы отсиживались в сарасе, надеясь, что вывернемся и уцелеем. А когда я вспомнил ее слова, вдруг понял, что мы не вывернемся, а может, и не уцелеем. Но это потом, потом.

А тогда я пообещал — и посмотрел на нее в последний раз. Я знал, что мы никогда больше не увидимся.

— Ну, ступайте, с богом! — И словно обмякла, съехала и стала еще меньше в своем огромном кресле.

— Ступайте, ступайте! — повторила за ней, но уже другим тоном ее мама, выпроваживая нас в темный подъезд. И уже там, прикрыв за собой дверь в квартиру, она произнесла с неприязнью: — Вы не приходите больше! И другим скажите, чтобы не приходили! Ей и так жить ничего осталось, она жизнь-то из-за вас сгубила! А вы совсем не хотите ничего понимать и ходите, и ходите, и добываете еще больше!

25.

Мы сперва так и хотели сделать: поехать на метро.

Но лишь мы шагнули за дверь и увидели круглый огромный зал, полный света, с блестящим каменным полом и такой же блестящей лестницей, ведущей куда-то вниз, как Сандра встала, замотала головой и повернула обратно. Да и мы с Хвостиком последовали за ней и скорей выскочили наружу.

По бумажке, как было нарисовано, мы и так, пешедралом дошли до улицы Кропоткинской, отыскивали нужный нам дом и дверь тоже отыскивали.

Теперь-то мы «вумные, как вутки», и сразу завернули во двор: дверь была открыта!

Но мы не стали заходить в эту дверь. Мы, задрав головы, посчитали этажи, их было целых десять! Высоко моя родня от меня забралась!

На небе живут, под землей небось ездят! А сейчас сидят на своем десятом этаже и в уме не держат, что их родственничек торчит в подъезде и раздумывает, идти к ним или не идти.

Интересно, они бы обрадовались, если бы узнали, что я тут стою?

Небось бы свесились в окно, выскочили бы из дома! Как же, племянник, сын Егорова, сам по себе нашелся! Драгоценный наш! Долгожданный! Какие там еще бывают слова... Пойдем, пойдем скорей, тебя все хотят видеть! А вырос, боже мой! И это сын самого Егорова! Знал бы папка. Радости-то сколько!

Так мне представилась эта еще не состоявшаяся встреча.

Я последний раз взглянул на десятый этаж и вздохнул. Потом я вернулся на улицу, перешел ее и сразу увидел дощечку с надписью «Сберегательная касса». Хвостик и Сандра следовали за мной.

Мы прочитали надпись, но заходить не торопились.

К родственникам идти не страшно, но неохота. А сюда

зайти охота, но страшно. Все равно как спуститься под землю. Но мы зашли. Мы увидели пустой зальчик, барьер и окошки, на которых было написано: «Кассир», «Контролер» и еще «Заведующая». Мы, конечно, выбрали кассира. Я извлек из-под подкладки драгоценную книжку и подошел к окошку. Женщина за окошком, толстая, в очках, читала книгу и меня не увидела.

Сандра долго ее рассматривала, потом толкнула меня локтем, чтобы я, значит, подал голос. А то так никогда не увидят.

В это время, громко хлопнув дверью, ворвался старик с палкой в руках. Он оттер нас от барьера, влез с головой в окошко и стал требовать, чтобы ему немедленно выдали деньги, потому что он торопится.

А женщина оторвалась от книги и сказала:

— Конечно! Конечно! Не волнуйтесь, сейчас сделаем!

Взяла у него книжку, и все в ней — и обложка, и странички — было, как у нас, я успел рассмотреть! Старик выдал деньги, посчитав их перед собою носом два раза. Он схватил их и стал сам считать. В третий раз. Сперва около окошка, а потом отойдя в сторону. Теперь он считал не торопясь, зевнул, посмотрел в окно, на нас и стал укладывать деньги в огромный кожаный бумажник. Мы старались на него не смотреть, чтобы он не подумал, что торчим, чтобы подсматривать, куда прячет деньги.

Но он не уходил, а глазел в окно, зевал, оглядывал нас и все ощупывал в кармане свой бумажник. Наконец, кинув в нашу сторону грозный взгляд, убрался, сильно хлопнув дверью. А мы почему-то облегченно вздохнули.

Я набрал воздуха и спросил в окошко, могу ли я получить деньги, потому что мы очень торопимся. Я все сделал, как старик, но я сказал правду, мы ведь тоже торопимся сделать в Москве свои дела.

Толстая женщина оторвалась от книги и спросила:

— У вас вклад? Аккредитив?

Я показал ей книжку, но издали.

— Давайте сюда, — сказала она и протянула руку.

— Не отдавай! Серый! — зашептал Хвостик и дернул меня за руку. — Она зажмет... Зажмет, вот увидишь!

Я посмотрел на Сандру, я верил ее чутью. Сандра лишь пожала плечами. Она не стала меня отговаривать. Да и понятно, зачем сюда идти, если всего бояться.

Я не сразу, но протянул книжку, а Хвостик и Сандра прямо напряглись, следя за руками кассира: куда она ее денет?

Женщина открыла там, где была написана сумма, и застыла надолго. Несколько раз перечитала, шевеля губами, посмотрела на меня, потом опять в книжку, и опять на меня, точнее, на всех нас. Повернулась к другой, тонкой женщине: «Тася, смотри!» — и показала ей книжку. Та заглянула и тоже стала рассматривать нас, будто мы вышли из зверинца.

А тонкая сказала:

— Егоров Сергей — это кто?

— Я, — ответил я и почувствовал, что почему-то подгибаются ноги. Вдруг испугался, что меня сейчас назовут жуликом.

Но она произнесла:

— А документы у вас с собой?

Я кивнул и достал метрику. Теперь все наши ценности были в руках у этой женщины. А она их все мусолила, все перечитывала, поглядывая на нас.

И спросила, уставясь на меня:

— Так чего же вы хотите?

Хвостик дернул меня снизу и зашептал:

— Скажи, чтобы отдали деньги! Серый! Скажи им! Скажи!

— Денег... хотим... — ответил я и стал смотреть в пол. Мне опять показалось, что она думает, что я жулик. Почему-то было стыдно просить у нее деньги. Хотя старик, который был тут, вовсе не стеснялся говорить о деньгах и даже их требовать. Вот бы мне такую внешность с палкой и голосом! Такому-то дадут, он из горла, если что, выдерет!

Егоров! — сказала женщина, привставая, чтобы лучше меня видеть. — Но тебе нелагается выдавать на руки деньги. Ты же еще мал, понимаешь? Но ты можешь прийти с родителями и получить. Ты меня понял?

Я кивнул. Хотя я понял лишь одно, что мне денег все равно не дадут. И слава богу! Я не знал, как я их получу и что с ними буду делать!

Но тут другая, толстая кассирша тоже, выглядывая из окошка, начала объяснять, что мне нужно прийти со стар-

шими, и они на мое имя имеют право получить, если заверят доверенность... А доверенность можно заверить у нотариуса... Это все же сложно...

— Ты где живешь? — спросила одна.

— Ты москвич? — спросила другая.

И хоть Сандра ткнула меня локтем, чтобы я не выдавал наш поселок, мало ли зачем они спрашивают, я ответил:

— В Голытиве... живу.

— Это где? В области?

Я не знал ничего про «области», но кивнул.

Я устал их слушать. Но кивал им все время. Дело ясное, что дело темное. И еще подумал про себя, что голытинские, и правда, знают, как это делать, они чикаться со мной не будут, а тут же денежки все загребут! Мы-то их тоже знаем!

Но женщины обрадовались, что я все понял, и вернули мне книжку и метрику. Вернули, хотя, конечно, могли не вернуть!

— Сделай, как мы говорим, — наставляла толстая. — А книжку спрячь подальше, это документ.

Я опять кивнул, и мы вышли, нет, выскочили поскорей наружу.

26.

Облегченно вздыхая, мы стояли у кассы, радостные оттого, что от нее освободились.

«Хорошие люди», — сказал бы Мотя про кассирш. Спасибо им, легавых не вызвали!

Мы все трое — и Сандра, и Хвостик, и я не сводили глаз с дома напротив, где, ничего обо мне не ведая, жила-была моя родня. Или — взбрело в голову — осласливить ее, прийти да заодно и книжку эту ненужную всучить? Берите, пользуйтесь, если родня, мне не жалко!

— Серый! — спросил Хвостик. — А почему тебе денег не дали?

Я еще раз пересчитал этажи, а ему ответил:

— Не вышел ростом! Мало каши ел!

— Так нам не давали! Кашу! — сказал с обидой Хвостик.

— Ну, может, сейчас дадут! — И я решительно пересек дорогу, направляясь к дому родни.

— Вы со мной?

Сандра и Хвостик согласно кивнули. Они хотели тоже видеть мою родню. Не каждый день нам ее показывают! А может, и бליнами угостят? Без чая! Чай на подносике у нас не проходит!

Мы поднялись на самый верхний этаж, десятый, и постучались. За дверью послышались шаги, но никто нам не открывал.

Мы стукнули еще. За дверью ходили, бормотали голоса, даже один раз громыхнули замком. Наконец стали отпирать. Отпирали долго, но так почему-то и не отперли. Зато мужской голос спросил:

— Кто?

— Это я, — сказал я, не зная, как объяснить про себя, не рассказывать же через запертую дверь.

— Кто — я? Назовитесь!

Тогда я догадался спросить:

— Егоровы тут живут?

— Какие Егоровы? Вам кого нужно-то?

— Егорова нужно, — ответил я решительно и вдруг перестал волноваться. В самом деле, чего это я дергаюсь, как головастик на крючке! Я уже громче добавил: — Откройте, я все объясню!

Опять загрел замочек, и послышался женский голос: «Цепочку! Цепочку накинй! Сейчас кругом бандиты!»

Тут приоткрылась дверь, но едва-едва, и в щелочку выглянул мужчина, лысоватый, в очках, почти таких же золотых, как у нашего Чушки.

— Ах, тимуровцы! — воскликнул он облегченно. — Но мы все уже отдали! Правда! Даже старый самовар!

— А вы Егоровы? — спросил я мужчину.

Он недоуменно посмотрел на меня.

— Я тоже Егоров... Сергей...

Я видел, он уже собирался захлопнуть перед моим носом дверь, но вдруг растерялся, замер от неожиданности.

— Сергей? Какой такой Сергей?

— Ну, сын вашего брата... Антоша...

— Брата? — пробормотал мужчина. — У меня нет брата! — И он глянул на Сандру с Хвостиком. Я видел, что он вдруг насмерть перепугался. Даже очки у него вспотели.

Он в момент захлопнул дверь, но тут же распахнул и велел

войти. При этом подозрительно оглядел площадку, где мы стояли. Дверь за нами он тут же запер. Мы очутились в прихожей, где висела одежда и сверкало огромное, выше моего роста, зеркало. Мы стояли, и мужчина перед нами стоял, будто загораживал от нас коридор и проход в комнаты. А из-за спины мужчины выглянула женщина, ростом она оказалась выше его, пышная, в цветном красно-алом халате. Я почему-то подумал, что в таком халате нужно в ихнем метро ездить, а не дома сидеть, где никто не видит, какой это красивый халат.

Я думал о халате, но я всегда в такие напряженные моменты о чем-нибудь посторонним думаю.

— Андрей! Это кто? — спросила женщина громко, так, будто нас тут не было. — Почему ты пускаешь в дом кого попало?

Мужчина поправил какие-то дикийные резинки на плечах, это у него так штаны, оказывается, держались, и сказал женщине:

— Дильбара, успокойся... Это сын Антона... Понимаешь? Сыи... Антои... Пришел...

— А разве его не зарезало поездом? — удивилась женщина, мельком посмотрев на меня.

— Да, да! — проговорил торопливо мужчина. — Нам ведь сообщали, что ты, это... Что тебя, как бы сказать... ну, задавило...

Я молчал. Надо ли мне им объяснять, что меня никто не давил? Но ведь и так видно, что я целый, потому к ним и пришел.

— А что ему надо? — поинтересовалась Дильбара, которая так странно звалась. — Почему он к нам пришел?

— Мне дали ваш адрес, — ответил я. — Вы же родственники?

— Мы? Родственники? — закричала Дильбара. — Кто сказал, что мы родственники? Мы твоего Антона не знаем! И не слышим! Из-за него Андрей чуть работу не потерял! А он профессор, между прочим! Он декан! Он письмо в ЦК написал, что с братом не яшались и мы его знать не хотим! Среди нашей родни не было никогда предателей! Одна паршивая овца завелась!

— Дильбара, — попросил мужчина, поворачиваясь то к ней, то к нам. — Ты иди, иди... Я все объясню, как надо! Только без крика, ведь тут все слышно! Я потому их с площадки увел, что сразу напишут!

— Ну ладно, только пусть уходят, — произнесла Дильбара и сама ушла, на прощание сверкнув своим замечательным халатом.

— Вот, — вздохнул мужчина и развел руками.

При этом он смотрел на нас, а мы на него. Такой-то чай со сладкими блинами да с подноском! Было ясно, что он ждет, пока мы уберемся. Но у меня еще было дело. И я на прощание сказал:

— Отец мне деньги оставил... На книжке... Вы их не хотите? — И протянул книжку.

Мужчина вздрогнул, как от удара. У него даже щеки покраснели. Но книжку взял и заглянул в нее. И сразу стал белой стенкой.

— Дильбара! — позвал жалобно. — Тут вот Антона деньги...

Дильбара вышла, но уже не в халате, а в платье с розовыми цветами. На голове какая-то странная чалма, тоже в розах. Прямо как красавица из кино про багдадского вора... Нам один раз показывали!

— Какие деньги? Зачем ты взял? — вскрикнула она.

— Но тут... Посмотри!

— Не хочу смотреть, отдай! Отдай им!

— Но тут — сто тыщ!

— Хоть двести! Господи! — закричала Дильбара. И вдруг разразилась слезами. — Мало я тебя из-за этих Егоровых вытаскивала! Мало за тебя просила! Ты хочешь, чтобы они тебе снова внушали, что ты деньги у предателя взял! А откуда известно, что это «не оттуда» деньги? Ты меня понял? Донесут! И мы — пропали!

Мужчина вздохнул, отдал мне книжку.

— Ты вот что, — промямлил. — Ты матери отдай... Она возьмет... Она, это... дохлая совсем...

— Матери? — спросил я и вдруг задохнулся от догадки. — Какой... матери?

— Какой! Какой! Твоей! — крикнула Дильбара. — К ней, а не к нам тебе надо идти! А мы тебе никто! Понимаешь? Мы... ни-кто! Андрей, убери его скорей, иначе я сойду с ума!

Мужчина заторопился, стал надевать пальто.

— Иду, иду... Да, у меня дело... А по дороге я покажу, она тут, в другом доме живет... Пошли!

И в мгновение вывел нас из квартиры. Мы не успели попрощаться с красавицей Дильбарой.

27.

Мужчина, беспрерывно оглядываясь, провел нас дворами к двухэтажному, небольшому совсем дому, за спиной других домов.

Мне все время казалось, что он хочет что-то объяснить, но не решается. Он взглядывал как-то странно, даже жалобно и тут же отдергивался, будто его било током! И ускорял шаг, а по лестнице на второй этаж он почти взбежал, даже задохнулся.

Но он нас не оставил, а сам постучал в дверь и, когда послышался женский хриплый голос, сказал:

— Антонида... Это ты? Я к тебе сына твоего привел... Открой, пожалуйста!

Я стоял ни жив ни мертв, но все видел и слышал. Я видел, как странно на меня смотрит Сандра, а Хвостик задрал голову и пытается понять, как же это произошло, что у меня оказалась мать. Ведь сегодня утром еще никакой матери не было. И вчера не было, и там, в Голяках, тоже не было. Да и правда, непонятно, откуда она вдруг появилась, если ее никогда не было!

Но я тут же подумал: раз была корзина, в которых детей пускают по реке, то была и мать. А как же иначе!

Из-за двери раздался голос, значит, это был ее голос. Голос матери. Так странно.

— Андрей, что ли? Кого ты привел?

— Сына! — повторил он и вытер пот со лба. Все-таки ему не так уж легко жилось, я сразу понял. И человек, судя по всему, он был неплохой, по выражению Моти, — вот не бросил, до матери довел и тут еще терял из-за нас время, когда ему надо куда-то идти.

— Сына? — спросил голос матери.

— Ну, твоего! Твоего! Сергся! Он жив, оказывается! — Мужчина посмотрел умоляюще на меня: — Скажи ей, что ты жив! Ну?

— Я — жив, — сказал я деревянным голосом.

— Он жив! Жив! Открой!

Женщина, которая мать, там, за дверью, молчала.

Мужчина сердито стукнул кулаком:

— Ты откроешь, Антонида? Или нет?

— Нет, — ответила женщина.

— Почему?

— Я его боюсь.

— Почему ты его боишься?

Женщина помолчала.

— Боюсь... А ты не боишься?

Мужчина будто с ходу что проглотил. Даже ответить не смог. Потоптался рядом с нами и решил:

— Дальше сами... А мне пора! — И посмотрел на часы.

Но опять же не ушел, а постоял, глядя на меня и часто моргая.

А потом мы остались одни. Мы стояли, даже не знаю зачем.

А женщина вдруг спросила из-за двери:

— Сергей? Ты тут?

Я кивнул. Я ничего не произнес, но она уверенно подтвердила.

— Я знаю, что ты стоишь. Ты один? Нет?

— Мы — трое! — крикнул в щель Хвостик. У меня голова почему-то не было.

— Ну, вот видишь, — сказала женщина. — И все бандюки?

— Нет! Нет! — крикнул Хвостик. — Мы не бандюки, мы дети!

— Все равно. Я не открою. Я с твоим отцом и не жила, когда его забрали. А потом я написала, что я ни его, ни тебя не видела и ничего про вас обоих не знаю. Я от тебя сразу отказалась. Так что ты уходи... Сергей... Мне и без тебя тяжело. Они ведь ничего не прощают. Они и дядьку твоего Андрея до сих пор тягают. Могут и посадить. Особо-енно если узнают, что ты нашелся.

— Антонида... Мы тебе не нужны? — крикнул в щель Хвостик и посмотрел на меня.

— Вы мне не нужны...

— Тогда мы пошли! — крикнул Хвостик.

— Идите...

Я достал сберегательную книжку и засунул ее в щель. И пошел. Но когда мы уже выходили со двора, я подумал,

что к матери книжка может и не попасть, если кто увидит раньше. Я всрнулся, взбежал на второй этаж, и точно: знакомый старичок с палкой, тот самый, что считал в кассе деньги, стоял у двери и держал мою книжку. Он так увлекся, что меня не заметил. Я вырвал у него из рук книжку и побежал вниз. А он вдруг закричал мне вслед визгливо:

— Жу-лик! День-ги ста-щил! По-мо-ги-те!

28.

О нашем отъезде из Голяков никто не узнал. Мы даже успели в поле два дня поработать. Про Москву Кукушатам рассказали немного. О том, что Кремль заперт, что товарищ Сталин ментами охраняется. И еще про Кукушкину, про ее слова, чтобы никого мы не искали. Никого уже нет в живых.

Думал, начнутся споры. Но никто из Кукушат с разговорами не вышел. Хотя по глазам было видно, что каждый эту новость примеряет лично на себя. Только вслух обсуждать не хочет.

Но я и сам спасался, не хотел вопросов. Про родственников же, которые меня выперли, глухо молчал. И Хвостик, и Сандра велел молчать. Так же, как про встречу с матерью. Да и была ли мать? И мать ли это за дверью отвечала? А кто ее видел, что она мать? Кто?

Сандра всю обратную дорогу проплакала.

Я знал, что она плачет о тете Дусе.

Когда мы отыскали иаш вокзал и поезд, у третьего вагона торчал вместо тети Дуси мужик с хитрой рожей, конопатый, и только мы назвали тетю Дусю, послал нас подальше. А худенькая женщина от соседнего вагона окликнула нас:

— Вы Кукушкины? Дуся говорила про вас... Что вы придете! До Голятина... Я подмогу.

— А сама она где? — спросил я.

— Приболела, — ответила проводница.

А мужик из третьего вагона крикнул зло:

— Как же! В пьяном виде под колесо влетела! Такая у нее болезнь!

— Ты, Егор, молчи, — сказала с укором проводница. — Ребятам это неинтересно знать. — И увела нас к себе в вагон.

Теперь Сандра плакала, молча плакала о тете Дусе, которая, конечно, ни в какой не в больнице, раз под колесо попала... А еще она плакала потому, что в Москве у нее слезы накопились. У всех у нас слезы накопились. Я бы тоже в слезы ударился, да у меня после разговора с тем самым голосом, что за дверью, внутри спелось. Так спелось — временами дышать не мог: грудь болела.

А вообще-то я про Москву понял: это как наш «спец»... Они думают, что живут в городе, а они запертые, как в «спеце», живут. И Сталин, если посудить, в «спеце» живет. Какая разница, снаружи его охраняют или внутри!

Получается: никуда из Голяков и ехать не надо! Везде одно и то же! Везде свои чушки и свои наполеончики, как бы они ни назывались. И везде мы виноватые. Только неизвестно, в чем мы виноватые. Вообще виноватые. Виноватыми такими родились, значит.

В той Истории, что я ношу за пазухой, сказано, что первое стихотворение, созданное человечеством, называлось: «Жалобная песнь для успокоения сердца». Там человек, наверное, шумер, раз они стихи-то написали, тоскует в своем одиночестве, не зная, кому он нужен в этом мире... Господи, неужели и тогда, когда только все родилось, было так плохо? Обидно, конечно, что само стихотворение не напечатано, но я его и сам бы придумал. Ведь чем-то сердце должно умиротвориться, если дальше жить нельзя, а жизнь еще продолжается... И ты даже не попал под поезд, который тебе уже приписали.

Про шумеров в Истории вообще непонятно написано: «Генетические связи не установлены». Исчезли, словом. А откуда пришли и куда исчезли, неизвестно. Как мы, Кукушкины. Произошли от кого-то, а от кого — неизвестно... В предчувствии своего исчезновения они и сочинили свою жалобную песню.

Мы-то ничего не сочиним. Уйдем молча, немые, как Сандра, и никто нас не услышит. Не пропоем. Не прокричим свою жалобную песню... Кому она нужна? Людям вообще не нужна правда. Им нужно вранье. Они хотят так жить. И они хотят, чтобы мы тоже так жили. То есть чтобы ввали. А если мы не хотим их вранья, то мы и не нужны. Вот что мы после Москвы поняли.

Но вот о рождении — отдельно.

Я еще в поезде продумывал одну бредятину, которая меня мучила.

А Кукушат спросил:

— Вы видели мой документ о рождении?

— Видели, — сказали они.

— Так вот, через два дня будет шестое сентября.

— Ну и что?

— Так я родился шестого сентября.

— Ну и что?

— Это мой день рождения!

В общем, они меня не поняли. Я и сам не понял, что я хотел сказать. Но я знал: что-нибудь сделаю. До Москвы, до поездки, не сделал бы, а теперь мне все равно было. Потому что я другой вернулся. Как заново родился.

Когда мы в «спец» с поля возвращались, я от всех отстал и на станцию зашел.

Я запомнил тот подвал, где мы с Машей встречались. Спустился вниз по крутым каменным ступенькам и сразу увидел повара, она стояла ко мне спиной, что-то поедала из тарелки.

Я подозревал, что повара на кухне жрут всегда. Если бы я был поваром, я бы тоже жрал, напихивал бы в брюхо побольше, пока никто не видит.

Поварихе я сказал в спину:

— Здравствуйте! — Чтобы она не подумала, что я подглядываю, как она тут жрет.

Она вздрогнула и повернулась ко мне.

— Филиппка можно увидеть?

С открытым ртом, не успев прожевать, она промычала и показала пальцем в потолок. Наверное, это означало, что Филиппок сейчас наверху, в ресторане. В общем-то я и сам мог догадаться, что он наверху, но в ресторан, я знал, меня одного никто не пустит.

— Вы его не позовете?... Он мне нужен... Он меня знает!

Я ныл, а повариха жевала. А прожевав, чмокнула губами и произнесла хриплым басом:

— Так и побегу! — Потом подумала и добавила: —

Жди, если хошь, когда придет. — А сама ушла в свою поварню.

Я долго стоял столбом, пока не появился Филиппок, в руках у него была груда грязных тарелок на подносе. Он увидел меня, но не удивился и интереса ко мне не проявил, а занялся своим делом. То есть стал мыть тарелки. А я продолжал стоять.

Потом решил подать голос:

— Я к вам... По делу...

Филиппок ничего не ответил, даже головы не повернул.

— Я вот хотел показать... Чтобы посмотрели...

Филиппок наконец домыл свои тарелки, вытер о фартук руки и не спеша подошел ко мне. Посмотрел на книжку, опять вытер руки и стал после этого ее листать с вежливой-внимательной миной. Прочитал фамилию, открыл страницу, где стояла сумма, и ничего в нем не изменилось. Он спросил, так же как спрашивал тогда у Маши в ресторане: «Что будем кушать?»:

— Егоров — ты?

Я кивнул.

— Чего же ты хочешь?

Я произнес давно заготовленное слово:

— Поесть.

— Сейчас?

— Не-е, шестого сентября...

Он не поинтересовался, почему именно шестого, но уточнил:

— Один? Вдвоем?

— Больше, — сказал я.

— Сколько же?

— Много, — повторил я. — Пятьдесят... А может, сто...

Его никак эта цифра не поразила. Он кивнул так, будто сто гавриков из «спеца» к нему приходят поесть чуть ли не каждый день. Но может, он не знает, что это именно сто гавриков из «спеца»?

Я добавил:

— Сто, как я... У нас праздник... Понятно?

Он не ответил, а с книжкой в руках ушел в соседнюю комнату. Вернулся вместе с поварихой. Сейчас она глядела на меня вовсе не как на стенку, а даже с интересом.

— Твоя книжка-то? — спросила она. — Али стащил у кого?

Я в общем-то ждал такого вопроса и сразу на него ответил.

— Книжка эта моя,— ответил твердо.— Вот моя метрика. Там написано, что я Егоров.

Повариха взяла метрику и показала ее Филиппку. Я подумал, что она сама, наверное, читать не умеет. Еще я заметил, что они между собой перемигнулись.

Она отдала мне метрику, а книжку оставила себе, засовывая в какие-то свои необъятные недра за пазухой.

— У меня-то сохраннее,— произнесла уверенно, будто каждый день ей приносили десятками такие сберегательные книжки.

— Но там много... Там и мне и вам...

— Конечно,— сказала она приветливо.— Поделим, как надо. Приходите.

— Но нас много,— снова напомнил я.

— Ну, ясно, что много.

— Когда?

— Ну когда хошь... Можете и с утра. В это время у нас ресторан закрыт. Вино-то пить будете? — И она опять как-то по-особенному взглянула на Филиппку.

— Вино обязательно,— решил я.— И еще, чтобы пришли эти... Ну, которые «соль! соль!».

— Будет вам соль,— пообещала весело повариха.— И перец тоже будет!

Филиппок при этом вежливо кивал, будто хоть сейчас готов был бежать, чтобы исполнить все мои пожелания.

29.

В этот день среди «спецов» слышалось:

— У нас сегодня Серый родился! — и объясняли: — Ну, он из Кукушкина в Егорова родился!

В ответ пели:

— «И в кого я только уродился...» Тра-та-та, тра-та-та!

В ресторане, прямо на дверях, я посадил на хлебный мякиш свой документ, чтобы все, не только «спецы», а и проходящие какие мимо люди знали, в кого же «я только уродился!».

В самом верху плотной, зеленоватой с разводами бумаги прямо посерединке стоял огромный герб, а рядом: «НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ».

Это уже мы знали: милиция! Она нас, бедная, пасла вон с каких пор! С родов, значит! Вот они и свидетельствовали, что, мол, такой-то и такой-то произведен на свет, смотрим, следим, наблюдаем: чего из него выйдет... то есть куда, мол, он покатится! А мы тут как тут — свидетели... Поэтому небось вверху крупно обозначили: «СВИДЕТЕЛЬСТВО».

И дале, судя по всему, обо мне: «Гр. Егоров Сергей Антонович родился (лась) 6 сентября 1933 года, о чем в книге записей актов гражданского состояния о рождении в 1933 году 10 сентября месяца произведена соответствующая запись».

Как все равно поймали: «акт» составили и все, что надо! Чушка бы не смог пробурчать свое: мол, если в бумажке не записано, значит, не было! Было! Иван Орехович! Словили, пока и вкять по-настоящему не умел! Словили, ибо перво-родный грех в том и состоит, что родился и уже виноват. Перед всеми! И, конечно, перед милицией!

А чтобы, значит, не отпирался, туда еще двух свидетелей — и мать, и отца — написали. Да еще печатью заверили. И заведующий и делопроизводитель свои подписи обозначили. Не отопрешься, словом!

Когда я «Свидетельство» клеил и ждал, чтобы присохло, разглядел, там в самом правом уголке, наверху, еще одна надпись приделана: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Это они, иверное, к будущим беспорядочным так обращались, зная, что придется нам в одиночку мыкаться. Вот и предупреждали в бумажке, чтобы мы не лазили куда в одиночку, в одиночку, мол, завалитесь, на шухере некому стоять будет. А вот объединившись, и шухарить, и тырить куда безопаснее! Так мы и не читая догадались: что шайкой или стаей орудовать-то лучше! Но все равно, спасибо за подсказку: мы и сегодня объединились! Как нас родная милиция призывает!

Я говорил проходящим:

— Гуляй, шаитрапа! Мы сегодня объединились! «Спец» всех стран, объединяйтесь, чтобы нажратесь! От пуза! Вот наш сегодняшний лозунг, и пусть кто-нибудь скажет, что он неправильный. Несите нам хлебов в белых тарелках, как белым людям! Морс и вино тащите! И пиликайте на своих скрипках-баянах! Да топайте ножкой... Соль! Соль!

И я кричал громко:

— Соль! Соль!

И все подхватили, завопили вслед за мной: «Соль! Соль!»

Ставьте ушки на микрушки,
Слушайте внимательно,
Пропоем мы вам частушки
Очень замечательно!

Повариха толстая и тощий Филиппок приготовили все как надо: они выстроили в ряд столы и всякие там ложки-вилки притащили. Только скатертей белых не было. И я нахально им заявил, что мы, мол, не такие уж говнюки, отбросы или кусочки какие, чтобы без скатертей жрать! Мы, мол, без скатертей не приучены! А они лишь руками развели: понимаем, но скатерти в стирке, и постелить нечего. А я тогда сказал, что на нечего и сказать нечего и мы уж как-нибудь перебьемся, хотя мы, повторяю, не привыкли! Мы не Чушкины свиньи, которые могут из любого корыта жрать! Но это, конечно, для форсу, потому что и повар, и сами «спецы» знали, что у нас никогда никаких сроду скатертей в «спец» не было и если мы именно как чушки у Чушки, то есть на грязных досках! Но в этом и был юмор, и все, кто слышал, про себя хихикали!

— Во, Серый дает! Качает, сучка, права! Родился, говорит, так подай, что положено! Белое ему подай, он уже серого не хочет!

А я продолжал:

— У нас привычка такая, мы к ресторанам привыкли! От того самого времени, как на нас «акт» составили, что мы попались!

И тыкал в «акт гражданского состояния», который дала милиция! Ни хрена себе, гражданское! Граждане начальники!

А «спецы», которые вваливались в двери ресторана, кучками, но как бы с оглядкой, чтобы не загребли раньше времени и по шлям не надавали, все читали мой «акт» о рождении и посмеивались. Но скорей от смущения посмеивались, потому что не знали, что им у дверей делать и куда идти. А я стоял и показывал им на картину, которая на стене, и кричал:

— Видите! Мишки-то гуляют! А мы чего... Если мы родились, то мы тоже гуляем!

«Спецам» ужасно понравилось, что мы все родились. И они тогда стали повторять и громко вопить:

— Серый! Я сегодня родился тоже!

— И я! И я!

«Свидетельство» отколупали от дверей и стали показывать за столом друг другу, чтобы правда посмотреть, когда я родился, и все, кто пришел, как бы родились тоже. А некоторые для верности, чтобы не забыть стали переписывать и вместо моего имени свое ставили. Они себе сами «Свидетельства» выдали.

Правда, выходило, что их родили мой отец и моя мать (там стояло Антон Петрович и Антониде Григорьевна), но это никого не волновало.

Ведь кто-то их все-таки родил!

В это время понесли жратву: три ведра винегрета, бачок с вареной картошкой и тазик с квашеной капустой. Еще принесли кусками хлеба и сала!

Прямо как при коммунизме!

Я смотрел и удивлялся, что в наших забытых богом Голяках такое жратье есть! И не успели до нас схватить! Мы-то уж никому ничего не оставим!

На самой любимой в мире картине, хоть я других и не видел, мишки пировали в лесу, может, у них тоже по «акту» день рождения был! Шамовку в лесу давали! А я смотрел на мишек и на «спецов» смотрел, как они сидели за столом, не зная, что поначалу делают в ресторане на таком празднике: шарапят сразу, а может, ждут, пока им сигнал выйдет! И я им тогда крикнул:

— Братва, жри! Мы родились!

И все тогда набросились и стали хватать, что на столе лежит. А тут скрипач Марк Моисеич заиграл чего-то такое, что жрать стало еще веселей. Он играл, и Романи на баяне играл. А потом скрипач пошел прямо ко мне, я в самом конце стола сидел. Он встал у меня за спиной и заиграл что-то другое, уже не веселое, а грустное. Будто это даже не музыка, а какой-то странный плач по чей-то жизни, может, даже по моей. Или по остальным тоже. И это было так непривычно, что все хотело и жрало и не торопилось оставить свое занятие, но потом удивились и замолчали, уставясь на скрипача. Еще бы, не каждый день такое увидишь! И услышишь!

Господи, что же со мной такое происходило! Может, все думали, что я буду плакать вслед за музыкой, но мне вовсе не хотелось плакать. Я даже о жизни своей не вспоминал!

Я на музыканта не смотрел, а слушал, уставясь в стол. Я знал, что надо что-то о себе вспомнить, но я, честно, ничего не вспомнил.

Я забыл, правда, что я в ресторане, что сижу среди «спецов», мне привиделось, будто я нахожусь у себя дома. А дом мой очень похож на дом Кукушкиной, и столик такой же, на кривых ножках, и диван с зеркальцем, и буфет резной. Все похоже, в общем. А рядом со мной и, конечно, с Кукушкиными сидят отец и мать и всякая там родня в лице дяди Андрея, который все от смущения потест и вытирает пот рукавом, и красивой в своем замечательном халате тетки Дильбары. А стол накрыт скатертью, белой-белой, а на скатерти стоит подносик с чашками узорными и с чайником. А еще стоят блины. Сладкие такие блины высокой горкой, по несколько штук на каждого. Пусть берут, раз пришли, я нежадный!

Но они не едят, а смотрят все на меня, а в их глазах любовь. Никогда это слово не приходило мне на ум. Я даже не знаю, откуда оно во мне взялось. Я ведь про любовь не думал и ничего про нее не знаю. Ну, то есть я, конечно, знаю, что любовь — это когда на экране в конце фильма целуются и пора убраться из зала. Ну и, конечно, в зале взрослые в темноте тоже целуются, и все, когда зажгут свет, делают вид, что они не целовались.

Но вдруг я понял, что любовь, — это когда все родные приходят к тебе домой, чтобы поздравить тебя с рождением!

Не как «пролетарии», которые «всех стран, соединяются». А когда соединяются в твоём родном доме просто люди.

Впрочем, я это все придумал, пока играла скрипка. А на самом деле, конечно, ничего такого никогда не бывает. Дурость, словом. Я опомнился, когда Марк Моисеич отложил смычок и погладил меня по голове. Вот он, наверное, и правда любил меня в этот день! Я поглядел на Кукушат: поняли ли они что-нибудь про любовь или не поняли ничего? И что же они поняли вообще, когда играла скрипка?

Мне из всех сил захотелось, чтобы они тоже, тоже почувствовали про любовь. Я повернулся к Марку Моисеичу, который инструмент настраивал, дрынкая струной:

— А можно? Для них?

Он наклонил ко мне свою птичью голову, прямо дытел в очках, и переспросил:

— Не расслышал, простите... Чего изволите?

Я повторил громче:

И добавил для всестости: — Они ведь тоже родились! И все слышавшие наш разговор, завопили:

— Мы тоже! Мы тоже хотим! Мы родились! Правда! Марк Моисеич, наверное, понял, что я очень его прошу.

Он оглянулся на кричащих, потом пристально посмотрел на меня, о чем-то раздумывая. И вдруг энергично согласился:

— Ну, конечно! Я для них сыграю!

И тут же чиркнул смычком за спиной у Сандры, которая сидела рядом со мной, и снова музыка заплакала. Хотя мне сразу показалось, что она плакала не так, как моя музыка. А по-другому. Но, может, так и должно быть. Что у всех свой плач по любви, который мы не знаем.

И все опять перестали лаять закуску и во все глаза см грели на Сандру и на скрипача, игравшего теперь у нее за спиной. Я не отрываясь смотрел на Сандру, пытаюсь догадаться, кого же она пригласила на свой день рождения.

И вдруг понял: никого!

Сидела одна за белой скатертью и ненавидела всех, кого бы могла пригласить.

А потом Марк Моисеич встал за спиной у Моти и у Корешка. Он им на двоих одно играл, а я сразу понял, что Мотя пригласил всех, всех, кого считал добрыми. И Корешок их всех принимал, потому что все Мотино было и его.

А когда Марк Моисеич оказался перед Хвостиком, тот подскочил и встал прямо перед музыкантом, сияя так, что рот растянулся до ушей. Так они стояли друг против друга, а Марк Моисеич вдруг мудро улыбнулся и заиграл колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни...»

А за моим столом, кроме отца, матери, родни и Кукушкиных, оказались все Кукушата. А за ними, в дальнем углу, будто зашел ненароком, присев на красешек стула, товарищ Сталин... Наш родной отец. Он положил на столик перед

собой кiset и тихо, скромно посиживал, набивая трубку и кося в мою сторону исподлобья рыжим добрым глазом. А когда все опомнились и захотели ему аплодировать, он отложил трубку и коротким жестом остановил аплодисменты... «Нэ надо... Друзья! Сэгодня нэ мой праздник, сэгодня его праздник... Так давайтэ его поздравим, скажем дорогому Сэргэю Егорову, что мы все, все, кто здэсь иришел, любим его, как сына!»

Да, пока играла скрипочка для Хвостика, но она и для меня, и для каждого играла, я осознал навсегда, до конца, что мы все любим Сталина, а он любит всех нас и, конечно же, меня. Все могут разлюбить и покинуть, кроме, конечно, Кукушат, но товарищ Сталин никогда! Он всегда и для всех! А то, что мы не попали в Кремль, вовсе ничего не значит. Зато его можно пригласить к нам, сюда, на днь рождения, как я сейчас пригласил его за мой тайный, никому не зримый, но оттого вовсе не менее реальный стол.

30.

Марк Моисеич ушел в свой угол отдыхать, ему и баянисту тоже подали винегрета с салом. И тогда «спецы» торопливо стали есть, некоторые достали свои самодельные ложки, вилок они не знали, а некоторые ели руками.

Но кто-то захотел петь, чтобы выразить громко свое чувство, а песен в нас напихано столько, не счесть, на сто дней рождения хватит!

И, будоража зал знакомой мелодией, завели «Серезу». Там в общем-то один запевает, как бы рассказывая о разных похождениях, а остальные хором повторяют: «Сереза! Ну и что же!».

Захожу я в ресторан,
Се-ре-жа!
Пару пива заказал,
Ну и что же!
Пару пива я испил,
Се-ре-жа!
И на дело покатил...
Ну и что же!

Все, конечно, поняли намек на этот ресторан и на мою поездку в Москву... Куда я «на дело покатил...».

Потом стали просить, чтобы спел Сверчок. Он у нас среди «спецовских» самый певун, потому что знает все песни, какие только существуют, и даже не существуют. Некоторые почему-то думают, что он сам сочиняет свои песенки. У Сверчка, как у девочки, тонкий, жалобный голос, и если бы с ним пройти по поезду, как мы проходили с Хвостиком и Сандрой, то ему бы набросали еще больше, чем нам! Он любого прошибает своим пением и своим пронзительным голосом. Сверчок часто поет не только наяву, но и во сне. Тогда мы просыпаемся и лежим, не спим, слушаем его песни. Но вот какое диво: Сверчок наяву своих песен из сна не помнит. Во сне он поет одни, а наяву — другие. И те, что из сна, нам нравятся больше. Может, они из той жизни, которой сам Сверчок не помнит?

— Сверчок! — кричали ему со всех сторон. — Проголоси!

Сверчок никогда не отказывается. Он привстал, чтобы видеть всех нас, и завел песню про железную дорогу, тут на вокзале она прозвучала как своя.

Идет состав за составом,
За годом катится год,
На сорок втором разъезде лесном
Старик седой живет.
Давно живет он в сторожке,
Давно он сделался сед,
Детей он взрастил, внучат обучил
За эти сорок лет...

Ну, в общем, песня про старика, который живет в глухом углу, как мы тут в Голяках, а потом какие-то враги хотят разрушить путь. Враги, как известно, вокруг нас, и на железной дороге их тоже много. Их-то старик и повстречал. Хорошо, что при нем молоток был...

Хватает он молоток свой,
Волной вздымается грудь,
Пусть жизнь он отдаст, но только не даст
Врагу разрушить путь...

Ну, а дальше они того старика хотели убить, но вовсе не убили, он вышел из больницы, уже со шрамом, и сел по этой дороге в Москву.

К наркомому пути поехал наш герой...
Его на дальних разъездах
Встречают, словно отца...

Ну и, конечно, припев, такой будоражащий, всем стало жаль старика.

Дальняя дорожка, поезд, лети, лети,
Спи, моя сторожка, на краю пути...

Тут меня окликнул Мотя и стал что-то говорить, но я его не мог расслышать.

Он пересел поближе и спросил прямо в ухо:

— Серый! Так она вправду так и говорила, чтобы мы никого не искали?

— Кто она? — спросил я.

— Кукушкина... Она так и сказала: не ищите, да? Не надо искать?

Мотя все, конечно, уже слышал про то, что сказала Кукушкина. Но что-то его тревожило, не давало спокойно жить и радостно праздновать наш день рождения.

А может, его эта песня про врагов народа взволновала? Я снова повторил то, что помнил. И про почки тоже говорил, про то, что мы почки от мощного дерева... Нет, не мощного, а могучего, она так, кажется, сказала.

— А дерево кто? Это отцы? Да? Значит, она хотела сказать, что у нас могучие отцы? — настаивал он. — Они такие, как этот сторож... Или как твой Егоров?

Ох ты, жизнь моя косопалая,
Вся душа болит, кровью капает...

Мотя теперь кричал мне в самое ухо:

— Ты помнишь, как мы в школе ходили на уроке военного дела стрелять, а они там, на стрельбище, поставили вместо мишеней всекие портреты... Помнишь? Ну, когда мы палили во врагов народа... которые немецкие шпионы и предатели...

Я помнил, хотя это было давно, я уж не знаю, в каком классе. Нас повели на уроке военного дела на пустырь за школу, где поставили вместо мишеней портреты разных там предателей, я всех не запомнил... Но запомнил маршала Блюхера и маршала Тухачевского, потому что их портреты висели раньше в школе и мы их проходили на уроке. А в тот день мы с азартной радостью палили в них, из мелкокалиберки, как палили бы в Гитлера или в Геббельса, а кто-то из наших, кажется, Бесик, в приступе ненависти кинул даже камень и разворотил Блюхеру его мордорот. Все заржали, а военрук, старше нас всего на пять или шесть лет, но уже побывавший на фронте и контуженный, поощрительно произнес:

— Так их, гадов! Бей, чтобы не жили! Даю по лишнему патрону! Для этих сук и патронов не жалко... — И он скомандовал: — По врагам-предателям, фашистским наемникам пли!

И мы выстрелили, а потом с криком «ура!» пошли на врагов в атаку и стали бить кулаками и палками, но тут военрук с улыбкой нас остановил и сказал, что не мы одни такие горячие, и из других классов тоже захотят убить врага.

— Ты в кого стрелял? — спросил почему-то Мотя.

— Не помню.

— А я помню... Но я мимо него стрелял.

— Мимо... кого?

— Ну какая тебе разница? Я целился выше головы. Мне его жалко стало.

— Фашиста? Жалко?

Мотя пожал плечами и отвернулся.

— Вообще жалко. Они как живые.

— Да их же давно расстреляли! Сам военрук говорил!

— А мы тогда что делали?

— Мы же расстреливали портреты!

— А какая разница? — сказал Мотя. — Вот ты бы в лицо смог бы кому-нибудь пальнуть?

— Не знаю, — сознался я.

— А в Чушку? А в Наполеончика?

— Не знаю... Правда.

— А я знаю. Я не смогу. — И вдруг Мотя добавил, странно скосив глаза: — А вдруг на портрете — отец?

— Чей отец?

— Твой!

— Мой отец Егоров! — крикнул я Моте. — Как я мог стрелять в него?

Мотя вздохнул лишь, покачав головой. Ничего, мол, ты не понял. Но я понял, я все понял. Он хотел сказать, что если мы почки от могучего дерева, то это дерево может быть даже маршалом Блюхером или еще кем. Но тогда бы выходило, что предатель и есть могучее дерево, а он не может никак быть, ибо предатель только предатель, и никто боль-

ше. И я в него стрелял, не мимо, а в лицо, радуясь, что еще раз убиваю предателя. А Егоров вовсе и не предатель, Маша сама говорила.

Тут я понял, что запутался, потому что его арестовали тоже, как предателя, а то, что говорила Маша, — это ничего не значит. Или значит?

Мотя, наверное, уловил мои сомнения и опять прошептал, я едва его расслышал:

— Скажи, Серый, а что лучше: иметь знаменитого отца, который предатель... Или... Или лучше вообще... никого не иметь?

Я не стал отвечать на такой вопрос, хотя знал, что могу ответить. Но я сказал иначе, чем думал. Я отшутился:

— Лучше всего иметь знаменитого отца, который не предатель!

31.

Интересно, когда скрипач Марк Моисеич играл для Моти, кого тот собрал за своим столом?

Оглянувшись, я обнаружил прямо за спиной у себя Филиппка. Я совсем забыл о его такой особенности — возникать неслышно, особенно если ведется разговор.

Филиппок поймал мой взгляд и натянуто в уськи улыбнулся.

— А где вино? Которое обещали? — Я вдруг разозлился. Хотел еще что-то добавить, покрепче, как Филиппок встретился с ним и мигом пропал с глаз. Но вскоре появился с графинами, а повариха раздавала стаканы и кружки и только мне бокал. Наклонясь к уху, стала объяснять, что с вином они, конечно, опоздали, но лишь потому, что побоялись, как бы не напилась без закуски раньше времени и не окосели.

— Ну и что? — сказал я. — Пусть косеют.

Это наше вино и наше косение.

Так бы ей выдать, да она меня все равно не слышала, торопилась обойти столы. А Марк Моисеич в углу крикнул бойко свое знаменитое: «Соль! Соль!» — и все ребята захохотали. Все поняли, что он это нарочно, чтобы привлечь внимание.

А когда стихло, он рванул, ударив ножкой, такую плясую, что вся наша застольная братия завизжала от счастья! Как поросята Чушки, когда им приносят любимое варенье! «Спецы», конечно, узнали мелодию знаменитой «Мурки»! Сидя за столами, все стали притоптывать в двести ног, а потом не выдержали, сорвались с места, пошли куролесить, истязать зал. Кто-то, встав на четвереньки, изображал медвежонка, выбрав вместо ствола стол. Двое, обступив баяниста Романа, стали помогать ему растягивать мехи баяна. Один, самый голопузый, прямо посреди зала изображал танец живота. Разбившись на кучки, ребята резались в «очко», в «буру», а самые голодные никак не могли отстать от бачка с виноградом, который оставался, они напихивали его в карманы и за пазуху, а попутно еще и в рот, хотя в рот, было видно, уже не лезло.

Филиппок молча наблюдал за нами издали, не вмешиваясь в веселье. Повариха торопилась собрать тарелки, те из них, что были еще целы. Но в какой-то момент придумали мочиться в кадку с фикусом. Это было встречено общим одобрением, и все захотели помочиться в фикус, чтобы удобрить дерево, которое без «спецов» тут бы и зачахло, но Филиппок деликатно отвел любителей природы в туалет.

Я тоже захотел вдруг пойти в туалет. Я спустился в подвальное помещение, где стояли белые, будто тарелки, толчки, еще не обосранные нашей шантрапой, они сюда не добрались.

Я присел на один из них, желая представить, как делают в такие стекляшки, из которых и воду попить не зазорно, но мысль свою я не додумал, потому что погрузился в сладостный сон.

Проснулся же оттого, что меня будил Хвостик, он тормозил меня, зачерпывая воду из толчка и плеская мне в лицо.

— Серый! — кричал он, я уже знал, что он меня не бросит... Там уже все разбежалось, а тебя ищут!

Я не понял, кто же меня ищет. Вслед за Хвостиком я поднялся по лестнице на несколько ступенек вверх, но споткнулся и упал назад и засмеялся, потому что не было больно.

Я смеялся себе, что хочу идти вверх, а иду вниз и такова наша «спецовская» жизнь, что вверх идти ни у кого не получается. Только вниз! В это время Хвостик вернулся с Сандрой и Ангелом. Они помогли мне подняться и вывели через какую-то дверь прямо на улицу. Было темно, сверкали

звезды. Я уже понимал, что меня волокут в «спец», и стал упирается.

— Ну стойте же! — попросил. — Они же поют... Вы слышите?

Сандра и остальные прислушались, но ничего не услышали.

— Ну вот же! — закричал я. — Там вдали, за рекой раздается по-рой... Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Голос лился с небес, словно скрипочка играла для меня и ангелы пели своими ангельскими голосами.

А потом я спал, я это точно помню. Это было уже в «спеце». И вдруг я увидел зеленый яркий луг в цветах, ромашках и колокольчиках, а прямо по нему, по мягкой тропке мы идем отрядом, взявшись за руки. Сверкает солнце, отблескивая зайчиком в реке, и все кругом сияет и переливается. А мы взмахиваем руками, вверх и вниз, в такт нашему шагу и нашему настроению, и поем, поем... Ах, нет, это нельзя рассказать или спеть, такие голоса не выдумаешь, они только бывают в раннем детстве, в солнечный день, на цветастом, сверкающем на солнце лугу.

И только в детстве. Только в детстве!

Там вдали, за рекой
Раздается порой
Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...
Это птичка поет
Под ракитовым кустом
Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...

Наш луг огромен, как мир, и он так же прекрасен. В нем мы всех любим и все любят нас. И нет этой радости и любви конца. Как нет конца этому золотому дню.

Господи! Господи! Гос-по-ди!

Спасибо!

А куда же мы такие счастливые идем? Разве ты не помнишь? Ну, так я тебе скажу, и ты вспомнишь: это же родительский день! Ну? Ро-ди-тель-ский день! Ну? Ну?

Ага, дошло! Сейчас мы с прогулки вернемся домой, вместе с пионервожатой Любой, у которой золотой веночек на голове, а нам скажут: «Приехали! Приехали!» И мы, как футболисты, ринемся к воротам, туда, где уже стоят на травке люди с сумками, и они нам издали радостно, изо всех сил машут! Скорей!

Я вглядываюсь в них, даже глаза слезятся, но я никак не могу разобрать их лиц... Какие они? Мои родители? Мать? Отец? Вот-вот увижу! Скорей! Скорей!

Господи, ну помоги же! Помоги!

И просыпаюсь в слезах.

32.

По дороге в школу Мотя меня спросил:

— Ты Корешка не видел?

— Вчера, — сказал я. — А сегодня я и тебя не разберу...

Почему-то в глазах плывет.

Я хотел еще спросить: «Как же ты его потерял?», — но не решился. Мотя и так был расстроен.

На уроке Ужа, когда тот затеял читать своего Сабонеева под названием «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб», Мотя поднял руку:

— А вопрос можно... Иван Иванович?

Уж оторвался от книги.

— О чем вопрос, Кукушкин? — Он нас не помнит, но на всякий случай, чтобы не ошибиться, называет Кукушкины-ми. И в общем не ошибается.

— О военном деле.

Это так у нас урок называется: «Военное дело».

— Если по существу...

— По существу, Иван Иванович. Вот в позапрошлом году мы ходили на стрельбище... учились стрелять!

— Ну? — нетерпеливо сказал Уж.

— А там вместо мишеней портреты врагов народа.

— Чьи? Чьи портреты? — переспросил Уж, напрягаясь.

Если бы он не стал спрашивать: «Чьи портреты», — может, Мотя и проглотил бы их имена и все прошло бы спокойно. Но Уж, как у нас говорят, сам подставился. И Мотя тут же назвал предателей: Тухачевского, Блюхера, Ежова... Кого-то еще.

— А я стрелял в Ежова! — крикнул громко Бесик.

— А я в Блюхера!

— А я в Берия!

— Врешь! Берия пока не изменник!

— А кто же изменник? Лысый, в очках!

— Может, Тимошенко?

— А Тимошенко разве изменник?

— Ну, их там, правда, много было... В нашем классе каждому дали по изменнику.

— Их не было! — спохватившись, быстро сказал директор.

— Предателей не было?

— Не было!

— Но мы же стреляли, Иван Иванович... Значит, были...

— Были... — в панике произнес он. — Но нам ничего не известно!

— Вот я и хотел узнать, — настаивал Мотя, — что же известно? Где они сейчас?

— Нигде, — ответил Уж и мельком посмотрел на дверь.

— А их семьи где? У них же остались семьи?

— Не было семей... Ничего у них не было!

— И детей не было?

— И детей не было! Никого не было! — Ужа прямо-таки корчило от Мотиных вопросов. Он отвечал, а сам не сводил глаз с дверей, будто оттуда ждал помощи, а она не приходила. А я вдруг подумал, что Мотя раньше таких вопросов не задавал. Он до нашего возвращения из Москвы был другой. Еще до вчерашнего дня рождения. Это его какая-то мухалце укусила.

— Значит, детей у них не было? — Мотя бил в одну точку, как из винтовки на стрельбище. — Они все бездетные были? Или больные?

— Не помню! Не знаю! Ничего, ничего не было! — взволнованно бормотал Уж, сжимаясь как от удара. — Это все ужасно! Ужасно! Не надо об этом!

На лице Ужа и точно застыл непробиваемый ужас. Даже стало его жалко. Мотя это понял и сел.

— Они как сговорились, — произнес он, повернувшись ко мне, но тихо, шепотом. — Кукушкина твоя говорит: «Не ищите, их нет...» И Чушка долдонит, что никого не было. И этот, сам же слышал: «Их, — говорит, — вообще не было!» А если их не было и никого до нас не было, то нас не было и подавно! — И с каким-то несвойственным ему остервенением Мотя добавил: — Тебя тоже, Егоров, не было! Хотя ты и рождение празднуешь! — Мотя сказал и опомнился, оглядывая класс. — Но где же наш Корешок? Может, и его тоже никогда не было?

— Вчера... был, — буркнул позади нас Шахтер, слышавший, наверное, все, что шептал Мотя. — А ночью его не было.

— Может, там остался?

— Но он же не пил?

— Не знаю... все канючил... на горло жаловался... Мне показалось, что он раньше нас попал домой.

— Или в лазарет?

— Или в карцер?

— Или в милицию?

После урока мы с Мотей заглянули на станцию, рискуя опоздать на обед.

Со стороны ресторана мы не пошли. Не решились пойти. Это вчера мы были тут как хозяева и ходили, где хотели! Хотя на голове. А сегодня мы для них опять шантрапа, могут запросто погнать вшаей! Как часто гнали!

Мы зашли со стороны подвала, спустились по знакомой мне лестнице и увидели повара. Как и в прошлый раз, она стояла к нам спиной и что-то жевала.

Мне вдруг тоже захотелось есть. Надо бы вчера, как некоторые запасливые «спецы», винегрета в карман напихать, тогда бы сегодня не пришлось самому себе завидовать. А то показали нам жратву ведрами, а мы, придурки, сразу и разомлели, ах, как много! Ах, коммунизм! Теперь-то мы на всю жизнь нажремся!

А на всю жизнь не нажрешься, с детства известно.

Это все промелькнуло в уме, пока я смотрел на жующую повара. На этот раз она сама услышала шаги, повернулась.

Сразу сказала:

— Именинник явился! А мы-то вчера искали, искали... А за тобой, между прочим, должок... Мой дружок!

И при этом почему-то сурово посмотрела на Мотю, считая, наверное, что он пришел меня защищать. Я тоже растерянно оглянулся на Мотю, такой поворот дела застал меня врасплох. Почему-то я считал, что, отдав свою книжку, я с ними рассчитался.

— Но я же вам отдал...
Она меня оборвала.
— Что ты отдал?
— Я вам книжку отдал!
— Ах, книжку! Вон твоя книжка! Можешь забрать себе на память! — И она указала на стол, где и правда среди грязной посуды никому не нужная валялась моя сберегательная книжка. Ее даже не обернули в бумагу!
Мотя посмотрел на меня и быстро забрал книжку. И спрятал.

— Но там деньги, — опять сказал я. Но, кажется, я уже и сам понимал, в чем дело. — Мне отец их оставил.

Повариха злобно крикнула:

— Вот вам деньги! — показав фигу. — Это мы-то, дураки. решили, что там деньги! Кормили и поили всю кодлу!

Мотя спросил:

— А разве этих денег нет?

— Есть! Не про нашу честь. Вы зачем зашли-то? — сурово произнесла повариха и помахала рукой. И тут как из-под земли рядом с ней возник Филиппок в белом халате.

Он не поздоровался, даже не кивнул, а не мигая смотрел на нас, как смотрят на стену.

— Мы, в общем, зашли... Мы ищем Корешка... — пробормотал Мотя, теряясь от странного, неподвижного взгляда Филиппка. Вы его не видели?

— Кого? — заинтересовалась повариха. — Какие еще корешки?

— Его Сенька зовут... — напомнил я. — Золотушный такой... Может, случайно остался... заснул или...

Повариха сразу сказала:

— Золотушный у нас... Случайно! — И взглянула многозначительно на Филиппка.

— Ну вот, а мы обыскались, — оживился Мотя. — Мы за ним пришли.

— Приходите за ним с деньгами, — ответила повариха.

— За ним... Что? — Нам показалось, что мы оба — Мотя и я — ослышались.

Но повариха вела разговор круто, хотя голоса не повышала:

— Так разве я непонятно говорю?... Как должок принесете, так своего дружка... золотушного... получите!

Я увидел, что Мотя бледнеет, но и сам я выглядел, наверное, не лучше. С нами разговаривали, как с какими-нибудь проходимцами.

— Сколько мы должны? — спросил я чужим голосом.

— Да все, что у тебя там в книжке.

— Сто? Тыщ? — воскликнул Мотя потрясенно.

Повариха опять посмотрела на Филиппка.

— Думаешь, это много? А вас сколько было? Да жрете вы каждый за троих... А еще с собой ташите! Потом музыка... Вы просили музыку?

Я кивнул, потупясь. Мне казалось, что меня ударяют чем-то тупым по голове... Ужасно больно, а она все бьет и бьет:

— ...А посуды сколько раскололи! А приборов, ложек-вилочек сколько унесли! Цветы в кадке поломали... Ты вот что посчитай, тогда поймешь, что мы еще в убытке окажемся!

— Но вы тогда не говорили...

Повариха сильно удивилась, толкнула локтем Филиппка:

— Как это не говорили? А о чем же мы говорили-то? Вот тут, на этом самом месте и сказали... На всю сумму, так сказали... А ты, голубчик мой, согласился! Он же согласился, Филипп Христианович?

Филиппок даже не кивнул, а продолжал нас сверлить своим застывшим взглядом.

Но когда повариха вторично его толкнула в бок, он вдруг опомнился и без выражения сказал:

— Гони деньги... Мерзавец! Ну?

Я даже не смог ему сразу ответить грубостью, настолько был ошеломлен. Да и не обо мне, а о Корешке речь-то. Мотя об этом не забывал. Он вообще, если мог, старался коичить дело добром. Он всегда верил в добро.

— Так что... Он у вас под запором?

— Да, — ответила повариха уверенно. — Он у нас под запором.

— И долго?

— Хоть всю жизнь.

— Но вы его... кормите?

Повариха мудро усмехнулась. И Филиппок усмехнулся. Наверное, тут, на кухне, где все они непрерывно едят, наш вопрос показался им диковинным.

— С чего это мы бесплатно станем его кормить! Нам хватит, что вас задарма накормили!

— Но он же не виноват!

— А кто виноват? Ты? Вот и помогай своему товарищу... раз виноватый!

— Хватит болтать! — рявкнул Филиппок на повариху и вдруг двинулся на нас с угрожающим видом. — Иди-те, наглецы! Иди-те! Двигайте отсюда! — произнес он с деловитой жесткостью. — И не приходите без денег! А то я и вас посажу!

Мы растерянно отступали под его напором к лестнице. Потом бросились вверх, на улицу. Нам вдруг показалось, что сейчас нас тоже запрут в этом подвале, как заперли Корешка!

33.

Мы собрались за домом в кустах, там, где когда-то делили ворованную картошку и увидели впервые мою тетку.

Пришли все Кукушата, кроме Хвостика, его разыскать не удалось. Но мы знали: сам найдется!

Мотя, оглядев нас, сказал:

— Корешок у них там заперт... Надо спасать.

— Как?

— Не знаю. — Мотя пожал плечами. — Они в общем-то неплохие люди.

— Хорошие! — закричал сразу Бесик.

Мотя повторил:

— А может, и хорошие... Им, в общем, деньги нужны...

— Но они нас кормили, — напомнил Ангел.

Сандра промычала, она считала, что Ангел прав.

— За сто тыщ можно и не так накормить!

— Серый! — спросил Шахтер. — Ты обещал им сто тыщ?

— Нет.

— А свидетели были?

— Какие свидетели?

— Ну, что ты не обещал!

— Еще не хватало! — заржал Бесик. — Какие же свидетели в таком деле?

— Тогда нвдо грбши отдавать.

— Сто тыщ?

— Этим жуликам? Сто тыщ???

— Да. Жуликам. Сто тыщ. Сами виноваты.

— Да мы виноваты в том, что проворонили Корешка!

— Вот и платите! Корешок стоит сто тыщ или не стоит?

— Он-то стоит... А эти падлы... Не стоят! — крикнул Бесик. Я увидел, как у него начинают от гнева белеть глаза. — Ты вспомни. — Он обратился к Моте. — Ты сам говорил, как мы стреляли по портретам! Вот в кого надо палить! В этих фашистов! А сами! Нажрались, напились — обо всех забыли!

— Я Серого на толчке нашел! — выкрикнул Ангел, но никто не засмеялся. Все стояли мрачные, не зная, что предпринять.

— Может, это... Выкрасть? — вздохнув, произнес Мотя.

— Там, знаешь, сколько ментов? И все у них кормятся!

— Менты не помогут? — спросил Ангел.

— Менты? Помогут?

— Менты хорошие! — выкрикнул Бесик, оскалась.

— Тогда нужны деньги. — решил деловито Шахтер, как бы подведя черту. Он смолил цигарку, а тут бросил и посмотрел на меня. — Где твоя книжка?

— Здесь. — Я показал на грудь.

— Как с нее берут деньги? Ты узнал?

— Узнал. Их могут дать Чушке.

— А Тусе? — предложил Сверчок.

Сандра промычала, выбирая Тусю. Чушке она, как и все мы, не доверяла.

— А если найти тетку?

— Где?

— Откуда я знаю где? — сказал я.

— Пока ее сыщешь, Корешок пропадет!

Тут объявился Хвостик. Он бежал к нам через кусты и что-то кричал.

— Решетка! Там решетка!

— Что, Хвостатый? — спросил Мотя.

— В окне с решеткой... я видел Корешка! — объявил Хвостик и сразу ко мне: — Серый, я правда его нашел! Он в подвале!

— С ним можно разговаривать?

— Он молчит!

— Почему молчит?

Вопрос повис в воздухе. Да и не надо было вопросов, потому что мы все тотчас сорвались вслед за Хвостиком и бросились на станцию. Надо было увидеть окошко и самого Корешка. А дальше уж мы решим, что будем делать.

Мы летели к станции, вовсе не оберегаясь легавых, и странно, никто к нам на этот раз не прицепился.

Хвостик провел нас в дальний конец вокзала, завернул за угол, где валялись всякие ящики и бочки да клубки колючей проволоки, предназначенные для отправки, нагнулся и указал решетку у самой земли.

— Здесь! Здесь!

Кукушата стали ложиться, прижимаясь к земле щкой, и заглядывали внутрь, стараясь в сумраке помещения что-то рассмотреть. И я прилег, но ничего не увидел.

— Где же он, Хвостатый?

Хвостик бросился на землю, головой к голове, и указал пальцем:

— Вот же он... В углу...

— Это разве он?

— Он, он! Сидит и молчит.

Теперь-то мы все его разглядели.

Мотя крикнул:

— Эй, Корешок? Ты чего молчишь? Тебе плохо? Да?

Тот наконец шевельнулся, услышал. И сразу заплакал.

— Не плачь, Корешок! — крикнул Ангел. — Мы тебя завтра выкупим!

— Мы ломаем решетку! — выпалил Бесик. И даже потряс ее. Но решетка была сделана очень крепко.

А Корешок все продолжал плакать, и мы, лежа у решетки, слушали.

Я крикнул в подвал:

— Корешок! Ты меня узнаешь?

Он не ответил.

— Мы тебе сейчас пожрать принесем, — сказал я. — А если хочешь, я тебе пока дам свою Историю! Будешь ее читать!

Никому никогда я не доверял Историю, даже трогать руками не давал, а вот Корешку предложил. Но Мотя сказал:

— Не будет он читать, не видишь, что ли, ему не до чтения. Ты лучше к Тусе ступай! Все, все к ней идите, а то се не прошибешь!

— А сам? — спросил Бесик.

— А я с Корешком буду! — ответил Мотя. — Я его не могу оставить.

— Я тоже! — выкрикнул Хвостик.

— Надо взять деньги, — хмуро сказал Шахтер. Он прилег на землю и долго смотрел в темноту камеры, заслоняя глаза от света. Поднялся и крепко выругался. Давно мы не слышали, чтобы Шахтер по-шахтерски ругался. Видно, и его прошибло.

34.

В тот момент мы считали, что все дело в Тусе. Как только ей объясним про деньги, так она их срочно нам достанет, и мы придем и швырнем в морду этим фашистам. Мы скажем: «Нате, обожритесь!» И они проглотят наше презрение, увидав деньги, а Филиппок, невинно улыбаясь в усы, исчезнет и вернется с Корешком.

— Держите, — скажут, — своего золотушного!

А мы его окружим кольцом и быстро, бегом, не оглянувшись, покинем этот подвал, чтобы больше никогда о нем не вспоминать!

Воспитательница Наталья Власовна сидела в канцелярии и писала отчет о работе колонистов в колхозе. Мы ввалились все сразу и, не давая ей опомниться, выложили новость про Корешка. Говорил Бесик, ему помогал Шахтер.

— Что? Какие деньги? — спросила Туся, оглядывая нас недоуменно. Она так быстро реагировать не умела.

— Покажи ей книжку, — сказал мне Шахтер.

Туся взяла книжку и стала ее разглядывать, а мы все уставились на нее. Мы видели, как она листала страницы, как дошла до суммы... И в этот момент она даже переменялась в лице. Она так перепугалась, что не могла произнести ни одного слова.

— Это... Это... Чье?

— Мое. — Я оглянулся на Кукушат. Они во все глаза смотрели на Тусю и ждали.

— И я... должна...

— Ага, — сказал Шахтер. — Нам же не дадут.

— Понятно. — Она подавленно замолчала, что-то решая. Потом вскочила и велела нам сидеть тут и ждать. И никуда не уходить. Никуда, понимаете? Сейчас она вернется, и тогда решим.

Ее не было долго, слишком долго. Но мы ждали. Ни единого словечка не произнесли. Только Бесик вдруг догадался:

— Побежала доносить.

— Кому?

— Кому, кому... Увидишь кому!

Раздались за дверью голоса, и вошел Чушка вместе с Тусей, но книжка теперь была у него в руках.

— Это чье? — спросил он, неторопливо усаживаясь за стол и доставая свои золотые ворованные очки.

— Мое, — ответил я.

— Его, — подтвердила Туся.

— А остальные тогда чего тут делают? — поинтересовался он, не глядя на Кукушат.

Я кивнул Кукушатам, и они с неохотой убрались. Особенно не хотел уходить Бесик, его Шахтер увел силой. Но и без того понятно, что раздражать Чушку в такой момент не следует: жизнь Корешка поважней всяких личных обид!

Я слышал, как Шахтер говорил Бесику, но эти слова, я был уверен, относились и ко мне:

— Не нарываться... Понял? Только не нарываться!

Туся закрыла за ними дверь и села, поживаясь, видно было, что ей не очень хочется присутствовать при нашем разговоре, но уйти она не решается. Да Чушка и не отпустит!

Чушка, нацепив очки, стал рассматривать книжку, вертя ее и так, и эдак.

Поднял голову, спросил:

— Значит, твоя?

— Моя.

— Откуда?

— От отца.

— Какого еще отца?

— Моего... отца...

— У тебя есть отец? Первый раз слышу! — Он быстро взглянул на Тусю. Та сидела на стуле напротив, сжавшись как от удара.

— Ну, был...

— Где же он теперь?

— Не знаю.

— А я знаю... Его нет. И не было! Нечего его придумывать и морочить всем голову.

— Но он же... Он же подал мне весть...

— Кто? Отец? — Чушка опять посмотрел на Тусю. — Какую весть? Он тебе прислал письмо?

— Но книжка... Это же весть...

Мне показалось, что Чушка, а за ним и Туся вздохнули облегченно. Они почему-то испугались, что мне написал отец письмом. А если бы и вправду написал? Что бы они тогда сказали?

— Чего нет на бумаге, того вообще не было, — произнес он. — Так что ты хочешь? Хочешь, чтобы я снял деньги?

— Да.

— А зачем тебе деньги?

— Нужно.

— Все?

— Все.

— За ними надо в Москву ехать, — сказал Чушка. — А кто работать будет?

— Да я посижу, Иван Орехович; — предложила Туся. И добавила боязливо, поглядев на меня: — Только, может, не все сразу брать? Они же проматывают! Или в карты проигрывают...

— Сам решу, — отмахнулся директор. — Там, может, и денег-то никаких нет... Ведь неизвестно, откуда взялся отец и откуда все это взялось, а? Может, какой жулик нарочно подsunул?

«Сам ты жулик! А еще задница в очках!» — Но я, конечно, вслух не произнес, а стал смотреть в пол, чтобы он по глазам не догадался о том, как я его ненавижу.

Чушка положил мою книжку в боковой карман.

— Можешь быть свободен. — И указал на дверь.

Но я как дурачок уставился на его карман, понимая, что вся наша судьба и судьба Корешка упрятаны в этом кармане. Я никак не мог заставить себя уйти, вот так взять и покинуть его кабинет.

Чушка копался, складывая очки, но вдруг увидел, что я еще тут, не ушел, а стою, и спросил грубо:

— У тебя еще чего?

— Ничего,— ответил я. — А когда прийти за деньгами?

Чушка посмотрел на Туся и покачал головой.

— Тебе скажут. Ступай! В зону!

— А когда скажут?

Туся поднялась и, взяв меня за плечи, повела к двери:

— Я сама тебе сообщу... Договорились?

— Нет! — Я попытался вывернуться из ее рук. — Мне завтра нужно!

— Ну, будет... Будет тебе завтра... А сейчас иди! — уговаривала Туся.

А Чушка сидел и тяжело молчал. Только шея у него покраснела.

— Ладно,— сказал я с вызовом. — Завтра приду. За деньгами!

— Приходи, приходи... — торопливо пообещала Туся и открыла передо мной дверь.

Я шагнул в коридор, но почему-то оглянулся: Чушка смотрел мне вслед, и в глазах его, не защищенных золотыми очками, не было самих глаз, а лишь глубокие провалы, в которых зияла чернота.

35.

Кожей спины я почувствовал погребной холод, исходящий от взгляда директора, поэтому и оглянулся.

Но я был занят мыслями о Корешке, который сидит в подвале и которого надо оттуда немедленно вытаскивать. Этот давящий, тяжкий взгляд и жизнь Сеньки никак не уязвились в моих мыслях, а, наоборот, зря.

Никто, конечно, из нас Чушке не верил. Но не верили позорному.

Говорили так:

— Надует! Ничего не привезет!

— Привезет... Себе!

— Ага. Скажет, не дали. И катись...

— А книжка? Потребуем книжку!

— Наврет! Потерял, скажет...

— Или скажет: дали половину.

— Ну, и половину! За половину Корешка отдадут!

— А если не отдадут?

— Им же не Корешок, им деньги нужны!

Ни до чего не доспорившись, легли спать, только Мотя по-прежнему оставался у решетки, да ночью к нему на подмогу бегали остальные Кукушата.

Утром увидели: Чушка, взяв портфель, отправился в Москву.

Мы наблюдали за ним из-за угла вокзала. И хоть сомнений с его отъездом не убавилось, но что-то подтверждало: если он нас послушал и поехал, значит, не зазря поехал, должен деньги привезти. Пусть не все, нам все и не нужны, мы готовы были к тому, что Чушка украдет какую-то часть за свои труды. Но все равно, тогда мы сможем торговаться с этими, из ресторана. Главное, чтобы в руках у нас были деньги.

С момента отбытия Чушки мы установили слежку и за поездами: Бесик и Сверчок должны были неустанно с двух сторон вокзала караулить поезд из Москвы, на котором вернется Чушка.

Остальные по очереди вместе с Мотей торчали у решетки, носили жратье от стола, даже бурду ухитрились залить тайком в банку и спустить Корешку на веревке.

Только Корешок перестал есть. Сперва он хоть на наши голоса откликался и бутылку с водой выпил. Но прошли вечер, ночь и утро и еще день, а Чушки все не было, и он примолк. Лежал в углу на дерюжке, которую удалось ему сбросить, но хлеб не брал и вообще нас не слышал.

Мотя, который никуда не уходил и на обеды «спецовские» перестал бегать, пытался какими-то словами помочь своему дружку. Рассказывал разные истории, вспоминал фильмы, которые мы смотрели, особенно про Швейку, как он Гитлера обхитрил. Раньше-то Корешок на «Швейке» просто заливался от хохота, а теперь молчал.

У Бесика со Сверчком никаких сведений насчет директора не было. Поезда приходили и уходили, а Чушка не появлялся.

Мотя, не дожидаясь теперь от них новостей, сам прибегал узнавать, не приехал ли директор, может, Кукушата его прозевали. Те божились «сухой», что смотрели, не спали и прозевать Чушку, которого они кожей чувствуют на расстоянии, просто не могли. На всякий случай в дом Чушки послали Сандру, но там все было тихо, кроме, конечно, визга

поросят и шипения самой старухи. Сандра выразительно изобразила и визг, и шипение.

Пытались говорить и с Тусей, но та лишь пугливо вздрагивала и сжималась, бормоча о том, что поезда ходят с поддержкой, а деньги возить трудно, потому что кругом бандюки, которые только и ищут, кого бы обчистить.

Бедная Туся! Это она нам, нам про бандюков рассказывала! А кто же тогда мы? А весь наш «спец»? А кто сам директор? Вот он, директор, и есть главный поселковый урка, ибо за родную копейку и ближнего не пожалеет! Такого не то что ограбит кто, а полезет, сам без порток останется! Это у бедной Туся затмение мозгов от страха вышло, что она плела невесту что. Но пайку на Корешка и на Мотю отдавала не любопытствуя и карцером за отсутствие не грозила... И на том спасибо.

Но, конечно, в другое время можно и посмеяться, что Корешка за трехдневное отсутствие захотели бы посадить снова... И он бы из кладовки ресторана попал бы в «спецовский» карцер...

Но мы бы и на это согласились. Мы бы на все согласились, лишь бы вытащить Корешка из чужих лап.

Утром третьего дня Чушка наконец объявился в Голяках. Сошел с поезда, заметно усталый, но в «спец» не пошел, а заглянул к начальнику станции, то есть Козлу, потом посидел в редакции «Красного паровоза», а уж затем неторопливо, размахивая портфелем, в котором, наверное, лежали наши денежки, двинул к себе домой. Бесик и Сверчок его неотступно караулили.

Перед самым ужином он появился в «спец» довольный, почти веселый, можно было понять, что он успел попариться в бане, принял свою «наркомовскую» норму, или, как у нас в Голяках говорят, «остограммился», и теперь с удовольствием возвращался к своим делам.

А дела, судя по всему, у него шли хорошо.

Но мы так понимали, что его дела — это теперь частью и наши дела. И если они идут хорошо, значит, он получил деньги, а значит, и мы их тоже скоро получим.

Толпясь у дверей канцелярии, мы ждали, когда он вернется после своего обычного обхода по «зоне»: спальням, кухне, столовой и так далее, — мы знали, что он сюда обязательно придет.

Конечно, и он тоже знает, что мы его ждем, что мы тут, у дверей канцелярии, оттого, может быть, и не торопится, хочет подольше поиграть на наших нервах.

Наконец появился: прошествовал мимо нас и даже на наше необычно громкое: «Здрасьте, Иван Орехо-ич!» — кивнул, чего никогда не делал. Тоже хорошая примета. Но вот дальше он будто бы не захотел понимать, что мы тут торчим из-за него, хлопнул перед нашим носом дверью и скрылся в канцелярии. Вроде бы с нами ему не о чем говорить.

Потоптавшись, решили к нему заглянуть: я, Шахтер и Бесик. Мотя, как всегда, был, около решетки. Мы спросили, можно ли войти, он опять добродушно кивнул и при этом читал какую-то на столе бумажку.

— Ну... С чем пожаловали?

Мы переглянулись: было ясно, что Чушка в духе. Вот только странно, что он не помнил, зачем мы пожаловали. И я сказал:

— Мы пришли за деньгами.

— Ах, за деньгами... — произнес он вразяжку, а сам все читал свою бумагу и глаз на нас не поднимал. — За деньгами, значит... Так, интересно...

Мы не поняли, что ему интересно: то, что мы пришли за деньгами, или то, что он читал в бумаге. Но мы стояли и ждали, а Бесик смотрел на Чушкин портфель, поедая его глазами. Ведь если деньги есть, то они, конечно, в портфеле, сто тыщ — такая куча, что нигде больше не уместится!

Наконец Чушка оторвался от бумаг и уставился на наши ноги.

Я думаю, если бы он хотел нас запомнить, ему незачем заглядывать нам в лица, и наших ног бы вполне хватило!

Обутые во что ни попадя: в галоши, в ботинки без подошв, в дощечки с веревочками, заплатанные, неизвестно какого времени и происхождения валенки, пимы, бурки и даже женские туфли и так далее, — наши ноги вполне нас вырвали!

— Так, — повторил Чушка и медленно, как бы вовнутрь себя, довольно улыбнулся. — За денежками... Пришли...

И вот странно, но от такого Чушки, который не рвякает, не кричит «В зону!», не посылает в карцер если на отработку к свиньям, а мирно улыбается и разговаривает с нами —

с нами! разговаривает! — мы стали будто оттаивать, теряя нашу обычную настороженность.

Чушка между тем сказал:

— Деньги — это серьезно... — И по-особому то ли хмыкнул, то ли икнул, издал, в общем, звук, обозначающий серьезность такого момента, как передача денег. — Давайте так... — И задумался. А мы ждали. — Давайте завтра... Да? — И решил: — С утра прямо и приходите! Договорились?

— Договорились! — громко воскликнули мы.

Мы выходили из канцелярии и многозначительно переглядывались, чувствуя себя почти победителями.

36.

Мы пришли к Чушке утром в тот момент, когда у него по какому-то причинам собрались наши шефы: Наполеончик, Козел, Директор Уж, орсовский Помидор и другие. Тут же была Туся, сидела и помалкивала, забывшись в угол.

Когда мы вошли, они все громко разговаривали, но, заметив нас, замолчали, уставясь с любопытством, будто на экспонаты какие.

А мы сделали вид, что их не знаем, и сразу обратились к директору, который, судя по всему, нас ждал.

Он нацепил золотые очки свои ворованные, пошарил по столу, ища что-то, спросил, не поднимая головы:

— Пришли?... Все?... — И остальным: — Это вот они...

Гости молчали, втыкаясь в нас глазами. Бесик подтолкнул меня локтем и, указывая в сторону гостей, дал понять: он лично считает, что неспроста они тут все собрались. Уж не за деньгами ли нашими они явились?

И Сандра на меня оглянулась, а Хвостик даже рот открыл, чтобы спросить, но я сделал знак молчать. Хотя, если честно, мне стало не по себе от предчувствий: не к добру собралась вся эта шайка. Чего-то им всем от нас надо.

— Сергей Егоров, — произнес директор в стол. — Кто?

— Ну, я, — сказал я.

Они теперь стали смотреть на меня.

— Ну, вот, — продолжил директор, привставая и разводя руками. — Егоров, значит, как патриот внес свои деньги... Мы его поздравляем!

И все собравшиеся — Наполеончик, Уж и другие — почему-то захлопали, а директор протянул мне руку.

— Поздравляю, Сергей! Так и надо поступать!

— Как? — спросил глупо я.

— Вот так... Как ты поступил... — Директор взял со стола листок, это оказался номер «Красного паровоза», и громко с выражением прочел: — ...Сбор народных средств на боевую эскадрилью истребителей имени Героя Советского Союза летчика Талалихина проходит на высоком трудовом и морально политическом уровне. Восемидесятилетний колхозник-хлопкороб Янгиюльского района Ташкентской области Султан Акбаров сдал в фонд обороны на строительство боевой эскадрильи от имени себя и своей многочисленной семьи, у него девять детей, трое из которых сражаются на фронте, триста тысяч сбереженных рублей... А коллектив спецдетдома особого режима в поселке Голятвино Московской области перечислил собранные деньги на строительство боевых машин в количестве сто тысяч рублей... Товарищ Сталин выразил благодарность всем гражданам и коллективам, оказывающим своими средствами посильную помощь Красной Армии...

И все опять захлопали, а мы стояли, будто прикурки, перед директором, не в силах понять, что же произошло, как мы оказались коллективом, который отдал деньги, а сам остался без денег. Значит, вместо нашего Корешка теперь начнут в складчину с колхозником-хлопкоробом клепать железный истребитель, а Корешок из-за этого будет сидеть в подвале.

— Ладно, — сказал директор, победоносно оглядывая шэфов. — Мои голодранцы растерялись от радости... Пусть идут... А мы еще посидим... Не каждый день такой праздник, что товарищ Сталин лично... — И уже нам: — Валийте... в зону... Я велел вам дать по лишней пайке!

Во дворе нас ждал Мотя.

— Корешка нет, — произнес глухо, не глядя на нас.

— Где нет? В подвале нет? — спросил Бесик.

— Нигде нет.

— Может, его выпустили?

Мотя не ответил.

— А когда ты увидел, что его нет?

— Утром.

— А вчера он был?

— Кажись, был... Но там же ночью темно, а он молчит. — сказал Мотя. — А потом рассвело, я стал смотреть, а там пусто.

— А эти? Из ресторана?

— Я их не видел.

— Надо их найти.

Мы, все Кукушата, бросились на станцию, мы бежали так, что Хвостик отстал от нас и закричал:

— Я тоже хочу! Я устал!

Мы подождали Хвостика, но между собой не разговаривали. Это был тот момент, когда никаких слов не надо. Мы все знали, что будем делать. И знали, что каждый будет делать то, что надо. Даже Хвостик.

Мы спустились в знакомый подвал и увидели, что дверь закрыта. Стали барабанить в нее кулаками, ногами, пинать ее, бить изо всех сил, но в ответ не раздалось ни звука.

— Может, никого нет? — спросил Шахтер.

— Не может! — крикнул Бесик. — Они заперлись! Я знаю!

И Сандра промычала, указывая, что они там. Она их прямо чувствовала за дверью.

Тогда Бесик подхватился, прыгая через ступеньку, выскочил наружу и стал заглядывать по очереди во все подвальные решетки и сразу закричал:

— Они тут! Они тут!

Кукушата облепили окошко, и я воткнулся между остальными: повариха и Филиппок стояли посреди поварни и смотрели на нас. А мы сверху смотрели на них.

Я думал, что они сразу спросят про деньги, принесли мы их или нет, но они молчали. И вид у них был какой-то странный, вовсе не такой воинственный, как в последний наш приход.

— Эй! — крикнул Мотя. — Корешок у вас?

Филиппок поднял глаза и покачал головой, а повариха молчала.

— А где он? Почему не открываете?

— Его нет, — произнесла наконец повариха и высморкалась, утирая нос передником.

— А где он?

Повариха посмотрела на Филиппка, обвела глазами кухню. Сказала вздыхая:

— Он, значит, приболел.

Филиппок с готовностью кивнул, подтверждая ее слова.

— Ну, а где он сейчас? — крикнул Бесик, которому надоела эта волокита. Мы и так без них знали, что Корешок приболел.

— В больнице... — ответила повариха, при этом опять вздыхая, будто ей было жалко Корешка. — Вот, Филипп Христианович отвез... Лечиться...

А Филиппок снова с готовностью кивнул.

В этот момент, глядя на повариху и Филиппка, я вдруг понял, что они нас боятся. Теперь, когда уйти было им некуда, они ввали про больницу, потому что нас боялись, хотя и сидели в своем подвале запершись.

А Мотя сказал, приподнимаясь и отряхивая штаны от пыли:

— Двигаем в больницу! Этих мы всегда найдем!

Он наклонился к решетке и крикнул:

— Мы идем в больницу... А если что... Мы вас найдем!

— Мы вас найдем! — крикнул за ним и Хвостик и показал через решетку кулак.

Филиппок и повариха, как замороженные, смотрели на нас, задрвав головы, и даже не ответили на угрозу.

Больница находилась недалеко, за церковью, где мы делали колочую проволоку. А знали мы ее еще потому, что расцарапав на первых порах руки о проволоку, мы тут заливали их йодом у пожилой тихой медсестры, которая принимала нас в прихожей. Во всей же больнице было три комнаты и кабинет врача, в который нас из-за нашей грязи никогда не пускали.

Встречали мы и врача маленького росточка, всегда в шляпе и в очках с сумочкой, в которой мы успевали пошарить, когда он приходил к нам во время вшиводавок, чтобы подписать какие-то бумажки. Нас он побаивался, а мы при виде его всегда кричали: «Без порток, а в шляпе! Очковая змея!» И что-то подобное, уж очень он нас смешил своим

дурацким видом. В поселке больше так никто не ходил.

Теперь с лета мы обогнули церковь с мотками колючей проволоки по всей территории бывшего кладбища и влетели на крыльцо больницы. Мы, наверное, слишком топали, потому что в окошечко выглянуло чье-то испуганное лицо и на крыльцо сразу вышел, правда, без шляпы, знакомый врач. Но очки, этикие странные стеклышки, которые щипочками держались за переносицу, у него были. То-то, наверное, больно иосу, что он все время морщится, когда они так прищепаются!

Но нам сейчас было не до очков.

Мотя еще задышался от бега, как и все мы, поэтому спросил отрывочно, словно пролаял:

— Скажите... Нам сказали... Корешок... Ну, Сенька из нашего «спеца»... Он у вас?

Врач как будто удивился:

— Мальчик? От вас?

— Да! От нас.

— Сенька? А фамилия?

— Кукушкин!

— Семен Кукушкин? — будто вспомяная. — Нет. Такого нет. — И тут же повернувшись, ушел.

— Но нам сказали! — закричал вслед Бесик, а Сандра даже рванулась вслед за врачом, но дверь оказалась вдруг закрытой.

— Я так и знал, что они наврали! — воскликнул Бесик.

— А если этот... наврал? — спросил Шахтер.

— Я ему тогда очки побью! — крикнул Бесик.

— Но он же врач? — возразил Ангел.

— А врачи не врут?

— Они все врут! Угробили и врут!

— Как угробили? — спросил Хвостик.

На него шикнули.

— Молчи, Хвостатый! Не до тебя!

Так мы стояли, рассуждая за церковью, когда выскользнула из дверей больницы знакомая нам пожилая медсестра. Шла она тихо, потому что, хоть сама и лечила других, но была, наверное, больна. На церковь она перекрестилась, а проходя мимо нас, лишь глаза скосила и беззвучно произнесла:

— Ступайте за мной... Не сразу... Потом...

Она медленно удалилась в ближайший переулок.

А мы, чуть подождя, тут же сорвались с места и за домами ее нагнали. Да она уже никуда и не шла. Ждала нас.

А когда мы подскочили к ней, запыхавшись и глядя в ее измученное лицо, она воровски оглянулась по сторонам, не видит ли нас кто вместе, и беззвучно произнесла своими бесцветными губами:

— Ваш Кукушкин помер... Схоронили... И не ищите где...

И меня не спрашивайте, я не знаю...

И сразу повернулась и пошла, медленно от нас удаляясь, будто нас никогда не видела.

А мы остались, пригвожденные к месту, на этой маленькой улочке. Все вдруг потеряло свой смысл, и не осталось никаких желаний. Единым махом, как косарь косой, срезали нас и бросили на дороге.

Неслышно затряслась, зарыдала Сандра, а Мотя сел прямо в пыль и закрыл лицо руками.

37.

Вечером в наш «спец» привезли «Броненосец «Потемкин».

Мы его и раньше видели, но сейчас смотрели, как впервые, захваченные бунтом матросов. Там, в общем, на корабле, матросам шди подали, а в щах мясо с червями. Когда дошло до червей, кто-то среди нашей молчащей публики, может, Бесик, в темноте произнес негромко, но слышали все, что нам бы не только мяса с червями, а червей без мяса, рубанули бы за милую душу! И добавку бы попросили!

Но никто не засмеялся, лишь швырнули в экран шапкой в знак протеста против такой сытой шамовки в былые царские времена! Ишь, мясо им, видишь ли, не понравилось! С червями, но мясо, а не хрен собачий! Мы бы за такое господам офицерам еще спасибочки сказали!

Ну, а дальше там, как у нас в «спеце», повара и всякое начальство пришло и стало наводить чернуху. Врать, как и у нас врут.

Как сегодня ввали.

Весь «спец» ходил сегодня читать вывешенную статью впервые за всю историю детдома, статью про сто тысяч, которые мы якобы собрали на строительство боевых машин. Все читали, но никто не произнес вслух, откуда деньги: и так все знали, что деньги у нас украдены Чушкой.

А к обеду прямо поперек статьи чернилами написали: «А Корешка они угробили!»

И все снова прибегали читать, пока Туся не устала. что написано что-то запретное, и не сорвала статью.

Но когда на экране возникла палатка, где со свечкой в руке лежит угробленный ихними деятелями матрос, а люди приходят с ним проститься, в зале сразу стало тяжело. Я не про себя говорю. Это все заметили, что в зале стало очень тяжело, глухо, беспросветно, будто нас всех, всех сразу «спецов» тут, прямо в зале, как Корешка в безымянной могиле, похоронили.

И кто-то выкрикнул слабо:

— Убить их мало!

И ни у кого не возник вопрос, кого надо убивать, тех ли, что довели матроса до смерти, или этих, которые сегодня убили нашего Корешка... Конечно, этих, этих надо убивать! Матросы-то все давно поняли! А мы, дурачки, чего-то ждем. Дождались!

Но никто брошенного в пустоту крика не подхватил, наоборот, наступила особенно какая-то гнетущая тишина. На экране бушевали страсти, и матросики победившие ликовали и швыряли в воду свои бескозырки, а мы этой единственной шапкой, которую швырнули в экран, и ограничились.

Разошлись молча по спальням. Даже грохота ног, обычного в коридоре, не слышали. Затихли. Такая вдруг тишина наступила во всем доме, которой никогда у нас не бывало.

Обычно как: песни, шум, драки, кто-то анекдоты травит, кто-то в карты режется, а иные напоследок бегут отлить, пока засов на дверях не задвинули. Остальные уже задают храпака, забив голову под подушку, и постанывают, потому что им, как нам всем, во сне снятся кошмары. А тот, кто боится темноты, потихоньку хнычет, и все знают, что это хнычет Ангел, да и не только он.

А что им еще делать, если они не могут не бояться?

Но сегодня и они молчали. Все молчали. А дежурная Туся, пройдя по спальням, по коридорам и не услышав ничего необычного в нашем молчании, закрыла за собой дверь, решив, что можно уйти ночевать домой. Ее так обрадовало, что никто не буйнил, не пел блатных песен, не орал, не визжал и не носился голяком по коридорам, пугая и без того напуганных девочек и малышей.

Услышали и передали, как Туся сказала криворотому сторожу:

— Слава богу, спокойно. Так я пойду. А вы закрывайте на засов... После кино они обычно возбуждаются, но зато хорошо спят.

— Ага, — ответил сторож. — Сегодня, видать, ухайдакались. Ишь, храпака задают... И не бесятся!

И Туся ушла. А сторож, задвинув засов на двери, убрался в свою конуру дрыхать. Ввиду праздника Чушка ему выдал стограммовую норму, и он уснул. Сам Чушка ушел еще до кино (кино-то для нас тоже в виде праздника!), чтобы в своем свинстве, на усадьбе, угостить по заслугам поселковых деятелей в связи с таким событием, как прочтение в газете и поздравление лично от товарища Сталина.

В поселке понимали, что это невероятное событие поднимет на новый уровень Голятино в глазах областного начальства и вдохнет в него новую жизнь.

Какую жизнь? Да всякую. У нас жизней много. Станут в церкви больше проволоки делать, станут больше лоскутков кроить Сандре на платье. А уж огурцов на грядке у Наполеончика увеличится — не сосчитать, и поросят у Чушки станет вдвое или втрое больше.

Так мы понимали счастливое обновление нашей голяковской жизни в свете происшедших событий.

И у нас, конечно, в «спеце» будет обновление, как же без него! Может, еще одного сторожа прибавят или милиционера для порядка; а то и второй карцер пристроят! Обновление, как говорят, обычно со строительства главных учреждений начинается. А что может быть главней карцера, если он всем нам жизненно необходим, чтобы стать настоящими людьми!

В середине ночи в тишине пронесся ни с чем не сравнимый клик. Непонятно прозвучало, то ли петушком кукарекнули, то ли кукушкой прокуковали. Все говорили по-разному и слышали по-разному, но поняли одинаково.

Вспоминают, что после того странного звука, неведомо откуда прозвучавшего, какие-то мгновения, довольно длинные, стояла полнейшая тишина. Даже шороха не услыша-

лось. Вздоха не прозвучало, одеяло не прошелестело — мертво в воздухе было.

И вдруг поднялось.

Да нет, и не поднялось, и не возникло где-то, а взорвалось в том самом воздухе, а может, это воздух и взорвался!

Ухнуло, грохнуло, взревели и понеслось, вокруг и прочь, наружу. Словом, бомба взорвалась, хотя, конечно, никакой бомбы в помине не было. Вот в каждом из нас, уж точно, бомба была. А вот какой такой силой все запалы в одно мгновение подожгли, никто сказать не может.

Голоса понеслись по коридору, все нарастая и нарастая, и это не были отдельные крики, слитые в единый ор... Это был сразу единый крик, выкрик, рык, предвещавший нечто звериное, неуправляемое, кровавое... Дикое!

Бунт, одним словом.

Бунт.

38.

Бесик, не отрывавший глаз от бугра, который в утренней дымке то возникал, то пропадал, вдруг вскрикнул:

— Они машут! — и указал пальцем.

— Кому машут? Нам? — спросил Шахтер.

— Нам! Нам! Вон же!

— Стреляй! — приказал Шахтер Моте. — Чтобы не мелькали перед глазами.

— Стрелять? — спросил Мотя.

Сандра промывчала, она была за то, чтобы стреляли. Она пролаяла, поясняя, что надо в них бить и бить.

А я сказал:

— Конечно, надо стрелять!

— Хоть раз пальни! — крикнул Сверчок.

Я так понял, что все хотели, чтобы Мотя пальнул. И не в платке, которым там махали, дело. Хотелось выстрелить, чтобы самих себя услышать. И самим себе доказать: ага, палим, значит, мы тут еще кое-что можем! А не похоронены вашими легавыми усилиями!

Мотя совсем было решил пальнуть и уж прицелился, но вдруг опустил ружье и растерянно произнес:

— Идут...

— Так пали! Пали!

— Чего ты кричишь? — обернулся он к Бесику. — Не видишь что ли, это же баба! Баба идет! И машет!

— Какая еще баба?

Шахтер с другой стороны сарая прибежал посмотреть и сразу определил:

— Это Туся.

— А что Туся? Не ихняя? И в нее пальнем!

— Но если она чего сказать хочет?

— А нам не надо говорить! — воскликнул Бесик. — Мы сегодня сами говорим! Это они пусть слушают, как мы им говорим! Из ружья!

Я еще раз воткнул глаз в щель и вдруг понял, что это за женщина. Никакая не Туся. Это Маша. Я сразу узнал ее, когда она подошла ближе.

Я произнес:

— Это моя тетка идет. — Хотя теперь все ясно видели, что идет с платком в руке моя тетка Маша.

— Ну, что? Стрелять? Нет? — спросил Мотя.

— В тетку-то?

— В тетку! — подтвердил зло Бесик. — А зачем она идет?

— Она же к тебе идет? — поинтересовался Ангел.

— Не знаю, — ответил я.

— Конечно, к тебе! Приехала!

— Где они ее только разыскивали...

Я посмотрел в щель и попросил Мотю:

— Не надо в нее стрелять, а? — Но оборачивался я к Бесику, я знал, что он среди нас первым может крикнуть: «Пали!»

— Пожалел? — буркнул Шахтер. Он уже успокоился и стал собирать соломку, чтобы закурить.

— Ну и что... — сказал я. — Не пожалел, а вообще...

— Нет, пожалел. А они не пожалеют...

— А Маша-то при чем?

— При том! Идет, не боится! Дать бы по ногам!

Я промолчал. Я знал, что теперь не дадут. Смотрел, как она, дурочка, все размахивая своим глупым платочком, идет к нам, спотыкаясь об ямки и не замечая их, а слепо глядя на наш сарай. Ну ясно, что она нас не видела, а мы ее видели. Мы смотрели затаив дыхание.

Она встала в десяти метрах от дверей сарая и, крутя головой, чтобы понять, где мы и где, наверное, я, спросила:

— Сергей! Я к тебе... Ты меня слышишь?

Все в сарае повернулись ко мне. А Мотя кивнул: говори.

— Я тебя слышу, — ответил я в щель.

Теперь она знала, где я сижу, и смотрела в мою сторону.

— Ты вот что... Скажи ребятам, что надо сдаваться...

Они там вооружены... Понимаешь?

— Ну и что? — крикнул Бесик.

Маша повернула лицо в его сторону.

— Но они же вас штурмовать хотят!

— Ну и что! — опять крикнул Бесик.

Маша замолчала, и я увидел: она волнуется и никак не может найти нужных слов. Да и вообще, будто девочка, стоит растерянная перед нашим дулом, хотя, может, и не знает, что мы еще способны пальнуть.

— Сергей, — произнесла она и осеклась, будто проглотила что-то. — Меня специально вызвали, нашли... Туся меня нашла... Чтобы я тебе... Чтобы я всем вам сказала. Но я не от них, я от себя, понимаешь... Они там с винтовками... С оружием, и их много...

Мы молчали. И Бесик теперь ничего не кричал. Мы смотрели на нее. И Сандра подползла, и Сверчок подлез, которого лихорадило от температуры.

— Ты слышишь меня? Сергей? — спросила она. Я услышал слезы в ее голосе.

Сандра взглянула на меня и промывчала, веля говорить.

— Ну, слышу... — ответил я негромко.

Маша обернулась, чтобы посмотреть на своих легавых и, уже не стараясь от них оберегаться, быстро проговорила, что они там собрались, чтобы нас схватить.

— Они такие... Они такие...

— Мы знаем, какие! — крикнул Мотя. — Мы их ненавидим!

Маша вздрогнула и посмотрела со страхом.

— Но они же будут стрелять... Они же не пожалеют... Сергей!

И вдруг она зарыдала.

Она стояла перед сараем и вытирала косынкой слезы, а мы смотрели, затаившись, не сводя с нее глаз. Мы знали, что это первый и единственный в мире человек, который нас тут пожалел. Но это их человек, а значит, нам не о чем разговаривать.

— Скажи ей, чтобы ухдила, — попросил Мотя.

— Уходи! — крикнул я.

Она вздрогнула и опять оглянулась.

— Сергей... Опомнитесь...

— Уходи! — крикнул ей уже Бесик. — Скорей уходи! Ну?

Маша повернулась, но опять посмотрела в мою сторону.

— Знаешь, я неправду тебе сказала... Твой отец, Сергей, жив... Он жив... Ты должен ради него себя пожалеть... Правда...

Я слушал и понимал, что она врет. И все поняли сразу, что она врет. Зачем... Да чтобы меня спасти. Но они же все и всегда нам врали, будто бы ради нашего спасения, а спасали они только себя.

И тогда я крикнул, приближая рот к щели:

— Ты все врешь! Врешь! Врешь! Врешь!

39.

Бунт, это по своей Истории я знал, когда ничего не понятно, но страшно. И все чего-то хотят разрушить, бьют, что ни попадя, ломают и еще жаждут крови. Лучше, если директорской крови, но можно и всякой другой.

Я поднялся за остальными, даже не понимая про себя, надо мне подниматься или не нвдо. Меня, как говорят, подняло.

Вообще-то я готов был и знал: мне надо быть со всеми. Да, каждый из нас был готов, в том-то и дело. И каждый вносил в общее движение всего себя, заводил себя до уровня других, а потом другие доводили себя до уровня каждого, и все это, будто тревоги сирена, становилось выше и выше тоном! Пока из рева не перешло в какой-то протяжный вой. И вой тот особенно взвинчивал, и будоражил, и правил всеми нами. Внутри меня что-то прокричало: Все! Все! Все! А может, это не внутри, ведь мы ничего не слышали, но в то же время слышали. Так вот, были слова: «Все! Все! Все!» Кончилось их время! А наступило наше время! И в нем, в другом, каждый из нас тоже другой, не подвластный никому и ничему, кроме этой стихии, в которую мы сразу и навсегда влились, как капли вливаются в поток, становясь разрушительной силой.

Мы ворвались в канцелярию, стали бить окна. Кто-то

схватил директорский стул и грохнул его об стол, стул разлетелся.

— Дуб хреновый, а хрен дубовый!

Портрет Сталина не тронули, Сталин единственный был здесь не виновен. Зато в его словах про то, как надо людей заботливо и внимательно выращивать, дописали слова, и получилось: «Свиней надо заботливо и внимательно выращивать, как Чушка выращивает...» и т. д. А в конце: «И. Сталин».

Все указывали пальцем и хохотали.

Кто-то полез в стол, но ящики не выдвигались, были заперты. Тут же появилась фомка, замки отлетели.

Из ящиков посыпались бумаги, много бумаг, но Мотя, я вдруг увидел его среди других, вполне уже спокойно, даже не взбешенно закричал:

— Бумаги мы прочитаем! Не надо их рвать!

— Надо! — закричали остальные. — Надо!

— Хватит читать! Они все равно врут!

Тут кто-то увидел среди бумаг фотографию самого Чушки. Чушку немедленно прилепили к стене, и все стали упражняться, кто точнее ему в рожу плюнет.

Это и отвлекло ребят от бумаг. А Мотя вдруг крикнул:

— Вот письмо!

Ребята еще долевывали в обхарканную фотографию, но Бесик спросил:

— Письмо? Какое письмо?

— Письмо от отца, — сказал Мотя.

Тут все одновременно повернулись и посмотрели на Мотю. Наверное, хотели узнать: «Чьего отца?» Но никто не решился. Наверное, страшно было сразу узнать, что это не твой, а чужой отец.

— Письмо без конверта, — продолжал Мотя. — Хотите? Прочту?

— Хотим.

— Ну, слушайте... Тут несколько строчек... — И Мотя с выражением стал читать. — «Дорогой сынок, вот как долго я тебя искал, а теперь мне написали, что ты живешь в спецрежимном детдоме в Голяках... А я, хоть меня не выпустили, смог передать на волю это письмо, чтобы ты знал, что я ни в чем не виноват, я всегда, всю свою сознательную жизнь был верным членом партии ВКП(б). Они меня нстязали до полусмерти, я не спал семь суток, а потом подписал навет на самого себя. Но ты ничему не верь, они меня сломали, но не доломали. И я написал письмо товарищу Сталину, от которого скрывают, что творится за его спиной. А если не вернусь, то знай, родной мой сынок, что папка твой был всегда честен и, умирая, он будет думать о тебе». — Мотя перестал читать, а все, уставясь на него, ждали.

— А дальше? — крикнули.

— Дальше... все! — ответил виновато Мотя.

— А письмо-то кому?

— Нам... Кому еще!

— Понятно, нам... Но ведь оно кому-то...

— Сказал тебе, придурку: адреса нет... И имени нет...

Тут каждый из «спецов», кто слушал, стал говорить, что письмо это ему, и он точно знает, потому что его отец, которого он, правда, не помнит, мог написать именно такое письмо. Стали спорить, даже ругаться, а я вдруг подумал, что мой Егоров, который, кажется, мне отец, тоже мог прислать такое письмо. Уж в отличие от остальных «спецов» я-то точно знал, что он у меня сидит там... Или сидел.

Но неожиданно во все крики, споры, разговоры влез Хвостик. Он закричал:

— Это мое письмо! Это мой отец! Мой! Мой!

Все на мгновение примолкли и впервые обратили на Хвостика внимание. И Мотя посмотрел. И вдруг сказал:

— Если твой, держи! — и отдал Хвостика письмо.

Тот жадно схватил и тут же засунул под рубашку за пазуху. Я думаю, он туда спрятал потому, что видел, куда я прячу свою Историю. Он уже понял — за пазухой не пропадет. Но, кажется, до конца не верил, что письмо его, и повторял громко:

— Мой отец! Мой! Мой!

— Конечно, твой, — успокоил я Хвостика. — Там поискать, может, и еще письма найдутся!

И все схватились, что и правда, у Чушки могут храниться письма, и стали рвать бумаги друг у друга, но писем больше не нашли. Нашли свои личные дела, где про нас было про всех одинаково сказано, что мы, как социально опасные элементы, изолированы от общества в детдоме специального режима, и далее всякие Чушкины мудачества, вроде харак-

тера, поведения и отношения к родине, партии, к самому директору и к учебе. Такая характеристика даже на Хвостика была, где он обозначался без имени, но зато стояло: «Характеристика на Кукушкина по кличке «Хвостик» — и все подобное.

Я, конечно, хотел на себя характеристику найти, чтобы посмотреть, что они в связи с моей теткой написали и кого запрашивали о моих родственных связях, но Мотя в это время наткнулся на какой-то листок и позвал меня к себе.

— Вот, смотри!

Все шуравили вокруг, жгли бумаги, пока кто-то не догадался вытащить ящики через окно и запалить из этих бумаг прямо во дворе костер.

— Про меня? — спросил я.

— Да это, наверное, про нас всех, — сказал Мотя. — Вишь, из милиции!

— Дай, — попросил я.

В листке, напечатанном на бланке, было написано: «Начальнику спецрежимного детдома тов. Степко И. О. Просим сообщить подробнее о сберегательной книжке воспитанника Егорова С., сына осужденного преступника Егорова А. П., и о целях, для чего ему, как и другим Кукушкиным, понадобилась такая крупная сумма денег. Ввиду их пребывания в Москве просим также уточнить, не могут ли являться названные Кукушкины членами общества, раскрытого недавно в Москве среди групп подростков, названного «Отомстим за родителей», ставившего целью убийство товарища Сталина и других деятелей партии и правительства. Не были ли использованы деньги для покупки оружия и так далее...»

— К черту! В огонь! — крикнул я.

— А личные... Наши дела?

— Все в огонь! — крикнул, раздражаясь, я. Потому что вдруг понял, что в тех бумагах наша гибель, как в яйце в какой-то сказке Кашеява смерть. А если бумаги спалить, то ничего не останется.

Вот теперь-то догадался я, для чего ОНИ в моей Истории жгли да палили! Они хотели уничтожить вранье!

— Пали все! — крикнул тогда я и поволок к окну директорский стол. Не надо в нем копать, его надо было уничтожить. С грохотом свалили на землю, и через минуту он заполыхал на костре.

— Пали! — кричал я в азарте и слышал, как за мной подхватывали другие Кукушата.

Мы теперь тащили из спальни топчаны и матрацы и выкидывали через разбитое окно.

— Пали!

И топчаны, и матрацы были свидетелями нашего «спецовского» несправедного быта! Они тоже врань! Потому весь «спец» был такой ложью. Его бы весь надо спалить!

Я слышал, как самые неистовые взламывали двери в столовую и на кухню, они были обиты железом. Это от нас их обили железом.

Дверь в кухню протаранили с криками «ура», но жраты там не оказалось, и оттуда полетели в окошки железные миски, кастрюли, бачки, весы для взвешивания пашек и гири.

Все, даже миски мы свалили в костер, а гири подобрали и рассовали по карманам, приговаривая с усмешкой, что не голью бульжники, как учили по истории, являются оружием пролетариата, но и гири, и гири тоже! Матросики в том кино зазря их не использовали, чтобы расквасить сытые морды своих поваров!

«Встретим покупателя полновесной гирей!» — так, кажется, написано в магазине. А мы встретим ментов полновесной гирей!

Костер в это время уже полыхал до неба, мы и не подозревали, сколько горячих свидетелей нашего «спецовского» заключения тут у нас (на нас!) накопилось.

— Пали! Пали! Пали!

Теперь орали в сто глоток, взбесившись от счастливой свободы, которая нас охватила.

От сильного желания что-то еще сотворить стоящее в этой нашей прекрасной жизни, мы решили спалить и сам «спец». дом, а по сути, тюрьму, которую мы ненавидели.

Каменщик, каменщик в фартуке белом,

Что ты там строишь? Кому?

— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,

Строим мы, строим тюрьму...

Это читали на уроке, но мы и так сразу догадались, что каменщик строил тот «спец» для нас, для своих потомков.

Интересно, а что же про нас в стихах напишут: что мы

делали для потомков колючую проволоку?.. Ничего себе, поколеньице!

Пусть лучше расскажут, как мы тут все сожгли!

И уже с головешками собирались мы запалить дом с четырех сторон, но кто-то вспомнил, что там остались больные в лазарете и маленькие совсем, и девочки, которые боятся ночи, и темноты, и нашего костра, и наших криков, они-то все равно не выйдут, а с испугу забьются под кровати и сгорят.

И сторож криворотый стогит, который дрыхнет пьяный в своей конуре, мы подперли на всякий случай снаружи дверь палкой!

А не лучше ли в таком случае поджечь Чушку! Чтобы не себя, а его поджарить на углях!

И все вдруг вспомнили про Чушку, который придумал это наше «спецовское» свинство,— его-то и надо потрошить!

И тогда, бросив костер, все пустились бежать к дому Чушки.

Мы летели, неслись, не разбирая дороги, через колдобины и ямы, как наперегонки, потому что каждому из нас хотелось быть у Чушки раньше других, и первым начать над ним расправу.

40.

Дом у Чушки был темен, ворота закрыты.

Но уж тут-то мы были как у себя дома и все знали!

Самый ловкий из первых добежавших перемахнул через забор и, несмотря на собаку, которая нас облаяла, отодвинул тяжелый засов-бревно, и мы, как висели снаружи на воротах, так и въехали на них к Чушке во двор с криками «ура!».

Но собака Чушки, хоть и невелика, но была уж слишком голосиста и не умолкала и не хотела никак понимать, что ее власть и власть ее хозяина кончилась. Мы дали ей доской по голове!

Может, в другой раз и пожалели бы такого глупого кабыс-доха, но Чушкина собака была ненавистна нам, как и ее хозяин. Один норов, один характер: облаять и побольней укусить!

Тут выскочила на крики Чушкина мать. Стоя на крыльце и не видя никого в темноте, но расслышав, что это пришли «спецовские», она по старой привычке нас обругала, назвав «скверной», и «заразой», и прочими словами, и приказала тише себя вести.

— Заткните старую дуру! — сказал кто-то в темноте, и тут же к ней подскочили несколько ребят, заткнули ей рот ее собственным передником и, как она ни сопротивлялась, отвели и заперли в сарай. Пусть не гавкает, сука такая. Надо бы ее в собачью конуру посадить, поскольку она, сука, и тывкала, и измывалась над нами, да кто-то с сожалением сказал, что она туда ну никак не влезет!

Чушку мы нашли в доме, он дрых на широкой железной кровати под ватным лоскутным одеялом, а на столе посреди комнаты стояли и валялись всякие бутылки и огрызки, видать, тут попиروвали от пуза в счет нашей славы земляки-голяки.

Мы окружили кровать, но на всякий случай в лицо Чушке головешкой посветили, чтобы не ошибиться, как кто-то выразился, и не спутать, и не принять какую-нибудь из его свиной за него самого!

На наши голоса он отреагировал так: расщепил свои узкие глаза, мотнул и снова закрыл.

Мы лишь расслышали до боли родное слово: «В зону!»

Видать, спяну Чушке привиделось, что это мы пришли к нему во сне.

Тут все подхватили:

— Он просится в зону! В зону!

— Тащи его в зону! Во двор!

— А как? Его не допрешь!

— Тогда вяжи к кровати!

Нашли веревку, прикрутили к кровати и так вместе с кроватью выволокли во двор, где к этому времени полыхал костер из Чушкиных вещей.

Пока тащили, он-таки проснулся, но ничего не мог понять и хрипло просил дать ему пить.

— Час! — ответили ему весело. — И накормим, и напоим!

Кровать поставили наискось на попа, так что Чушка на ней стал стоя, прикрученный веревками. Это для того, чтобы всем его видеть. И чтобы он видел нас. А уже по тому, как он жмурился и моргал, можно было понять: он медленно трезвеет и начинает нас различать.

— Чушка! — крикнул ему Бесик прямо в лицо. — Слушай, Чушка! Где Корешок? Где его схоронили? Ну?

Чушка выругался и постал нас подальше.

Нет, не зря он работал в лагерях, закалка у него была крепкой. Даже слишком крепкой.

Шахтер поднес головешку к его лицу, но вовсе не для того, чтобы поджечь. Он хотел заглянуть ему в глаза. Но Чушка плюнул на головешку и рывкнул:

— Ублюдки! Недоразвитые! Цуцки! Говноеды! Я всех вас в зону! Всех к вышке... У меня... Всех!

Бесик достал гирию и, взвешивая ее на ладони, предложил:

— Хотите, я ему блин из рожи сделаю? Чтобы замолчал?

— На надо, — сказал Мотя. — Он тогда не увидит ничего.

И тут «спецы» приволокли поросенка. Поросята у него были в сарае за домом — оттуда теперь неслись визг и крики.

— Бросай в костер, — приказал Мотя.

— Так он сбежит!

— Ноги проволокой скрути!

Поросенка, несмотря на оглушительный визг, связали проволокой и бросили в огонь. Запахло щетиной, бешеный визг поднялся до неба. Чушка закрыл глаза. Но уже тащили второго и третьего...

— Чушка! — проорали ему в ухо, в одно Бесик, а в другое Сверчок. — Чуш-ка-а! Где наш Корешок! Отвечай!

— Там, где вы, выродки, скоро все будете! — выкрикнул он, жмурясь от огня и от мельтешения перед ним наших возбужденных рож.

Лицо Чушки побагровело и стало лилово-красным, как кусок мяса. Вот бы теперь на эту рожу нацепить его же ворованные золотые очки! Жопы в очках! Но нам не до этого было. Мы таскали и таскали из дома что ни попадя: и стулья, и коврики, и посуду, и даже самовар, — и все это кидали в огонь. А другие волокли свиней, орущих, как наш брат «спец» на базаре, когда его бьют. Их бросали живьем в са-мый жар.

Визжали они, конечно, так, что нас не было слышно, я думаю, все Голяки слышали этот визг. Но нас это, как говорят, не колыхало. Нам надо, чтобы слышал Чушка! И слышал, и видел, как гибнет его свиное царство и как они ему, своему свиному богу, его величеству главному свинье, орут о своем спасении!

Ясно, все свиньи не стоили мизинца нашего Корешка! Но наша месть, мы считали, была свмая громкая! Громче, наверное, не бывает!

А когда огонь стал спадать, мы вытащили обугленных свиней из костра и на глазах Чушки стали их раздирать и жрать, вот это был пир!

Пир в память Сеньки Корешка. Он уже теперь никогда не нажрется, потому что умер он голодным.

Шахтер извлек одну из свиных голов, этакое черное хрюкало с открытой пастью и сунул мордой в морду Чушке.

— Жри сам себя, свиное рыло! Целуй свой образ!

Чушка замотал головой и вдруг всхлипнул. Неужто проняло? Но это он просто обжегся. Мы подули на свинью и подули на Чушку.

— Жри, гад! — приказали. — Тебе не привыкать, ты за нас всегда жрал! Так теперь жри за Сеньку, который навсегда голодный! Ну? Хавай, кому говорят! А то силой затолкаем!

Тут кровать опустили так, чтобы можно было Чушке пихать свиное рыло прямо в рот, что и делала Сандра, причем очень старательно. А ей помогал Хвостик.

— Чушка! Ты жри! А то мы уйдем, будешь тогда голодный! — объяснял он.

Кто-то догадался, притащил недопитую бутылку самогонки со стола, остатки ихнего пира.

Прямо из горла стали лить Чушке в горло, и пошло... Он с жадностью пил и пил, пока не откинулся... Тут и свиного уха откусил, что дали в рот... А мы, хоть и рвали свиней на куски, вымазавшись до волос в саже, но смотрели Чушке в лицо, наслаждаясь и свиньями, и его свиной рожей. Мы видели, как он, захмелев, медленно жевал кусок уха, и снова крикнули:

— Чушка! Где наш Корешок? Где его закопали?

Но он уже нас не слышал, не отвечал. Он вдруг стал похрапывать, а когда мы попытались его будить, хлопая свиной ляжкой по щекам, как маленький, завизжал, захрюкал, будто и правда, превратился в поросенка.

Хвостик заглянул ему в открытый рот, вынул недожеваное ухо и спросил:

— А может, Чушку тоже пора закоптить?

Мы посмотрели на Хвостика и переглянулись.

Но вдруг закричала из сарая Чушкина мать, у которой из рта выпал передник.

— Выродки! — орала она и ломилась, прогибая хлипкую дверь. — Вы за все ответите! И за животных, и за моего сына! Я всех вас знаю! Всех отправлю по этапу! В Сибирь!

— Заткните старую дуру, — приказал Мотя, но несколько не сердясь, а даже с какой-то зловещей веселостью. Он обвел нас глазами, вымазанных в свином жире, в саже, еще жующих свиное сладкое мясо. — А кто у нас следующий?

Тут уж мы в один голос заревели, называя кто кого:

— Наполеончик!
— Повариха и Филипп!
— Уж — директор к тому ж!
— Очковая змея!
— Коз-зе-ел!
— «Красный паровоз!»
— Помидор!
— Сиволап!

При упоминании Козла Сандра громко замычала и показала руками, что она готова бежать к нему на расправу.

— До всех доберемся, — пообещал спокойно Мотя, глядя на Сандру. — И до Козла доберемся. Не бойся. Пировать так пировать! Если бы Сенька Корешок видел нас оттуда, он очень бы нас одобрил, правда?

Мы бросили Чушку в его кровати, привязанным во дворе, и стали выходить на улицу. Кто-то из «спецов» волок за собой обгорелого поросенка и бутылку с недопитой сивухой.

Мы, кажись, разбудили кой-кого из соседей. Было видно, как из окошек, не зажигая света, выглядывали, а кто-то даже прокричал угрозу, какую именно, мы не разобрали. Туда, на голос, мы швырнули несколько камней и вмиг их успокоили. Даже окна захлопнулись.

— А чево, — сказал Шахтер. — Уж один раз в жизни и пошуметь нельзя? Пушай знают, что мы тут... что мы существуем... У нас тоже этот... Как его... Голос...

— Сегодня наш голос! Наш! — закричали «спецы». — Сверчок! Где Сверчок? Голоси давай! Пусть поселковые крысы слышат!

Сверчок с разбойным присвистом завел:

Стукнем х... по забору,
Чтобы не было щелей!
Спите матерп спо-кой-но
Прожьем без ма-те-рей!

Все разом подхватили, аж звон в ушах пошел:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много, много раз!

41.

До Наполеончика мы дошли с песнями.

Прорвались в дом, вышибив плечом щеколду, а боевой товарищ начальник милиции залез со страха в подвал, слышав родные голоса, мы его с трудом оттуда выковыривали. Его и связывать не пришлось, как Чушку. Наполеончик ползал на карачках у наших ног и все просил пожалеть семью. Наверное, он решил, что мы пришли его убивать.

Увидев, как он трисит, Шахтер стал искать портупею с пистолетом, но в кобуре почему-то оказалась деревяшка. Шахтер стал показывать всем деревяшку.

— Смотрите! Из чего наши доблестные мильтоны стреляют! — Он приставил деревяшку к своей голове. — Пих-пах, ой, ой, ой! Умирает зайчик мой!

Но тут Бесик заметил на стене охотничье ружье с патрон-ташем. Он предложил:

— А если и правда... сделать пих-пах!

Не знаю, хотел ли Бесик на самом деле стрелять, думаю, вряд ли.

Но Шахтер уже схватил ружье и зарядил его. Он единственный среди нас умел заряжать ружье.

Потом наставил ружье на хозяина и пригрозил:

— Теперь отвечай, падла, где наш Корешок? Где его закопали? Ну?

Наполеончик упал на колени и стал ползать и божиться, что он ничего про Корешка не знает... То есть, он слышал, что какого-то Кукушкина, больного-дистрофика привезли в больницу и он там скончался.

— Значит, дистрофика? — переспросил Бесик, едва сдерживаясь. — А почему Корешок дистрофик, а твой сын не дистрофик?

Жена Наполеончика, Сильва, в домашнем халате, растрепанная, еще сонная, стояла, придерживая Карасика.

А Мотя сказал:

— У меня предложение: мы берем Карасика себе в «спец»! Посмотрим, какой он там будет!

Тут уж Сильва окончательно проснулась.

— Не пуцу! — крикнула она и заслонила сына, который был в длинной до пят рубашке, так они, оказывается, одеваются на ночь. В отличие от нас, «спецовских», ночующих в том же, в чем мы ходим.

— Пустишь, — сказал Шахтер и стал целиться в Карасика. — Если не хочешь, чтобы мы твоего сучонка вот тут прикончили!

— За нашего Корешка!

— Которого вы уморили!

— Но мы... Но мы никого... Правда... — И Сильва заплакала.

— А кто его убил?

— Не знаю.

— Вот видишь! Про нас ты ничего не знаешь!

— А ей нас не жалко!

— Пожалел волк кобылу...

Сильва все плакала, а Карасик в своей дурацкой рубашке так и торчал перед дулом. Ожесточение наше нарастало. Мы им кричали всякие слова и сами при этом распались.

— За что вы нас ненавидите? — крикнула Сильва, вытирая слезы рукавом халата. — Вы же звери! Звери!

— Замолчи, дура! — крикнул ей Наполеончик. — Не видишь, их нельзя злить! Они же такие... — И сам в испуге замолчал.

— Какие это мы? — спросил Бесик. — Интересно?

Лндо у Наполеончика пошло красными пятнами, он шмыгнул носом.

— Какие же? Ты, легавая шкура, отвечай!

— А я вам скажу, какие мы, — произнес Мотя спокойно.

С тех пор как погнб Корешок, и Мотя сидел, рыдая, на дороге, я больше не видел прежнего Мотю, у которого все люди были хорошими. Он стал холодно-жестоким и при этом все время улыбался. Такая странная, не Мотина улыбка с поджатыми до белизны губами, с глазами в упор, как это дуло.

— Так я скажу, какие мы, — повторил он, глядя на Наполеончика и улыбаясь ему. — А мы вот какие: дикари! Мы бешеные! Она говорит правду, мы звери! На нас бы отстрел, охоту затеять с таким ружьем, ведь мы из недобитых! А будь твоя воля, а не наша, ты бы не стал пугать да раздумывать, правда? Ты бы выстрелил? — Мотя улыбался, но губы его дрожали. — Ну, честно скажи... Хоть раз в жизни будь человеком: выстрелил бы? Да? Да?

Мы стояли, сгрудившись, и ждали, что скажет Наполеончик.

Он, конечно, понял, что тут, сейчас, решается его жизнь, жизнёнка... Вдруг стал при нас неистово креститься и повторять:

— Нет! Нет! Ребятки! Милые! Ребятки! Я никогда в жизни! Я же не злодей! Это у меня должность такая, что заставляют... Но сам я никогда!

— Клянешься? — спросил Бесик.

А кто-то добавил:

— Да пусть он Сталиным поклянется, чего он нас на бога берет, которого нет!

— Клянусь, — тут же сказал Наполеончик. — Вот, товарищем нашим дорогим вождем, Иосифом Виссарионовичем!

— И нас не тронешь?

— Не трону!

— Никогда?

Сандра замычала из всех сил, она не верила ни одному слову Наполеончика. Хвостик тоже не поверил, он крикнул: — Серый! Пусть он еще Ворошиловым поклянется! И товарищем Калинин...

— Пусть он матерью своей поклянется, — предложил вдруг Ангел, который был среди нас, но молчал. — Что нас он никогда не тронет!

— Клянусь... Мамой родной... — пробормотал Наполеончик и заплакал, но как-то не по-мужски, сморкаясь и размазывая слюни по лицу.

— Я ему верю, — сжалился Ангел.

А Шахтер опустил ружье, но произнес с угрозой:

— Верю каждому зверю... Медведю и ежу, а ему погожу...

— Ладно уж, — остановил его Мотя, но мне показалось, это он себя так сдерживал. — Пошли поминки делать... Я-то уж знаю, сколько они запасли!

И все поняли, что злость спала, а это как сигнал к празд-

нику, и с легкой душой поволокли на улицу вещи и продукты. Вытащили стол и стулья, разожгли костер. А потом несли и несли всякие соленья из подвала: огурцы, помидоры, яблоки и сваливали в огонь. Конечно, мы еще на ходу дожирали в память Корешка.

А Сверчок сказал:

— Если он смотрит оттуда, он, наверное, облизывается! Ему бы тоже пожрать за счет Наполеончика! Он в огороде тут огурец украл... И то был счастлив...

— А он видит, да? — спросил у меня Хвостик.

— Видит! Конечно, видит!

— Он радуется, что мы жрем? Правда?

— Ну, а как не радоваться! Ты бы обрадовался?

— Я бы радовался, — признался Хвостик. — Только в живот уже ничего не лезет... — пожаловался он. — Вот если бы каждый день так.

— А мы будем теперь шуровать их каждый день! Хочешь?

— Конечно, хочу, — ответил Хвостик. — Мне понравилось их шуровать! А потом праздновать!

Так мы поговорили и при этом сваливали в костер все ихние припасы, чтобы ничего после нас им не осталось. Мы так понимали, что эти, которые против нас, если и не умрут, ползая по полу, то уж останутся голыми, как мы... Мы их Карасиком не зазря страшили, стоило видеть, как они перепугались при мысли одной, что он станет, такой, как мы!

Кем же они нас в таком случае считали?

Выродками? Исчадием зла? Дьявольским наказанием ихнему поселку, ихним городам, ихней столице Москве... Ихней стране?

Я посмотрел в щель, но опять ни насыпи, ни бугра не стало видно. Поняв, что смотреть пока нечего, снова повернулся к Бесику и Моте.

Я подумал о Моте: не может быть, чтобы полеживал он со своей берданкой и ничего в жизни не боялся, а мы боялись. Вот юмор, что это тот же самый Мотя, который считал людей такими хорошими и слыл любителем птиц, он всех их по Брему знал назубок, чесал наизусть, а однажды из пасти у кошки вырвал птенца. Может, он думал, что Наполеончик с рассветом выйдет перед сараем и крикнет миролюбиво, мол, хватит, ребятки, валить дурака, пошутковали, а теперь лапки вверх. Выходите, мол, а я, как обещал, ничего вам дурного не сделаю.

Тут я заговорил, чтобы не молчать.

— А вот в Историн написано, как эти... Шумеры жили, они вроде первые на земле...

Все молчали, но, кажется, слушали.

— ...У них там на глиняных дощечках нацарапано про начало и конец мира... А на одной дощечке они даже стихи такие написали: про жалость...

Никто на мои слова не откликнулся. Лишь Сандра промычала и потерлась щекой о мое плечо.

А я подумал: мама родная, воевали эти шумеры, а писали стишки какие-то о жалости... «Жалобная песнь для успокоения сердца»... Они... самые первые в мире... Но сейчас я еще подумал, что писали бы о войне или о Боге, ну понятно... Их там, как нас в сарае осаждали. А потом подожгли... Только эти дощечки не горят, они потому и сохранились, что от огня еще тверже стали! Но ведь сами-то шумеры погибли, никакая глупая жалость, никакие стихи им не помогли.

Такая вот поучительная история. А все о том, что сила в этом мире — главное, а не ихние сантименты, которые никому не нужны. Это мы вчера Наполеончика пожалели, а вот пожалеет ли он нас, неизвестно.

Впрочем, известно. Об этом и Маша голосила, что не пожалеет... Да я и не об этом... Я о том, что пропадем мы тут, как те неведомые шумеры, и даже на дощечках не останемся, кто мы такие, как жили и как умерли.

А ведь мы тоже народ, нас миллионы бросовых... Мы выросли в поле не сами, до нас срезали головки полнозрелым колоскам... А мы, по какому-то году самосев, взошли, никем не ожидаемые и не желанные, как память, как укор о том злодействе до нас, о котором мы сами не могли помнить. Это память в самом нашем происхождении...

У кого родители в лагерях, у кого на фронте, а иные, как крошки от стола, еще от того пира, который устроили при раскулачивании в тридцатом... Так кто мы? Какой национальности и веры? Кому мы должны платить за наши разбитые, разваленные, скомканные жизни... И если не жалобное

письмо (песнь) для успокоения собственного сердца самому товарищу Сталину, то хоть вопросы к нему.

Вопросы-то задать можно, чтобы не совсем безнадежно слепыми уйти из этого мира, отдавая концы!

А то, что мы обречены, я, как и остальные Кукушата, не сомневался. Сейчас ли, потом... Крикнуть бы на весь мир, проголосить, чтобы вздрогнули, как от наших песен, в своих теплых кроватках поселковые и опомнились, и тихо спросили друг друга... И пришла бы к ним такая элементарная мысль: да что же мы творим, братцы, мои, что губим мальцов, подросток наш, который и есть наше будущее?

Бесик сказал вдруг:

— Значит, они все поняли... Эти...

— Шумеры?

— Неважно. Шумные или какие... Они поняли, что мир недолог, как ни пой, а придут вот такие легавые и все порушат... Вот тебе и конец мира...

Ангел вдруг голос подал:

— Письмо надо товарищу Сталину написать! И закопать! Он придет и найдет... И все узнает!

— Заткнись! — прикрикнул на него Бесик. — Менты услышат... И уже мягче: — Чего рассиропился... Письмо, письмо... О чем письмо-то? И на какой глине ты собираешься его писать? Разве что детем на сарае?

Сандра промычала, она была согласна с Бесиком. Да и так понятно: мы не древние люди, чтобы писать о жалостливых слезах, которых у нас нет. А о злобе и писать не стоит. А у нас одна злоба осталась. Да еще озверение против всех: против легавых, против поселка и против других поселков! Да против ихнего мира вообще. И нас как бешеных собак, Сильва-то права, права, нельзя выпускать из этого сарая... если по правде. Мы нелюдь, зараза, мы чумные крысы, которые могут перекусать всех, кто попадется им на пути.

Это я представил себя так со стороны и всех остальных Кукушат представил. И я понял, что только так могут про нас всех они думать. Тс, что вокруг сарая, да и весь поселок, и весь остальной мир...

Кроме товарища Сталина в Кремле.

Он один так думать про нас не может, потому что он друг всех советских детей. Не зазря мы ему телеграмму дали.

Вот получит он ее и придет. Скажем, из Москвы на товарняке или еще как. А рядом с ним его соратники-большевики. Посмотрит товарищ Сталин, что нас тут в сарае за крысятников держат, и брови нахмурит. И спросит он Наполеончика, медленно выговаривая слова, как в кино, которое мы смотрели:

— А что у вас тут, товарищ капитан милиции, происходит? Можно попросить выпустить из сарая дорогих советских детей, я как их лучший друг хочу на них посмотреть. Они ведь мои друзья! Разве я не говорил об этом?

И тут мы бы все вышли. Бросились бы к нему, родному отцу и учителю, лучшему другу советской детворы, и хором закричали... «Дорогой наш вождь и учитель! — так бы мы закричали. — Да мы же свои! Свои! Мы со всем советским народом боремся с проклятыми фашистскими захватчиками, а это вот они, менты разные, нас врагами перед тобой и перед другими представляют. Они хари свои свиные, дорогой товарищ Сталин, тут на тыловых харчах развели, а теперь еще и над бабками да над детишками, что осиротели, измываются, а нет, чтобы на фронт идти вместе со всеми фашистов проклятых бить... А про нас они хотят сказать, но ты не верь, будто все тут собрались враги, раз дети врагов народа. Над нами, голодными да вшивыми, измываются и всем про нас врут...»

Впрочем, нет, про вшей и про голод мы не станем ему говорить, он и без того знает, что всем трудно и все, все, даже он сам, сидят на голодной пайке. А по ночам он снимает свой френч и смотрит, много ли в складках насекомых... А если много, то огорчается и, надев очки... Но могут ли быть у великого вождя и учителя очки?! В общем, бьет их ногтем, а к утру, облегченно вздохнув, тот френч надевает и спешит к Мавзолею на Красную площадь.

Выслушает нас товарищ Сталин тут, у сарая, и задумается. Обо всей советской беспризорнице будет думать свои великие мысли. И даже знаменитую трубочку раскурит. А потом прищурится, ткнет мундштуком в Наполеончика, будто приделится в него, и скажет просто и ясно, как умеют говорить лишь вожди, выделяя каждое слово, поскольку каждое из них драгоценно.

— А почему, объясните всем товарищам по партии и нашему народу, вы держите дорогих наших мальчишек и девочек под стражей в этом сарае? Вы, что же, считаете, что дети

должны отвечать за отцов, которые враги народа? А дети за отцов, будет вам известно, товарищ Наполеончик, не отвечают. Они наше будущее... И молодежь надо выращивать бережно, как садовник выращивает облюбванное плодое дерево... Или вы, товарищ капитан, иначе смотрите на воспитание нашего будущего поколения?

— Да что вы, товарищ Сталин! Я лично, как вы... Я так и думал! — завопит Наполеончик, соврав самому товарищу Сталину и его Политбюро, потому что не привык не врать. И в доказательство своей верности и любви к советским детям он не только выпустит нас, но еще исполнит этакую резвую детскую классическую песенку:

Птичка над моим окошком
Гнездышко для деток вьет,
То соломку тащит в ножках,
То нушок в носу несет...

Приторно причмокивая, прихихикивая и взмахивая руками, будто он и есть эта божья птичка. А закончит уж совсем энергично на мотив лезгинки:

На заборе птичка сидела
И такую песенку пела.

И джигитом пройдет перед товарищем Сталиным и перед нами, потрясая своим толстым животом, даже не замечая, как он вспотел.

— Ну, ладно, ладно, — с прищуром произнесет товарищ Сталин и кивнет товарищу Буденному и товарищу Ворошилову, с молчаливым интересом наблюдающим эту комическую сцену. — А вы, Климент Ефремович, проследите, чтобы никто в поселке не смел обижать наших детей, верных помощников партии и будущих защитников Советской Родины. А вот Семен Михайлович, — это уже Буденному, — пусть поможет товарищу капитану милиции и его молодцам («молодцам» вождь произнесет с мудрой усмешкой) поскорей и добровольно попасть на фронт, где как раз необходимо пополнение. И дайте им лошадей, не жалейте, пусть они совершают подвиги. У нас в стране всегда есть место подвигу. Тем более что наше дело правое, и победа будет за нами!

И тут, набравшись смелости, мы бы все подробно рассказали про себя нашему родному отцу и учителю, вождю мирового пролетариата, а в конце тоже попросились бы на фронт... Только в другую часть, где не будет Наполеончика. А лошадей мы бы попросили отдать нам, ведь легавые воевать не умеют и обязательно их угробят.

42.

Оставив Наполеончика и законно считая, что он теперь для нас опасности не представляет, мы двинулись исполнять свой список. очередь была до неба и дальше.

Все рвались в больницу, к Очковой эмсе, но Мотя стал отговаривать нас, считая, что мы лишь напугаем больных, а врача там все равно нет. И правда, когда пришли, оказалось, он среди всех единственный понял, чем это пахнет, и скрылся с глаз.

Тогда Мотя сказал:

— Мы должны найти Козла... А потом этих... Из ресторана.

И Сандра тут же рванулась вперед, мы едва за ней поспевали. Она-то уж точно помнила, где проживает этот Козел, улицу и дом, что неподалеку от станции.

Мы с ходу овладели домом, вдребезги разбив окно, а потом вышибли и дверь.

Козла мы подняли с постели в чем он был: в кальсонах и рубаше. Но поперву он оставался спокоен, хотя несколько раз растерянно повторил: «Ну, разбойники... Ну, пираты...»

Тогда мы ввели в комнату Сандру, чтобы она увидела в лицо своего насильника.

Бесик спросил:

— Узнаешь?

Сандра задрожала, завидев Козла, представшего перед ней в исподнем. И он вдруг испугался. При виде нас он не испугался, а Сандру испугался, побледнел, даже свои красивые губы стал от волнения кусать и бородой трести.

Шахтер сказал Сандре:

— Вот тебе ружье... Делай с ним, что захочешь... Пока мы наведем порядок.

Все ушли жечь мебель и рушить его дом. Только я, Бесик да Мотя не стали уходить, чтобы не оставлять Сандру с Козлом одну.

Она стояла с ружьем и вся тряслась, глядя ему в глаза. И вдруг швырнула ружье на пол, завывала, закричала, закрыв

лицо руками. — мне от ее крика стало больно в груди.

Мы подхватили ее и увели на крыльцо. Потом вернулись к Козлу.

Бесик приказал ему снять кальсоны. Козел стал сопротивляться. Я и еще трое Кукушат — Мотя, Шахтер и Сверчок, а потом еще и Хвостик — повалили Козла на пол и наголо раздели. Потом подняли, дотащили до дверей и продели его мошонку в дверной проем. Мы не стали делать ему больно, мы же не садисты какие. Мы просто заперли дверь так, что яйца его оказались наружу, и ему придется до того времени, когда его отопрут, стоять по стойке смирно.

Конечно, он кричал. да мы уже на крики не обращали внимания. Мы ведь тоже им кричали годами, пока жили в Голяках! Прямо в уши кричали, они-то нас не слышали! Мы заперли дверь, где торчала козловская мошонка, на замок, а ключ принесли Сандре. Она сидела, чуть успокоившись, на крыльце и смотрела на костер, где полыхали вещи Козла.

— Вот, — сказала ей Бесик и отдал ключ. — Больше он никогда никого не тронет!

Сандра кивнула, осторожно взяв ключ, и тут же, будто обожглась, швырнула его в огонь. Мы навсегда покинули этот дом, уводя Сандру, под дикий вой Козла.

Остаток ночи и все утро мы проискали повариху и Филиппка, но, как оказалось, они покинули поселок и уехали в неизвестном направлении.

Тогда мы дошли до почты в одном из барачков у станции и написали телеграмму товарищу Сталину. Мы написали так: «Дорогой товарищ Сталин, приезжай скорей в Голятино, мы тебя ждем. Кукушата».

А женщина на почте, молодая, молчаливая, все лицо у нее было в крапинах, посмотрела на нас странно и спросила:

— Какой адрес?

— А у Сталина разве есть адрес? — спросили мы, в свою очередь.

— Ну а как же, — отвечала она. — Он же где-то живет.

— Он в Кремле живет, — пояснил я. — Но туда не пускают.

Мы дописали в телеграмме слово «Кремль». И женщина сказала:

— Вот теперь нормально.

— А дойдет? — спросил Хвостик, сияя глазами. — Правда, дойдет?

Женщина посмотрела на него и вздохнула.

Мы ушли в свой «спец» и легли там прямо на полу спать, потому что устали.

А проснулись в сумерках оттого, что услышали снаружи голоса и сразу поняли: нас окружают и собираются брать. Слышней всех был голос Наполеончика, а еще горланили другие менты и сторож наш, который объяснял, где нас теперь искать.

Но пока криворотый сторож им мямил, а он из тридцати трех букв тридцать не произносит, мы тихо проползли по полу в дальний конец здания, выпрыгнули в окно и нырнули в кусты.

Я уже тогда понимал, что будет гон, они ведь сразу поймут, что мы удрали. И я сказал Хвосту:

— Слышь, Хвостатый! Оставайся здесь! Я за тобой приду!

Он захныкал, стал проситься со мной.

— Оставайся! — шепотом прикрикнул я. — Они увяжут за нами, а ты уцелеешь, понял? А когда мы выскользнем, я вернусь за тобой...

А Бесик рывкнул:

— Нечего разводить лясы. Раз обещасм, значит, придем. Ну?

Хвостик тихо заплакал.

— Серый, — попросил он. — Не бросайте меня... Не бросайте!

— Не бросим!

Я тогда верил, что мы правда выскользнем из рук этих ментов, мы же быстрее их да и лучше знаем местность, все кусты, все закутки наши. Мы, конечно, не рассчитали, когда забрались в этот сараюшко, что они так быстро догадываются и нас здесь окружают.

Знали бы, рванули за реку в лес, а там уж нас ищи как ветра в поле.

Но вдруг я подумал, что мы не смогли бы миновать этот сарай, куда бы мы ни бежали. Он обязательно встал бы на нашем пути. Сарай нам был назначен самим Господом Богом. Вот что я понял сейчас.

— Идут,— сказал Мотя спокойно, прервав мои мечтания. Мы все прильнули к щелям.

Опять стал виден бугор, а за ним оживленное шевеление людей, как бывает перед атакой. Легавые скапливались кучками, были видны лишь их согнутые спины.

— Мальбрук в поход собрался! — произнес Шахтер и закашлялся, сердито сплюнув на пол.

Никто не засмеялся, но все знали, что с тем Мальбруком в походе стряслось. Наши легавые храбрецы не лучше, это мы своими глазами у Наполеончика увидели. Но в них ли дело? Это уже и не они, а весь поселок против нас ополчился, а может, и другие поселки.

И те, что за лесом, и в Москве.

Все, кроме товарища Сталина, который, наверное, не успел получить нашу телеграмму и потому не приехал. Но он, может, еще придет. Остальные же в сговоре с легавыми, и потому они были нашими врагами.

Я спросил, но уже громко, скрываться и таиться не имело теперь смысла:

— Моть, ты думаешь, они пойдут в открытую?

Он ответил, но совсем не на мой вопрос:

— Я бы пальнул, если бы достал! Да ведь не достану!

В этот момент они и выстрелили. А мы успели им один раз ответить.

Мотя стал заряжать ружье, но вдруг уткнулся в него носом.

Бесик ему крикнул:

— Стреляй! Ну, стреляй!

Он еще не понял ничего. А Шахтер понял, взял ружье и почти зарядил, но вдруг завалился на бок, будто поскользнулся. Мне показалось даже, что он виновато усмехается: вот, мол, досада, в самый-то момент!

Шахтер упал, потом поднял голову, хотел что-то сказать, но сплюнул на пол и затих.

Тут до меня дошло, что стреляют в нас залпами, сарай сразу превратился в решето, от досок летели щепки.

Я хотел Кукушатам крикнуть, чтобы не вставали, но в это время закричал Ангел, схватившись за голову, повторяя одно и то же: край, край... И упал. Над ним склонилась Сандра. А Бесик трясущими руками стал вытаскивать ружье из-под Шахтера и никак не мог его вытащить. А когда вытащил, пошел прямо к выходу, ногой отпихнул дверь и встал, чтобы лучше целиться в легавых, которые еще сидели за бугром. Но Бесик почему-то не выстрелил, а так и продолжал стоять с ружьем, странно раскачиваясь, а потом опустился на колени и прилег, сжавшись в комок.

Я бросился к нему, даже успел сделать два шага, вдруг меня с силой толкнуло в грудь. Я не удержался и упал, все удивляясь, как случился такой странный непонятный удар, что я упал. Я захотел приподняться, но почему-то не смог... Сунул руки за пазуху, нащупал свою Историю, она была в крови.

Я закричал Сандре:

— Поджигай сарай! Они все равно нас убьют!

Сандра чиркнула спичкой, но спичка сломалась. И вторая сломалась. Тогда коробок взял Сверчок. И он что-то долго копался, присев на корточки в углу.

— Ну, чего он! — крикнул я разозлившись. — Пусть зажжет!

Сандра подошла, не прячась уже от пуль, к Сверчку, тронула его за плечо рукой, и он отвалился навзничь.

— Поджигай же! — закричал я, у меня почему-то пропал голос, а во рту стало горячо и солоно.

Вот тут и появился Хвостик, откуда он взялся, ума не приложу. Кругом менты, а он подкопался под сарай, да ему, наверное, и копать-то не надо, он же в любую дыру проникает. Не знаю, так ли я думал или нет, стало ясно, что Хвостик здесь, с нами, а значит, поджигать сарай нельзя.

И я крикнул, аж во рту забулькало:

— Не... надо... Дурачок... Беги!

А он был такой сияющий, такой счастливый, что он нас нашел.

— Серый! Серый! — закричал мне. — А я вас нашел! Правда!

— Уй-и-и... — только и смог я произнести вместо «уйди». В глазах у меня все поплыло, и моя История, разбухшая, потяжелевшая, давила мне на грудь, не давая дышать. Я захотел ее вытащить и не смог.

Но я еще видел, я видел, как Сандра вдруг схватила Хвостика и, загораживая его собой, бросилась к двери...

Этим показывая ментам, чтобы не стреляли, что она не сама по себе, а с Хвостиком.

Она сделала несколько шагов от сарая, и вдруг я услышал ее голос. Не мычание, а именно голос. Она повторяла одно слово:

— Жа-ло-сть! Жа-ло-сть! Жа-ло-сть! Жа...

И упала. Рядом упал Хвостик.

Стало тихо.

А может, и не тихо, потому что зеленел луг, сверкало солнце, и прямо по этому лугу мы шли, взявшись за руки, и пели свою песню.

Там вдали за рекой
Раздается норой
Ку-ку... Ку-ку...
Ку...
Ку...

Никак не мог вспомнить, как же мы еще пели.

Там вдали... Там вдали...

Но это неважно. Вовсе неважно, потому что день этот самый счастливый, потому что он родительский. И кто-то кричит: «Приехали! Приехали!» И какие-то люди машут нам радостно, они бегут к нам навстречу... Я всматриваюсь в них... Ах, какая жалость, что глаза не видят, а мне так надо их увидеть! Разобрать их лица! Кто он? Кто? Кто?

— Ма-ма! — кричу я изо всех сил. — Вы пришли, да? Вы меня любите? Вы меня, правда, любите?..

ДОНЕСЕНИЕ.

В областное Управление НКВД.

Докладываем, что в районе поселка Голятьино и узловой станции особо важного направления Голятьино оперативной группой поселковой милиции обезврежена группа особо опасных преступников, рецидивистов-подростков, совершивших разбойные нападения на отдельных граждан поселка. В ходе задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем сотрудниками милиции было применено оружие. Все преступники в количестве восьми человек уничтожены.

ЭПИЛОГ

Происходил юбилей полковника милиции в отставке Анаголия Петровича Кучеренко.

На Малой Грузинской в обширной квартире юбиляра, которому в день 16 сентября исполнилось шестьдесят, собрались дорогие его сердцу люди: дети, близкая и дальняя родня, сослуживцы по бывшей работе. Приехал из дальних мест сын Алешка, проходивший службу в пограничных частях, неженатый до сих пор, пришла и младшенькая, родившаяся после войны дочь Алена с внуком Костькой, любимцем в этом доме. С мужем Алена была в разводе.

Сидели в гостиной плотно. Лучший дружок со времен службы в Голятьино Петр Евстигнеевич, крупный, видный собой мужчина, поднял тост за суровую молодость нашего юбиляра, которая хоть и прошла в тылу, на войну его, как ни просился, не взяли, да ведь и тыл был не легче, в ту пору много всякого выпало на их долю: и дезертиров, и бандюков, и хулиганья... Досталось, словом.

Все подняли рюмки и выпили.

— А он у нас и сейчас боевой, — произнесла с чувством Алена и поцеловала отца в щеку.

Жена Сильва добавила, рассмеявшись:

— Воюет с сорняками... На даче! Вот какой боевой! Зато клубники десять грядок! На всю зиму варенье, а Костьке — витаминки!

— Перестань, — сказала дочка. — Наш папка хоть куда. А дед... Лучший в мире дед! Таких дедов поискать!

В это время позвонили в дверь, принесли телеграммы.

Их принял Алексей, выходявший покурить, но сам читать не стал, известно, что пишут в юбилей, а передал племяннику Костьке, который и доставил их в застолье под общий гул одобрения.

Первую телеграмму прочел громко Петр Евстигнеевич, текст был в стихах, празднично-игривый, составленный бывшими сослуживцами. Звучал он так: «Смотри веселее в день юбилей, и мы будем чуть здоровее, так сразу за твои шестьдесят примем шесть раз по сто пятьдесят, всяческих тебе благ и здоровья, до ста лет жизни на радость друзьям и близким».

Вторую прочла дочка Алена сперва про себя, но ничего не поняла, и повторила вслух: «Поздравляем ждем Кукушата».

— Кто это, пап? — спросила недоуменно.

— Кто? Кто пишет? — поинтересовалась Сильва, вернувшаяся из кухни, начала она не слышала. Она принесла огромное блюдо жаркого и собиралась поставить перед гостями, для чего пришлось расчищать от закуски середину стола.

— Какие-то Кукушата поздравляют и ждут, — произнесла весело Алена. — Только непонятно, куда это они идут!

Выражение счастливой легкости исчезло с лица Сильвы. Она взглянула быстро на мужа, ставшего вдруг бледным, энергично потребовала к себе телеграмму.

— Давайте-ка ее сюда.

Алена передала листок сидевшему рядом Петру Евстигнеевичу, но тот задержал телеграмму, вертя ее так и сяк. И вдруг сказал:

— Это ведь те, которые... Тогда...

— Какие те! — воскликнула нервно Сильва. — Тех нет! Нет! Они давно умерли!

— Папка, кто умер?! Мама! Что случилось? — спросила, расстраиваясь, Алена.

Но ей не ответили. Отец сидел, будто окаменев, в подвыпивший Петр Евстигнеевич продолжал изучать телеграмму, и все теперь на него смотрели.

— Отправлено сегодня, — сказал он. — Из Голытинова... Но почему «ждем»? Кто «ждет»?

— Господи! Ведь это шутка! Шутка! Разве не понятно! — в сердцах произнесла Сильва и хлопнула блюдо на стол.

— Ну, ясно, что шутка, — повторил за ней и Петр Евстигнеевич, но как-то деревянно, без энтузиазма. Остальные молчали.

— Хотел бы я узнать, кто так... шутит... — медленно, вразяжку выдавил из себя Анатолий Петрович, откинувшись на диване и пытаясь вдохнуть полной грудью воздух. Лицо его теперь побагровело. — Но я узнаю! Узнаю! Они у меня...

Он выхватил телеграмму из рук Петра Евстигнеевича и сунул ее в карман.

— Нечего узнавать, — отрезала Сильва. — Дураков много. А на всех дураков не хватит кулаков! Давайте-ка горяченького... И выпьем мы за Костю! Нашу радость и наше счастье!

— А сколько сейчас ему?

— Шестой! На будущий год в школу пойдет!

— Выпьем! Пусть учится без хвостов!

Гости оживились, стали пить, но Анатолий Петрович даже на этот совершенно замечательный тост отреагировал странно, при упоминании о «хвостах» он вздрогнул, поднялся и вышел. Его отвели в спальню, чтобы привести в чувство, и больше он не появлялся.

А юбилей по инерции еще продолжался, но как-то смято, по нисходящей, и через час самые засидевшиеся из гостей попрощались и разошлись по домам.

Спал юбиляр беспмятно, приняв снотворное, и проснулся лишь к обеду следующего дня. А проснувшись, сразу достал из кармана бренок вчерашнюю телеграмму. Спокойно перечел ее, положил на стол и прошел на кухню, чтобы попить воды. Потом стал одеваться. Сильвы дома не оказалось, ушла в магазин, а может быть, уехала к Алене с Костюшкой. Но в доме было прибрано, посуда помыта, а столы и стулья расставлены по своим местам. У сына Алешки тоже были в Москве дела.

Анатолий Петрович собирался с твердым ощущением того, что он знает, что будет делать. Телеграмму он сунул в карман, а на клочке написал Сильве записку, где сообщал, что ненадолго уезжает, к вечеру будет дома. Пусть она не беспокоится, чувствует он себя хорошо.

На вокзале ему повезло: электричка на Голытиново, ходившая трижды в день, отправлялась через двадцать минут. Неизвестно, как бы он поступил, если бы этой электрички не оказалось. Наверное, вернулся бы домой и на этом успокоился.

Но поезд стоял, и он, купив билет, сел в вагон, не ощущая ничего, кроме нервного озноба, холодившего спину. Дорогой он не читал, хоть достал из ящика свежую газету, а глядел в окно и о чем-то думал.

Станцию узнал сразу, хоть не приезжал сюда десятки лет, все было, как прежде, даже бараки; надписи, правда, той, что из песни, на них уже не было, зато на каждом доме отдельно висели какие-то лозунги, что там написано, он не разбирал.

И почта оказалась на своем месте.

Он терпеливо выждал, пока какая-то старуха получит пенсию, и обратился к молодой девушке, лицо ее было сплошь в золотых веснушках.

— Это послано из вашего отделения? — И протянул телеграмму.

Девушка взяла в руки листок, глянула мельком и сразу ответила:

— Да, это от нас.

— А вы не помните случайно, кто посылал?

Девушка перечла текст, шевеля губами, и посмотрела на спрашивающего: глаза у нее были спокойные и голубые.

— Помню, это же было вчера. А я дежурила.

— Кто же? — спросил он, перегибая через барьер и же-

лая лучше расслышать. Но вышло это у него как-то судорожно.

— Дети, — просто ответила она.

— Дети? — переспросил он тупо. — Что за дети? Откуда?

Девушка пожала плечами.

— У вас тут что — колония?

— Какая колония? — удивилась, в свою очередь, девушка. Она задумалась, наморщив лоб, добавила: — Их было восемь... кажется... Да, правильно, восемь. У них странные такие имена, они хотели даже их поставить, но не поставили.

— Какие? — спросил он очень громко. — Имена какие?

— Я не запомнила, — ответила она с виноватой улыбкой и вернула ему телеграмму. — Вот самого маленького они называли как-то чудно... Хвостом, что ли...

— А девочка? — спросил он, не слыша уже себя. Хотя понимал, что не надо ему этого спрашивать. — Девочка? Была?

— Да. Была и девочка. Мне показалось, что она... вроде некая...

Он повернулся и вышел. Опомился, лишь оказавшись далеко за поселком на пустыре. Он узнал этот пустырь, но не удивился, именно здесь все тогда и произошло. Правда, сараи того самого уже не было, его, кажется, спалили вскоре, да кусты выросли там, где сидели они с друзьями в ложбинке, знобкой ночью, карауля преступников.

Он присел на зеленый бугорок, озираясь и приходя в себя. В голове почему-то прокручивались одни и те же слова из праздничной телеграммы от сослуживцев: «Гляди веселее в день юбилея»...

Наступали быстрые осенние сумерки, становилось прохладнее, от земли, от травы повеяло сыростью. Надо было бы подняться да уходить, бежать скорей от этого опасного места, но странное состояние охватило его. Удерживал себя, будто чего-то ждал. И они появились, именно оттуда, от того места, где был сарай, и стали отчетливо видны, все восемь человек, и впереди, как он и предполагал, все та же великовозрастная девочка с мальшом за руку.

Она выскочила из сарая на них в то утро, крича какое-то непонятное слово... То ли «помогите», то ли «спасите»... Он уже потом сообразил, что некая-то вовсе никакая не некая, а от страха забыла о своей симуляции и все, что надо ей, вспомнила... Ну, а в момент, когда она вдруг появилась, держа за руку малыша, и пошла, побежала прямо на них, он с перепуга, совершенно необъяснимого, выпустил в нее. В них целую обойму своего «ТТ», ненавидя ее да всех их за этот суеверный, охвативший его страх.

Он и теперь их боялся и ненавидел, потому и пришел, что ненавидел, они все еще были и мешали ему жить, не желая отправиться в положенное им небытие. Нарушая все возможные законы, они посмели вновь появиться и позвать его на встречу!

Ну, да он-то теперь не таков! Нет, не таков!

Вудто помешанный, с блуждающими от гнева глазами, наблюдал он за их приближением и уже привычно правой рукой шарил в поисках оружия, чтобы на подходе в упор достать их, изничтожить навсегда.

Но в какой-то момент так ясно, что ясней не бывает, вдруг увиделось ему, что рядом с немой девочкой шагает его внучок Костик, улыбаясь во весь рот той дивной, неповторимой улыбкой доверчивой, что делала деда навсегда счастливым.

— Хвостик... Костик... — подумалось. И далее почему-то только одно: «Это конец».

Все в нем онемело, особенно щеки и шея, в сердце стало пусто и холодно, оно несколько раз стукнуло, будто стрельнуло вхолостую, и замолкло.

А группа гуляющих подростков, среди них и правда была девочка с братишкой, прошли мимо, они возвращались из кино, никто из них не обратил внимания на сидящего в странной позе старого человека, будто окаменевшего от долгого ожидания, с остановившимися глазами пьяного безумца. Но мало ли алкашей перебивало тут! Дети давно к ним привыкли!

Его нашли на второй день, врачи в местной больнице констатировали смерть от инфаркта.

Похороны были скромные. Родные решили похоронить его для своего собственного удобства тут, в поселке, на родине, где прошла его боевая молодость и первые лучшие годы жизни.

Могила со звездой, крашенную в серебристый цвет, вы сможете увидеть еще и сейчас, если попадете на старое Голытинское кладбище, которое собираются теперь сносить и, наверное, скоро снесут. Тут скоро будут стоять жилые дома.



Константин
ВАНШЕНКИН

Поцелуй

Я еще смотрел, как сквозь туман,
Был слегка зажатый,
Но уже тогда крутил роман
С пионервожатой.

Через месяц в армию идти
В предрассветном дыме,
По снежку... Дальнейшие пути
Неисповедимы.

Залепляла губы — не горюй! —
Словно сладким кляпом.
Впрочем, мы считали поцелуй
Пройденным этапом.

Костюм

Мне мать, куда был я на войне,
Костюмчик довоенный сохранила,—
Еще прилично выглядел виолет,
Лишь пятишник на лацкане чернила.

Но, мама, ты, признаться, не права,
Смотри, каким я сделался в разлуке:
Короткие, по локоть, рукава
И куцые, по шиколотку, брюки.

Я в нем смешон, я попросту пелен,
И не привыкну даже поиемиожку.
Могла давно сменять его на хлеб
Или по крайней мере на картошку.

Шаламов

Варлам Шаламов,
Приятель сырых,
Не со ста граммов,
Как на шарнирах

Бредет с обидой,
Отнюдь не кроткой,
Своей разбитой
Вконец походкой.

Взгляд гордо вскинув —
Что ж, так устроен,—
Он, как Мартынов,
Высок и строен.

Душа не тело —
Горит от шрамов.
Такое дело,
Варлам Шаламов.

Себя омою
Той Кольмою,
Его бедою —
Святой водою.

Слуцкий

I
Как Пушкин в Болдине — вот так
Писал количественно Слуцкий
Всегда, и даже средь ватаг
Поклонников, на всякий случай

Он не жалел на это сил,
Но, и теряя время даже,
Ни одного не пропустил
Собрания или вернисажа.

Ему не требовались, нет,
Экскурсоводы пли гиды.
Не пропустил за жизнь мюзт
Премьеры или панихиды.

II
Вновь читаю Слуцкого подборку
Ночью, на завьюженной версте.
Многие пошли уже под горку,
Слуцкий до сих пор на высоте.

У меня такое впечатление,
Логике жестокой вопреки,
Что еще другое поколение
Новые прочтет его стихи.

Он великим был чернорабочим,
У него невиданный задел.
Он еще к тому же, между прочим,
Кой-кого и за душу задел.

Знаю: что случилось — не поправить
Но потом искусило судьбой.
Боря, я хочу тебя поздравить,
Восхититься искренне тобой.

Просто удивительно: у Бори,
Как всегда его я называл,
Столько скрытой горечи и боли,
И дойные бьющих наповал.

Беспримерный Слуцкого феиомей:
Уймы строк, и автор в их кольце.
Боря, я хочу набрать твой номер,
Помнишь, тот, с добавочным в конце?

☆☆☆

Боже мой, наш российский срам —
На душе остается шрам:
И Цветаева по чужим углам,
И Ахматова по чужим углам.

Как теперь говорит: бомжи!
От себя хоть бегом бежи
Посредине побитой ржи,
И печали такой и лжи.

☆☆☆

Поразительное дело —
И об этом горестная речь:
Человеческое тело
Остывает быстро, словно печь.

Только что пылало жаром,
Но прервался длительный полет,
И оно, по всем законам старым,
Стало холодно, как лед.

Нет ни сходства, ни приметы.
Будто бы цена тебе — нятак.
В мирозданье многие планеты
Умирают так.

Женский баскетбол

В жизни выбрав баскетбол,
Увлеченные подруги

Гулко бьют мячами в пол,
Элегантно-длинноруки.

Пот струится по лицу
У недавней недотроги.
Вот бросают по кольцу,
Откровенно длинноноги.

Замерев перед прыжком,
Попадают, хорошея.
Вновь стоят они кружком,
Вытирая лбы и шен.

Тренер многим по плечо,
Слов расходует излишки.
Сверху нышут горячо
Их побритые подмышки.

Он напутствует — Вперед! —
Но, как приму цирковую,
Ценю за руку берет
Молодую центровую.

Говорит два слова ей
Ободрения и совета
И к скамеечке своей
Отступает, сделав это.

Проникающая любовь

Поинаправсу не прекословь.
Что за рвенье!
Проникающая любовь —
Как раненье.

Будто выстрелили в уиор
В душу... Если ж
Ты упорствуешь до сих мор,
То воскреснешь.

Снова счастье невдалеке,
Боль, ошибки.
Но за это на поджаке
Нет нашивки.

☆☆☆

Юноша проявляет чувство
Тоскующими глазами,
Девушка проявляет чувство
Пылающими щеками,
Мужчина проявляет чувство
Решительными руками.
Женщина — всем своим существом.

Облака

Шли, опалив свои бока,
В спящем небе небывалом
На встречах курсах облака,
Потренированные дальним шквалом.

В дневной нездешней красоте,
Что и смотрелась, как чужая,
Они на разной высоте
Текли, друг другу не мешая.

Визу безветрие и зной,
Листка случайного скольжение.
А сверху, в сини ледяной,
Их двустороннее движение.

☆☆☆

Бегло подмазаны губы.
Густо запудренный нос.
Скулы торчащие грубы.
Облачко ломких волос.

Шаль, а верней, полушалок,
Стиранный тысячу раз.
И поразительно жалок
Взгляд нерешительных глаз.

Но, усмехаясь задето,
С ней разделяя жилье,
Может, за все вот за это
Он еще любит ее.

¹ бомж (канц.) — без определенного места жительства.

20

КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ТРИДЦАТОЕ

Александр МАЛЮГИН

В городе Горьком на первомайской демонстрации произошло вот что.

Из стенограммы суда над одним из лидеров неформального движения г. Горького — 23-летним Станиславом Дмитриевским¹. Дело рассматривалось в Канавинском народном суде г. Горького народным судьей Н. А. Воробьевым при участии адвоката И. П. Аксенова.

Судья. «1 мая 1989 года около 12 часов Дмитриевский принимал участие в несанкционированном митинге и шествии на улице Воробьева. При задержании оказал неповиновение».

Дмитриевский, вам известно, в связи с чем вы были задержаны?

С. Дмитриевский. Я не согласен с данной формулировкой.

Судья. Вы признаете свою вину?

С. Дмитриевский. Нет, не признаю.

Судья. Слушаем вас.

С. Дмитриевский. Я думаю, все присутствующие здесь согласятся, что демонстрация трудящихся 1 мая была санкционирована горисполкомом для всех граждан, проживающих в городе Горьком. В Указе (от 28 июля 1988 г. — А. М.), на который ссылаются в протоколе, нигде не оговорено, что на участие в уже санкционированной властями демонстрации нужно получать какое-то отдельное, дополнительное разрешение. По нашему мнению, установление горисполкома (о запрещении отдельной неформальной колонны. — А. М.) незаконно, а следовательно, ни о какой несанкционированной демонстрации речи идти не может.

Если говорить о митинге, то я поясню еще раз, как было дело. На конце Окского моста нашей колонии сказали: «Чтобы вы пошли дальше, надо убрать лозунг «Тбилиси — это геноцид» и флаг (трехцветный российский флаг. — А. М.). Лозунг по требованию милиции был сдан. (...)

Мы считали, что флаг — дело принципиальное, поэтому от дальнейшего участия в демонстрации отказались. Так как дорога была одна, мы пошли по Похвалихинскому съезду на площадь Горького (место формирования колонны. — А. М.), где есть транспортная развязка. Когда мы дошли до поворота, где Похвалихинский съезд переходит в улицу Воробьева, там нас обогнали три, если не ошибаюсь, автобуса, где милиции почти не было, а были неизвестные люди в штатском. Тогда мы тоже остановились и начали сворачивать лозунги. Стас Клоков объявил: «Товарищи, демонстрация закончена, всем спасибо, до свидания, просьба всем разойтись». В это время мы услышали со стороны автобусов в мегафон объявление: «Клоков, прекратите митинг», — хотя никакого митинга не было. И тут мы увидели идущих на нас людей в штатском. По-моему, в милицеской форме были немногие. На меня без предъявления каких-либо документов, без красных поясков и без предупреждения напали два человека (ином я узял, что это были милиционеры). Они взяли меня под руки, дальше я получил два удара в спину — кулаком и ногой, и меня ютащили в автобус. (...)

...Когда же вспыхнула эта «детская болезнь» неформальщины в ранее относительно спокойном, закрытом для иностранцев, сверхсекретном городе Горьком?

Утро неформальной жизни — весна 1988 года. А главное тогдашнее событие — инициативная группа во главе со Станиславом Клоковым организовала политический клуб «Авангард».

Власти особенно не радовались. Бесконтрольная свобода дискуссий, участие в антиждановских, антигастовских (против строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения) митингах — все это приносило «Авангарду» популярность, придавало политклубу некий действительно политический вес, а власть в городе должна быть одна — единая, сильная власть.

Извольте платить за инакомыслие. Станислав Клоков: штрафы за участие в несанкционированных митингах, место историка в ПТУ № 38, партбилет. «запрет на профессию» (пытался устроиться историком в несколько средних школ, но через короткое время документы ему возвращали).

В итоге политклуб лишился помещения, вышибли из ДК имени Ленина «в связи с ремонтом третьего этажа».

¹ Стенограмма выполнена корреспондентом горьковской молодежной газеты «Ленинская смена» Л. Смирновой.

Авангард

Неформальность?



Но вместе с «Авангардом» поднялись уже и окрепли другие демократические организации — «Мемориал», Совет по экологии культуры (СПЭК), Организационный комитет Народного фронта, Демократический союз.

Ну вот, как говорится, колокол «Авангарда» разбудил... Когда в обкоме партии я впервые разговаривал с зам. зав. отделом идеологии Л. В. Казариновой, нутром чувствовал, какую тяжелую ношу несут на своих слабых плечах некоторые ответственные работники аппарата. Разве просто, к примеру, защищать честь мундира, начисто отрицая очевидные факты?

Я: «Как вы оцениваете действия милиции при разгоне колонны неформалов на Первомайской демонстрации, факты избияния?» Показываю фотоснимки, где демонстрантам заламывают руки. «Ну, положим, фактов избияния не было», — игнорируя фотографии, отвечает Лидия Васильевна. «К счастью, кое-кто из неформалов догадался снять побои в поликлинике». «Я сомневаюсь в происхождении этих справок», — вновь уверенно парирует Казаринова. «То есть поддельные, что ли?» «Не знаю». «Но зачем они их подделали, по-вашему?» «Зачем? Чтобы дискредитировать милицию».

И на все последующие аргументы Лидия Васильевна твердила знаменитое станиславское — не верю.

К Л. В. Казариновой я еще вернусь. Она сыграла в Первомайских событиях особенную роль. Но месяцем раньше что-то подобное произошло с секретарем горисполкома В. П. Бабакаевым.

Гласность с марлевой повязкой

После того, как аппарат забаллотировал-таки на окружном собрании кандидата от демократического движения города, молодого ученого Бориса Немцова — в тот момент своего личного «врага номер 1», он, аппарат, мог спать спокойно и видеть розовые сны. Демократическое движение Горького пребывало в состоянии некоторой растерянности. Неумоимо, как и раньше, скрипели «принципиальные» журналистские перья, закрепляя победу властей. Особой прилежностью и старательностью отличались корреспонденты «Горьковского рабочего» В. Бармин и В. Киселев.

Победа?..

Но живучей оказалась «зараза» неформальщины!

15 апреля неформалы начинают на Театральной площади сбор подписей против Указа ПВС СССР от 8 апреля 1989 года.

В недрах горьковской управленческой пирамиды кто-то наверняка сорвал голос. Подняли руку на самого!..

Некий доброжелатель явился, словно с небес, и предупредил Игоря Мугафарова, что «через десять минут вас будут брать». Стас Дмитриевский полез на рожон. Выйдя на центральную улицу Свердлова, он голосом корабейника стал зазывать зрителей на необычный спектакль — «КАК НАС БУДУТ БРАТЬ».

Невидимые, растворенные в толпе работники органов, скрипнув зубами, исчезли.

Тем не менее неформалы решили не выходить на площадь малыми группами. Но «вечный молчальник» Игорь Мугафаров решение нарушил и снова, уже в одиночку, пришел 16 апреля на Театральную.

На нем и отыгрались. Опасного преступника брал лично начальник управления охраны общественного порядка УВД облисполкома подполковник П. Сухомуть. Основание — сбор подписей без разрешения исполкома. Приговор суда, состоявшегося 18 апреля, — штраф 200 рублей. В этот же день на площадь вышли 11 человек.

Взявшись за руки, завязав рты марлевыми повязками (чтобы не обвинили в организации несанкционированного митинга), они продолжили сбор подписей под Обращением. Подъехавший «черный воронок» брать никого не стал, но было сделано предупреждение: выйдете завтра — постигнет участь Мугафарова.

Неформалы решили не отступать, но и столкновений с органами правопорядка никто не желал. И потому на следующий день, утром, они пришли к секретарю горисполкома Виктору Прохоровичу Бабакаеву.

По-отечески выслушав ребят, Виктор Прохорович пообещал: буду самолично к пяти, к началу, никто вас не тронет.

С благодарностью думали о нем неформалы, выходя из цитадели горьковской государственности — старинного нижегородского кремля.

На следующий день к пяти часам они пришли на площадь. Пришла и милиция. Неформалы так же стояли, как и вче-

ра, — взявшись за руки, чуть позже завязали рты марлевыми повязками. Минут десять смотрели друг на друга они — милиция и неформалы. Росла толпа. Вероятно, уже тогда среди них был Бабакаев. «Да нет, не вероятно, а точно был, — перебивая Дмитриевского, горячится Валера Казаков. — Точно был, я его видел. После разговора я еще подошел к нему и спросил: почему вы позволили им все это, вы же обещали? «Как? — округил глаза Виктор Прохорович. — Вы же устроили демонстрацию!» «Какую демонстрацию?» «Вы демонстративно завязали себе рты». Он стоял с самого начала и спокойно наблюдал, как наших тащили к «воронкам».

Образцово справились с задачей горьковские работники правопорядка во главе с неумоимым подполковником П. Сухомутьем. Но не обошлось и без неожиданностей. Когда милиционеры двинулись, неформалы вдруг сели на землю, на заранее припасенные резиновые коврики. Доблестные и неустрашимые спасовали? Ничуть. С двух сторон они стали рвать цепь и под крики толпы («Фашисты!» и прочее) оттаскивать неформалов к «воронкам». Некоторых пришлось приводить в чувство болевыми приемами. Когда набили авто до отказа, решили отвезти первую партию, а потом вернуться. Отдельные хулиганы из «беснующейся» толпы мешали движению, сажая на капоты машин своих малолетних детей.

Неформалы не образумились и не сбегали с площади. Они продолжали собирать подписи и (подумать только!) пели «Вихри враждебные» (за что боролись, елы-палы?!). И толпа все «бесновалась». А в конце концов смяла милицейские кордоны и повалила в обком.

Толпа заставила их выпустить всех задержанных на Театральной площади в этот же вечер.

...Репрессии середины апреля привели к тому, что до следующего, Первомайского разгона многие активисты неформального движения резко радикализировались — вступили в местное отделение Демократического союза.

Кроме общих причин, у каждого из вступивших в ДС были, вероятно, и свои, личные. Вот, скажем, Стас Дмитриевский, лидер Совета по экологии культуры...

Бульдозерная месь

СПЭК, зарегистрировавшийся только осенью 1988 г. при горьковском отделении Фонда культуры, своей первой серьезной акцией считает весеннее распространение листовок о возвращении городу древнего имени — Нижнего Новгорода.

Потом пикетировали строительство станции «Горьковская», которое бравые метростроевцы решили вести открытым способом, разрушая сквер на площади Горького, а в мрачной перспективе и огромную часть исторической застройки этого района города. В мае — июне 1988 г. на площади стояли палатки спэковцев. В конце концов независимая комиссия пришла к выводу, что строить в этом месте метро можно и методом глубокого заложения. Решение об открытом способе было отменено.

Но суровая битва с местными градоломателями продолжалась.

Горьковский институт «Гражданпроект» выдвинул «грандиозный» замысел реконструкции одной из частей исторической охранной зоны города — микрорайона улиц Горького — Белинского. В проекте предусматривалось почти полное уничтожение исторической застройки и памятников архитектуры. СПЭК выдвинул свою концепцию реконструкции. Но так как «грандиозный замысел» был делом профессиональной чести «Гражданпроекта», неформалам ответили — нет.

В декабре 1988 года горьковское отделение Фонда культуры обратилось в Москву, в Госкомархитектуру с просьбой направить компетентную комиссию и окончательно решить судьбу микрорайона.

Тем временем власти начали расселение из старых домов, где жилищные условия были в самом деле тяжкими. Чтобы спасти пустые дома от разграбления, СПЭК выставил зимой пикеты возле строений №№ 34 и 34-а — уникальной усадьбы, где два дома, построенные в разном материале — камень и дерево, — сочетали единство стиля. Каменный — двухэтажный, украшенный лепниной. Деревянный — небольшой, в три этажа, флигель, с тем же самым декором, деталями, только все это высокохудожественная резьба по дереву. А единый стиль — «эkleктика, но в сторону классицизма», как выразился Стас Дмитриевский.

Вот у такой, последней в своем роде постройки в Нижнем Новгороде и разбили свои палатки спэковцы.

Тепло поддерживали с помощью примусов, заправляли их

каждые 3—4 часа. Иногда примусы ломались — тогда стучали зубами до утра.

Дожили-таки в палатках до весны, дождался обещанной Госкомархитектуры комиссии. 21 апреля комиссия объявила свое решение: работы по утверждённому проекту приостановить, до конца года провести конкурс на проектирование микрорайона. За основу для опорного исторического плана взять альтернативный проект, разработанный по инициативе СПЭК. До утверждения нового плана любой снос в микрорайоне категорически запрещали.

Два дня спустя спэковцы пересели в деревянный флигель — пикет им разрешили официально. А там и другая неформальная братия стала заглядывать на часек, там и «штаб Первояма» заседал.

Казалось, можно было спэковцам праздновать вторую серьёзную победу, победу поважнее первой, ибо здесь уже на твоих глазах гибли дома, те, о которых ты в пыльных архивах читал, знал, кто там жил. «Это как детей убивают», — говорит Стас.

Но матерого волка так просто не возьмёшь.

«Третьего мая, это уже после разгона, я приехал домой, — вспоминает Дмитриевский. — Суд был перенесён, меня отпустили под подписку. А вечером мне позвонил Миша Гиизбург и сказал, что флигеля больше нет. Я так и застыл. Не особенно помню, что там дальше было, мать говорит, чуть «Скорую» не вызвала. Меня это совершенно вышибло. Настолько подло, настолько... Отомстить памятником архитектуры за поступки людей!»

Власти решили сработать быстро и по возможности негромко. Но быстро особенно не получилось — где в праздник найдёшь мужиков? Но за тройную плату откопали. Негромко тоже не вышло. Набежала кучка спэковцев, подняла шум-крик, пришлось наряд милиции вызывать.

...Бульдозером все и дорывляли.

Официальной причиной сноса было вот что (и власти этого не скрывали). На письмо из Госкомархитектуры — ответ зампреда горисполкома т. Пономарева:

«Снос жилых домов №№ 34, 34-а... был произведен в связи с тем, что эти, давно расселённые дома были самовольно заняты различными группами неформальных обществ и использовались ими для подготовки антиконституционных действий».

Вскоре после сноса флигеля одним сильным ударом был сметен и второй дом, 34-а.

«Я тогда понял, — говорит Стас, — что пока существует такая политическая структура, когда власть сосредоточена в руках кучки бюрократов, у нас будут и памятники архитектуры сносить, и книги запрещать, и экологию губить. Борьба нужна с системой, вот так, вот что я понял».

Апогей: разгон, май 1989

Собственно, о самом разгоне сказано достаточно. Осталось выснить некоторые существенные подробности — до и после.

24 апреля представители 4 самостоятельных демократических организаций Горького — СПЭК, «Авангард», ОК Народного фронта и ДС — подали в горисполком заявку на формирование собственной колонны в дружном первоямском потоке трудящихся.

В необходимости ее подачи многие в принципе сомневались уже тогда. Указ о митингах не запрещал несанкционированных колоний в санкционированных демонстрациях. Но, во-первых, только минули события середины апреля, во-вторых, неформалы уловили, что на некоторых предприятиях инстинктивно околовцев: «Неформальные элементы будут пытаться проникнуть в колонии трудящихся, и задача — не пускать их на дух».

Неформалы решили перестраховаться.

Итог — в отдельной колонне отказано, об этом объявлено в горьковских средствах массовой информации.

29 апреля два представителя «с той стороны», Валерий Казаков и Игорь Каляпин, пришли в обком к зам. зав. отделом идеологии Л. В. Казариновой и поинтересовались: как же насчет обещаний властей о сотрудничестве с неформалами? Даже в первоямской демонстрации пройти не дадут.

Казаринова, по словам ребят, ответила вот что (на суде, рассматривавшем «дело» Казакова, и в нашей беседе она от этих слов отказывалась, но тем не менее я больше склонен верить Игорю и Валере): «Вам не могут запретить. Идите, с милицией я договорюсь, я сама там буду к восьми».

(Перекликается со словами В. П. Бабакаева, не так ли?)

Немного поспорили о содержании некоторых лозунгов, но в конце концов с большинством из них Лидия Васильевна согласилась.

С тем депутация и покинула цитадель.

К 8 часам Казаринова прибыла на площадь Горького. С колонной неформалов она прошла до Окского моста, слева от которого, на том берегу реки, виднелось место заключительного первоямского действия — площадь Ленина. Тут неформальную колонну застопорили. Они уже и тогда были почти последними. Бежало время. Впереди них прошмыгнула даже немногочисленная, тоже, кстати, неразрешённая колонна антигастовцев. К ним неожиданно пристроилась и Л. В. Казаринова.

Неформалы стали глухим тылом ликующих первоямских колонн.

О них забыли? Только «родная» милиция окружала их со всех сторон, да какие-то незнакомые ребята в штатском хлопотали меж ними о своем...

Сейчас не так уж важно (тем более что сама Лидия Васильевна Казаринова отрицает и то, и другое), знала она заранее или сообщили ей возле Окского моста, что разгон неформальной колонны был спланирован загодя, независимо от того, как они, неформалы, будут вести себя — молчать, завязав рты марлевыми повязками, как в апреле на Театральной площади, или «выкрикивать антисоветские лозунги и призывать к несанкционированному митингу» (что им и вменяли потом в вину).

Не суть важно, потому что в любом случае Лидия Васильевна сыграла в этом спектакле не человеческую, а идеологическую роль. И какие-то сбины, пропуски текста ничего не меняют.

А информацию о том, что решение о разгоне неформалов было принято заранее, дал... заместитель начальника УООП УВД подполковник В. Хромов.

Из стенограммы суда над С. Дмитриевским:

Судья. Я попрошу вас поподробнее рассказать о том, что вы видели...

В. Хромов. Нам сообщили, что около 8 часов на площади Горького собралась группа неформалов и пытается организовать демонстрацию. (...) Они пытались встать в колонну, разворачивали транспаранты, лозунги, плакаты. Граждан возмущало то, что у них черные транспаранты и необычные надписи («необычность» лозунгов такова: «Свобода вероисповеданию», «Свобода слову», «Вернуть гражданство Солженицину», «Тбилиси — это геноцид» и ряд других. — А. М.) (...) Я неоднократно предупреждал: все, кто находится в этой колонне, будут задержаны за участие в несанкционированном митинге... (...)

То, что мы не стали задерживать их на площади Горького, я лично исходил из состояния правопорядка. Около них было много народа, и трудно было всем объяснить, что они задерживаются за противоречивые действия и так далее. Задержание и предусматривалось (выделено мной. — А. М.) в месте, наиболее благоприятном и для состояния правопорядка, и для самой этой группы. (...)

Адвокат. Утром Первого мая кому-нибудь из работников горисполкома было доложено о данной ситуации?

В. Хромов. Туда (на площадь Горького. — А. М.) как раз пришел Бабакаев.

Адвокат. Какое решение он принял?

В. Хромов. Никакого. Спросил: «Что будете делать?» Я сказал, что будем задерживать в удобном для нас месте.

...Выбрали удобное для себя место — и задержали неформальных «хулиганов». Вот так.

Судили ребят по трем разным судам — в Нижегородском, Приокском и Канавинском. Насколько объективно — вот деталь из клоковского «процесса»: свидетели были только со стороны органов правопорядка.

С первых же дней задержания Ушакова Казаков, Клоков и некоторые другие ребята объявили сухую голодовку. «Мемориалка» Лена Ушакова закончила ее, когда после требований общественности города, телеграммы двух американских сенаторов (!) прокурор области лично привез ей постановление о досрочном освобождении. Валерий Казаков — шестого мая, обострилась язва. Стас держался дольше всех. 8 мая ему начали вводить глюкозу, 10-го он голодовку прекратил.

Итог празднования Первояма в городе Горьком таков: 28 задержанных, из них к различным суммам штрафов приговорено 18 человек, посажено на 15 суток — 4, на 10 — 1 человек, двое предупреждены, дело одного передано в товарищеский суд, поставлена на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних — одна, оправдан — один.

Таким был май 1989 года в Нижнем Новгороде.

г. Горький

Владимир ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Передо мной список детей, которые на протяжении года «выбыли» из Мелитопольского специализированного дома ребенка: усыновлено — 27, отправлено в школы-интернаты — 15, в дома инвалидов — 70, умерло — 28... Что же это за дети? Чьи они?..

1

В одной из палат собираются на прогулку: две девочки-подростка пристегивают протезы к ногам. Едва передвигаются, почти не разговаривают, разве только тогда, когда нужно попросить о помощи. Сделав неосторожное движение, Наташа вдруг падает с кровати на пол. Единственной рукой цепляется за шершавые доски и ползет. Сжав губы, стремится к тележке, которую кто-то откатил аж в угол комнаты. Капельки пота выступают у девочек на лбу, но помощи она не просит.

Но вот собрались. Из лечебного корпуса — на протезах, тележках выходят, выезжают, поддерживая друг друга, дети. Добравшись до игровой площадки, каждый занимает облюбованное издавна место. В жуткой, тягостной тишине проходит часовая «прогулка». Никаких игр, громких разговоров, лишь изредка озабоченный шепот.

Киселев показал мне фотографию: лежит неподвижно в кровати мальчик. Половину кровати занимает голова. Тельце ребенка где-то вдвое меньше головы, подвешено на ремнях.

— Что с ним?

— Сашина мать пила, — объясняет врач и подает еще один снимок: четырехлетняя девочка с неестественно большим языком, который не умещается во рту.

— Это наша Леночка. Поступила с поражением нервной системы. Ножки совсем были неподвижны. Но это тот редкий случай, когда помогли парафиновые аппликации, массаж, лечебная физкультура. Леночка не только научилась ходить, но даже ездила перед выпиской на велосипеде.

— Куда ее выписали?

— В специнтернат. К сожалению, от других врожденных патологий девочку не вылечили. К нормальным детям она возвратится не может.

Следующее знакомство — с девочкой, которую родила пятнадцатилетняя мелитопольчанка, забеременев от близкого родственника. Описать степень ее уродства не могу, трудно вспомнить.

К сожалению, родственные половые контакты (между двоюродными, троюродными братьями и сестрами, другими родственниками) случаются еще часто. В таких случаях, как и тогда, когда в брак вступают люди с тяжелыми наследственными заболеваниями, нередко рождаются больные дети. Как тут не вспомнить положительный зарубежный

опыт, когда при регистрации брака, кроме ряда других документов, требуют и справки о состоянии здоровья молодоженов.

Считается: если юноша и девушка любят друг друга и решаются на брак, негуманно им запрещать. Пусть так, но и рожать детей при отрицательной рекомендации иммунологов, специалистов по генной наследственности вряд ли гуманно. Ибо что получается на практике? Молодые люди вполне законным способом плодят на свет калек, которые, если они только в своем уме, живут, весь свой век неизменно мучаясь, страдая и проклиная родителей. А те зачастую с легким сердцем избавляются от своего чада, передавая его в руки государства. Оно, государство, на каждого такого ребенка тратит в год 6 тысяч рублей. Если помножить эту цифру на десятки тысяч детей-инвалидов (точная статистика не публикуется), сумма получится внушительная. Но дело не в деньгах, а в страданиях ни в чем не повинных детей. Дорогая цена любви. Дорогая! Думаю, что пришло время рядом с таким понятием, как «любовь», вспомнить другое — ДОЛГ.

Размышляя так, смотрю с нестихающей болью на пятилетнего Игорька, диагноз у которого «идиотия». Мальчик лежит неподвижно в кровати, смотрит на нас, но никак не реагирует. Глаза пустые, ничего не видящие.

— Вся его будущая жизнь пройдет в психиатрической больнице, — говорит Виктор Иванович. — Остальных отправляем в соседний Черниговский район.

2

Сто тридцать километров пути, нередко проселками, напрямик...

Останавливаемся у небольшого домика при въезде на территорию интерната. Водитель остается в машине, я захожу к директору. Знакомлюсь с главным врачом интерната Олегом Витальевичем Минаевым. Раиса Алексеевна Калайда, директор, рассказывает о проблемах интерната. А их немало.

— Спасибо, наш шеф, Запорожский абразивный комбинат, помогает по совести, — говорит Раиса Алексеевна. — Чуть что — сразу к ним, не отказывают.

— А Детский фонд помогает?

— Помогает. И в прошлом, и в этом году по десять тысяч выделили.

— А лично кто-то из фонда приезжал?

— В нашу глушь-то? — удивляется Раиса Алексеевна. — Далеко к нам, трудно добираться.

Спрашиваю Минаева о медицинских справках для молодоженов.

— Такие справки не только нужны, они необходимы, — говорит врач. — И во всех развитых странах это уже давно поняли. Такие справки, содержащие хромосомные, генные характеристики человека должны представляться желающим вступить в брак одновременно с подачей заявления, чтобы специалисты могли просчитать возможные негативные последствия для будущего первенца.

Минаев вспоминает и о том, что при помощи нового диагностического оборудования медики уже в ранней стадии беременности могут распознавать пол будущего ребенка. За рубежом разработана также аппаратура для установления генетических нарушений на ранней стадии беременности.

— Если бы нам иметь все это, количество рождений детей-инвалидов можно было бы постепенно свести к нулю, — говорит Олег Витальевич.

Наконец, оставив кабинет, идем по интернату.

Как в ужасном калейдоскопе повторяется все то, что уже видел в Мелитополе. В палатах больные микроцефалией — дети с неизменно большими плоскими лицами и маленькой головой. Есть больные гидроцефалией (голова значительно больше тела). Есть здесь рахитичные дети. Семнадцатилетняя девушка весит несколько килограммов. Почти все больные имеют серьезные психические отклонения, среди которых наиболее часто встречается идиотия.

Наиболее «благополучное» отделение ходячих больных. Эти, несмотря на различную степень поражения центральной нервной системы и физические уродства, хоть могут обслуживать себя, самостоятельно передвигаться и даже работать в подсобном интернатском хозяйстве.

А хозяйство здесь большое. Почти 60 гектаров пахотных земель, есть свои трактора, машины. Имеется коровник, свинарник. Разумеется, обслуживают все это штатные рабочие: водители, трактористы, доярки. Ребята лишь помога-

ют. Без работы, по мнению 17-летнего инвалида Игоря Курченко, жизнь тех, кто может передвигаться, вовсе потеряла бы смысл.

Это же повторяет и Витя Первоапрельский (фамилию ему, найденному 1 апреля в мусоропроводе, придумали в доме ребенка). Витя любит лошадей. Когда приблизился возраст отправки в дом инвалидов-взрослых, со слезами ходил несколько дней за директором, упрасивал оставить. Не выдержала Раиса Алексеевна, поехала в райсобес, договорилась...

В палатах чисто, уютно. Деревянная мебель, недорогие прикроватные коврики, декоративные светильники.

— Но самое трудное, — признается Раиса Алексеевна, — это спорить с теми, кто считает жизнь наших детей бессмысленной, утверждает, что от них, мол, нет никакой отдачи, никакой пользы обществу. Одни убытки.

У каждого, кто жалеет денег для малолетних инвалидов, Калайда спрашивает:

— Вы лично возьмете в руки автомат? Будете убивать детей?

Собеседник обычно морщится, отвечает обиженно:

— Ну, зачем же автомат? Есть безболезненные медицинские методы.

Но жизнь у каждого человека ОДНА, и он должен прожить ее! Никто не дал нам права лишать ребенка этой жизни. Недолго пробыл я в Калиновке, но и за это время успел понять: дети здесь не только страдают, не только мучаются, они здесь живут. Есть и у них свои небольшие радости. Встретили трех девочек, которые шли помогать дояркам в коровнике. Увидев директора, одна из них, робко заглянув в глаза Раисе Алексеевне, спросила:

— А где тот мальчик, который вчера ходил с нами на работу?..

В одной из палат я увидел транзисторный приемник, в другой на полу стояла современная дорогостоящая стереосистема: проигрыватель, усилитель, колонки. Рядом — две тумбочки с пластинками.

— И часто слушают музыку?

Главный врач улыбается.

— Не только слушают. Иногда еще и танцуют.

Однажды вечером я видел эти танцы. Для новичка картина, разумеется, жуткая. Но дети-то друг к другу привыкли. Они ЖИВУТ.

3

Из работ академика АМН СССР М. Я. Студеникина, публикаций в медицинской литературе немецких профессоров Ю. Кюльбца и Г. Эггера я уже знал, что умственную и физическую неполноценность следует расценивать не как что-то статическое, постоянное, а как положение, которое в принципе можно изменить, проводя соответствующие воспитательные и лечебные меры. Преждевременный отказ от медико-педагогического воздействия недопустим — сходитесь во мнении ряд крупнейших советских и зарубежных ученых. Воздействие это должно быть активным и непрерывным. На практике же мы видим другую картину. Дети в домах ребенка в силу различных поражений центральной нервной системы имеют значительную задержку в своем физическом и умственном развитии. Практически с трехлетнего возраста начинают давать ощутимые результаты реабилитационные медицинские и педагогические мероприятия. К четырем годам появляются первые успехи, но развивать и закреплять приобретенное ребенком медико-педагогический коллектив уже не может, по существующему положению приходит время отправлять четырехлетних детей в дома инвалидов, где нет и речи об образовании и обучении ребенка. Все сводится к лечению и уходу. Не пора ли Министерству здравоохранения СССР пересмотреть существующее положение? Наверное, не стоит спешить с переводом четырехлетних детей в систему социального обеспечения, нужно разрешить специальным медико-педагогическим комиссиям оставлять часть детей в доме ребенка хотя бы до семи лет.

4

Снова Мелитополь.

Гостиничный номер в «Интуристе» после интернатской, пустующей месяцами комнаты для приезжих.

Суэта центрального проспекта утром.

Ватага здоровых, красивых старшеклассников, встреченная мной у магазина «Подарки».

Почему не все дети такие? Об этом долгий, тягостный разговор в кабинете заведующего горздравоотделом. Мы собрались почти одновременно. Анатолий Иванович Подви-

гин — уставший, не выпавшийся после ночной операции (он хирург первой категории и считает, что не к лицу медику заниматься лишь административной работой). Главный врач дома ребенка Людмила Ивановна Данилова.

Подвигин рассказывает, что Министерство здравоохранения договорилось о закупке современной шведской ультразвуковой диагностической аппаратуры фирмы «Алока», которая позволяет уже в ранней стадии беременности выявить врожденные уродства и другие аномалии развития плода.

— Это хорошо, — размышляет Анатолий Иванович. — Но пока не будет закона об ответственности человека перед обществом за свое здоровье, трудно ожидать ощутимого уменьшения заболеваемости детей.

Данилова развивает эту мысль:

— Ведь у нас сейчас как?.. Требуем здоровья от медиков, а от больного? «Болезни поведения» тоже возложены на здравоохранение. Но почему только «нашими» считаются такие рецидивы, как алкоголизм, наркомания, ранняя половая распущенность в комплексе с сопутствующими ей гинекологическими, венерическими заболеваниями?

О детях алкоголиков и наркоманов я уже слышал. Знаю, что в отдельных случаях их жизнедеятельность можно подержать лишь медицинскими путем, вводя новорожденному алкоголь или наркотик. Приходилось также видеть малышей, появившихся на свет с врожденным сифилисом или хронической гонореей.

Но каковы последствия гинекологических заболеваний?

Оказывается, самые разные, вплоть до значительных уродств. Данилова рассказывает о девочке с ярко выраженной дебильностью, сросшимися на руках пальцами. Мама этой девочки — вполне нормальная, уважающая себя молодая женщина. Но она, от незнания, не береглась: в жестокий мороз могла выйти из дома, ограничившись, кроме верхней одежды, лишь тоненьким синтетическим бельем. Но, с другой стороны, откуда ей было узнать? Родители стесняются, во дворе безграмотный разговор преимущественно о сексе; учителя, оберегая собственное педагогическое «целомудрие», как и родители, предпочитают молчать.

— Я познакомился с программой нового учебного предмета «Этика и психология семейной жизни», — замечает Подвигин. — Неплохая программа. Учат, как строить молодую семью, воспитывать детей. А вот вопросам охраны здоровья девочек до вступления в брак внимания не уделяется.

Вина школьных педагогов очевидна. Но есть претензии и к медикам. Издавна так сложилось, что повсеместно органы здравоохранения больше внимания уделяют подросткам-мальчикам. Это связано с их подготовкой к службе в армии. Бригады врачей месяцами работают при военкоматах, добросовестно обследуя каждого призывника.

К девочкам же отношение другое.

Проблема известна Подвигину, поэтому он и утверждает:

— Выход есть. Он в расширении штата подростковой службы при поликлиниках, ее реальном укомплектовании. У нас, скажем, в 1-й поликлинике по штату семь врачей для работы с подростками, а в наличии всего трое. Вузы, к сожалению, выпускают недостаточное количество врачей-педиатров.

5

Не так давно по Центральному телевидению выступил руководитель Фонда милосердия и здоровья С. Н. Федоров. Он назвал такую цифру: в стране 7 миллионов инвалидов детства. Статистика угнетающая... Только на Украине 44 дома ребенка, среди которых мелитопольский, пожалуй, самый маленький. В одной только Запорожской области, скажем, 14 домов-интернатов для детей-инвалидов и умственно отсталых. По республике таких до трехсот. А это тысячи детей.

Какую страшную цену платит общество за пьянство матерей и отцов, за ошибки и просчеты в воспитании будущей матери, за ханжество учителей, стесняющихся выносить на уроки вопросы полового воспитания, за отсутствие в женских консультациях современной диагностической аппаратуры!..

6

Иногда по ночам снится мне интернатское кладбище. Снится семнадцатилетний калека и урод Степан Февралев. Он горько плакал, видя на экране цветного телевизора стройного юношу, который прогуливался вдоль реки под руку с девушкой.

КАБАТА

Думаю, никто не будет оспаривать очевидный факт: застрявшая в беспросветном тупике проблема наркомании сейчас так же далека от разрешения, как и десять лет назад. Число наркоманов из года в год продолжает увеличиваться, а все меры борьбы с наркоманией практически не дают никакого положительного результата. Более того — налицо результат отрицательный.

Взяты, к примеру, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.87.

Указ наложил административный и уголовный запрет (см. пункт 5 Указа) на выращивание частными лицами всех сортов масличного мака, из которого изготавливались и изготавливаются опиаты — наиболее сильнодействующие наркотики, потребляемые подавляющим большинством советских наркоманов и содержащие морфин как основное действующее вещество. За Указом незамедлительно последовали всеохватные милицейские операции с громким и грозным названием «Черный мак», достаточно подробно освещенные органами массовой информации. Только вот к чему они привели?

К тому лишь, что и без того немалые цены на этот вид наркотиков на черном рынке моментально подскочили в... десять (!) раз. Если до выхода Указа стакан маковой соломы — перемолотых мясорубкой сухих маковых головок — на ленинградском наркотическом рынке стоил 15 рублей и наркоманы могли себе позволить запихивать эту солому в свои желудки столовыми ложками, то сегодня стакан того же самого кокиара стоит соответственно 150 рублей. Если два года тому назад средний ленинградский наркоман съедал за сутки один-два стакана кокиара, что обходилось ему максимум в 15—30 рублей, то сейчас такую расточительную роскошь могут себе позволить разве что миллионеры. Сейчас из этой соломы из соображений экономии наркоманам приходится кустарным способом делать то, что несколько лет назад казалось им самим невозможным в домашних условиях, без лабораторного оборудования и глубоких познаний в химии, — пригодный для внутривенных инъекций раствор опия.

Приобрести же в Ленинграде молотые маковые головки при наличии необходимой суммы так же просто, как раньше. Не знаю, как в других городах, но в Ленинграде наркотический рынок процветает по-прежнему — так же открыто и на том же самом месте в центре города, что и раньше, о чем прекрасно осведомлены и работники милиции, и наркоманы, и простые граждане, каждый из которых может в любое время дня купить себе там любой наркотик. Только приносит теперь этот рынок воротилам наркобизнеса в 10 раз больше доходов, а наркоманы — хотя они того или не хотят — вынуждены соответственно в 10 раз продуктивнее совершать преступления. В том же, что зарабатывать честно на одни только наркотики 150—600 рублей в день невозможно, едва ли кто-нибудь усомнится...

У ленинградских наркоманов был одно недовольное время если не выход, то хотя бы небольшой, но вполне реальный шанс на излечение и возвращение к нормальной жизни. Пусть один из сотни, один из тысячи, но шанс — кооператив МЮНЦ (медико-юридический наркологический центр), где можно было анонимно и даже бесплатно, если пациент оказывался неплатежеспособным, пройти весьма эффективный курс дезинтоксикации и поддерживающего лечения у опытного врача-нарколога В. М. Подколзина. В весьма высоком уровне его квалификации я мог убедиться на собственном опыте и, повидав на своем веку немало его коллег, беру на себя смелость утверждать, что такого уровня достигают единицы наркологов, специализирующихся на наркоманиях.

Однако после знаменитого предновогоднего «подарка» Совмина СССР кооператорам специалист по наркоманиям Подколзин вынужден теперь либо уходить из созданного им кооператива, либо... лечить алкоголиков.

Есть и другой путь. Это путь официального добровольного

лечения, который, согласно закону, наркоман выбрать обязан, иначе его будут принудительно «лечить» в ЛТП, мало чем отличающемся от обыкновенной ИТК. Наркоман при этом должен обратиться в районный наркологический кабинет по месту жительства, поставить самого себя на пожизненный милицейский учет, получить запрет на свою, может быть, единственную профессию (существует перечень профессий, по которым наркоманы не имеют права работать) и только после этого получить направление на традиционное лечение в психиатрической больнице, эффективность которого равна такому же нулю, как и 10 лет назад.

В девяти случаях из десяти рецидив происходит в первые же дни, а то и часы после выхода из больницы, при первой же возможности принять наркотик. А тут еще после выхода из больницы нужно будет в течение 5 лет ежемесячно ходить к районному наркологу, показывать тому свои вены и доказывать, что наркотиков не употребляешь. Не говоря уже о том, что сразу после ДОБРОВОЛЬНОГО обращения к наркологу и пациента автоматически заводится специальная карта учета со множеством сведений, которая пополняет обширную картотеку специализированного отдела по борьбе с наркоманией при ГУВД. В Ленинграде это так называемый 12-й отдел управления уголовного розыска.

По всем этим причинам до появления в Ленинграде МЮНЦа и после запрещения ему оказывать медицинскую помощь наркоманам этот путь выбирали и выбирают в основном только те, кто уже «засвечен», т. е. и без того давно стоит на наркологическом учете. А сколько «незасвеченных»?

Основной контингент «добровольно» лечатся официальных образом даже и не думает бросать принимать наркотики. Им приходится играть роль добровольца под давлением таких обстоятельств, как угроза отправки в ЛТП или необходимость в официальной бумажке, на которой будет написано: «Прошел курс лечения от наркомании, в принудительном лечении не нуждается», — развеять нависшую над головой тучу: возбуждение очередного уголовного дела и угроза очередного срока за хранение количества наркотиков, превышающего предел, до которого, согласно Указу ПВС СССР от 22.06.87, следует лишь административная ответственность.

Кстати, и наркоманы, и простые граждане до сих пор понятия не имеют, каковы эти пределы для различных наркотиков. Циркуляры, содержащие эти сведения и спущенные сверху в правоохранительные органы, видимо, под грифом «Сведения, содержащие государственную тайну», до настоящего времени нигде не опубликованы. Отчего наркоман или просто легкомысленный гражданин, решивший побороться с наркотиками, не знает, в каком случае он совершает административное правонарушение, наказуемое штрафом или арестом до 15 суток, а в каком — уголовное преступление, за которое полагается лишение свободы на срок до 5 лет.

Закон вышел, вовсю действует, а как был абсурдом, абсурдом и остался: за изъятую одну дозу наркотика — 15 суток, а за две — 5 лет. Начавшиеся же одно время в печати разговоры о недопустимости в государстве, которое хочет именоваться правовым, считать уголовным преступлением деяния, в действительности являющиеся симптомами болезни, т. е. изготовление, приобретение или хранение даже больших количеств наркотиков с целью собственного употребления, давно заглохли. Поговорили, пописали, отдали дань гласности и успокоились.

Не могу не остановиться на еще одном непредвиденном последствии всесоюзной операции «Черный мак», результатами которой, похоже, очень гордятся ее авторы и исполнители.

Дело в том, что наряду с природными наркотиками, ресурсы которых резко сократились, возник и вполне удовлетворяет спрос натуральный шквал всевозможных веществ, синтезируемых неведомыми умами из не растительного сырья. Веществ с действием, аналогичным действию растительных наркотиков, а также психоделиков — множества различных суррогатов — заменителей знаменитого ЛСД, четырех граммов которого достаточно, чтобы свести с ума все население Земли. Последствия же для наркоманов, переклюкающихся на эти более дешевые и распространяемые пока даже бесплатно вещества, как правило, губительны и совершенно непредсказуемы.

Поверьте, я не сгущаю краски, не преувеличиваю опасность, не сею панику. Я просто констатирую то, что есть, — то, к чему вполне закономерно привели ежегодные операции «Черный мак». Чем труднее традиционным растительным

наркотикам попадать на черный рынок, тем активнее подпольные химики — а среди них есть даже кандидаты наук — «одаривают» наркоманов все новыми и новыми ядами, по сравнению с которыми морфин скоро будет казаться безобидным витамином.

Некоторые, одержимые самым искренним желанием выздороветь, обращаются за помощью к наркологам, проходят курс дезинтоксикации и общеукрепляющего лечения (глюкоза, витамины, биогенные стимуляторы и тому подобные препараты, общеукрепляющие истощенный наркотиками организм). Подавляющее же большинство «переслаиваются» самостоятельно, без какой-либо медицинской помощи, перенося при этом невыносимые самому больному человеку страдания. Не имея возможности медикаментозно купировать, т. е. облегчить муки абстиненции, которая разрушает весь обмен веществ их организма, с каждым подобным «переслаиванием» продолжительностью в одну-две недели они разрушают свое здоровье сильнее, чем принимая на протяжении ряда лет регулярно традиционные наркотики типа морфина, теряя при этом годы жизни. Но зато избегают «удовольствия» быть поставленными на наркологическо-миллиейский учет. Какое-то время — иногда месяцы и даже годы — эти несчастные искренне верят, что расстались с наркотиками навсегда. Но, увы, психологическое рабство оказывается в итоге намного прочнее и мучительнее физического, т. е. состояния абстиненции. К тому же еще, в отличие от последнего, психологическое рабство является пожизненным. Положительные эмоции, даруемые наркотиками в начальной стадии заболевания или очередного рецидива, настолько глубоко въедаются в память, настолько видоизменяют сознание, что заменить их практически нечем.

Давно бы уже обществу пора понять, что наркомания в подавляющем большинстве случаев — такая же неизлечимая пока болезнь, как рак или СПИД. Нет ни одного наркомана, который не жаждал бы избавиться от наркотической кабалы, как нет ни одного ракового больного, который не хотел бы вылечиться. Но лишь единицы, в том числе и автор этих строк, нашли в себе силы вообще отказаться от наркотизации.

В общей сложности около 15 лет я регулярно употреблял наркотики. Десять последних лет отчаянно пытаюсь выкарабкаться из трясины этой болезни. Перепробовал все существующие способы добровольного и принудительного лечения. За приобретение, изготовление и хранение наркотиков с целью личного употребления дважды судим. В местах лишения свободы провел около 4 лет. Меня лечили как врачи, по профессиональным и моральным качествам являющиеся эталоном своей профессии, так и садисты в белых халатах. Меня лечили офицеры МВД и прапорщики внутренних войск. Меня лечили медикаментами, гипнозом, тюремными камерами, прогулочными двориками, карцерами, столыпинскими вагонами, пересылками, отупляющим от однообразия каторжным трудом, хождением строем на прием к врачу или в баню, голодом, холодом, побоями и просто издевательствами наделенных беспредельной властью ублюдков. Чем только не лечили! Однако болезнь на протяжении всех этих десяти лет, даже после курсов настоящего лечения и ремиссий длительностью в несколько месяцев, окazyвалась сильнее.

Сейчас у меня уже восьмая или девятая добровольная ремиссия. Очень хочется верить, что на этот раз рецидива не произойдет. Очень! Но речь здесь не обо мне, доживающем в свои неполные тридцать три последние дни, и не о единицах, избавившихся от наркомании навсегда. Речь обо всех остальных. Намного сильнее, чем на мое собственное окончательное выздоровление, мне хочется надеяться на то, что кто-нибудь из власть имущих прислушается к моему мнению. Мнению престарелого наркомана. Наркомана, который не желает, слишком даже не желает, чтобы по его пути пошли тысячи и миллионы как еще не родившихся, так и играющих сейчас в куклы и прятки детей!

Виталий ШАХОВ,
г. Ленинград

«20-я комната»:

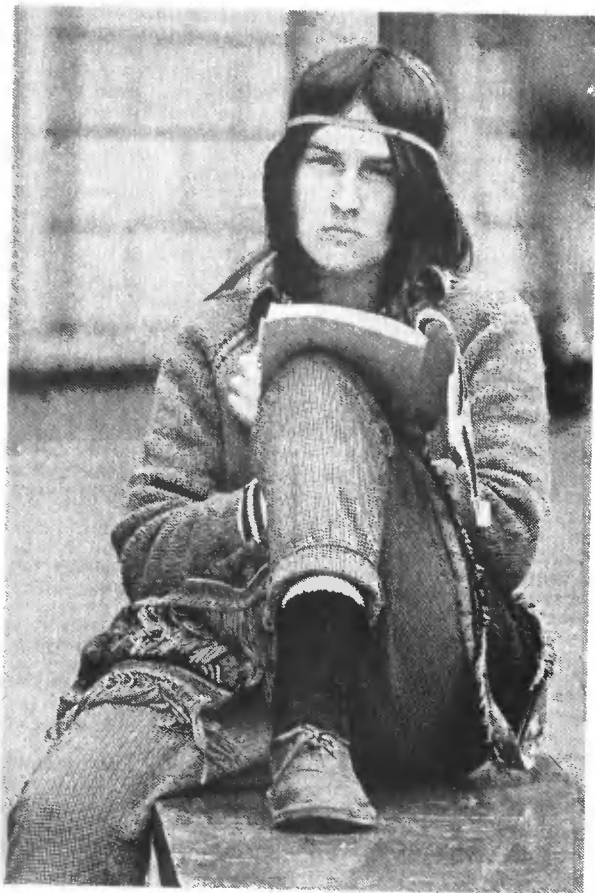
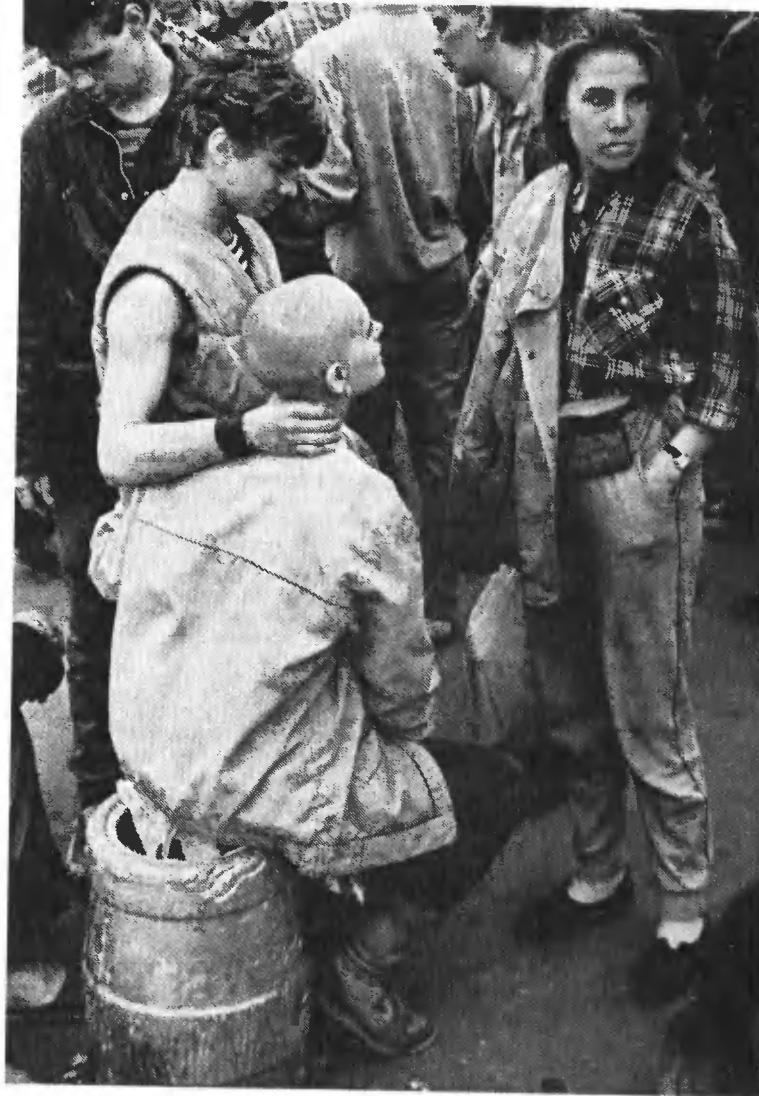
Надеемся, что страстная исповедь бывшего наркомана вызовет новый общественный интерес к этой уже далеко не запретной теме. Ведь вопросы, которые поставил в своем письме Виталий, тоже во многом новые и неожиданные.

Мы ждем размышлений и мнений как от специалистов — врачей, юристов, психологов, — так и просто от тех, кто озабочен судьбами своих друзей, детей, внуков, находящихся в тисках наркотической кабалы. На конверте пометьте рубрику «Кабала».



В ПИТЕРЕ





НА ТУСОВКЕ

Фото А. Спицына, А. Китаева, Ф. Титова, А. Бельского, М. Борисова («Община фотохудожников», г. Ленинград).



Александр КУПРИЯНОВ

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛЕС

Эти снимки сделаны
фотографом Федором Машечко
в Нерчинской детской колонии
камерного содержания.



— На зоне?!

— Порядок на зоне!

— Отряды, четверками... Арш!

Черные ботинки отбивают ритм по серой ленте дороги. После работы в мастерских — к ужину и вечерней передаче по телеку «А ну-ка, парни!» — еще не так зашагаешь. Бегом побежишь.

Туп-туп, туп-туп, туп-туп...

Хорошо маршируют пацаны. Четко. Это утром, когда надо шагать в рабочую зону, они не идут, а еле тянут ноги, горбчатся, как маленькие старички. И тогда их ботинки делают «чиф-чиф».

Во всем мире — осень.

В колонии тоже осень. Пожухли на клумбах цветы, выцвел от жаркого солнца и летних ливней кумач лозунга, призывающего искупить свою вину отличной учебой и трудом, а также примерным поведением...

Через несколько дней, когда пришлось погрузиться в причину горя и беды, таящихся в прошлой жизни этих пацанов, жалость сменилась на мучительные и болезненные вопросы: как они могли такое совершить? Откуда они — ТАКИЕ? Кто виноват в том, ЧТО они сделали?..

Коля Шамраев, по прозвищу Шмыгло. Осужден за участие в разбое с применением самодельного огнестрельного оружия.

Дима Михальков, по прозвищу Костыль-нога. Осужден за участие в групповом изнасиловании.

Витя Левко, по прозвищу Леопольд. Осужден за убийство. В пьяной драке запинали до смерти такого же пацана — дружка.

Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп.

Где-то в середине колонны — не высокий и не низкий — шагает не похожий ни на кого из тех, с кем пришлось познакомиться, Павел Бескудников. Пашка — пахан. А еще — Пашечка — красная рубашечка. Мальчик-колосьчик, как говорят в колонии. Палец ему в рот не суй — откусит, прихватив всю кисть.

Во-о-он он топает... Голову высоко поднял: сейчас, когда сержант начнет интересоваться порядком на зоне, а потом открывать ворота, Паша засеменит на носочках, потянет шею вперед, кажется, вот-вот руками замашет. Так чирок-подросток, вставший на крыло, собирается полететь, оторвавшись от глади озера. В затор между высоким забором и стеной служебного корпуса Паша постарается увидеть краешек далекой сопки.

Там — речка и тайга, теплые стога сена, догорающий в ночи костер...

Тайная и заветная мечта Паши — когда-нибудь снова попасть в лес.

Вчера Павел признался мне в этом. Но не скоро Бескудников попадет в тайгу. Ох, не скоро... Не гладь озера, а толкое болото приготовила ему жизнь. Как вырваться из этого болота? Как встать на крыло ему — Павлу Бескудникову?

Разговаривали мы в карцере.

Карцер — это очень серьезно. Это крайняя мера воздействия на воспитанника.

До выхода на волю — «подчистую» Павлу Бескудникову остаются считанные дни.

— На з-зо-не?!

— Пор-р-ядок на зоне!

Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп.

II

Павел Бескудников. Внешне угрюм и неразговорчив. Любит выступать в роли «матерого» преступника. На самом деле имеет отзывчивый и добрый характер. Вспыльчив. Бывает сентиментален. Любимое занятие на свободе — рыбалка. Болезненно реагирует на любое проявление несправедливости. Перед поступлением в колонию лечился от детского алкоголизма. Любит, когда его называют «паханом». Не переносит другого прозвища — «Пушкин»... Пишет стихи.

(Из педагогической тетради воспитателя
Виктора Семеновича Корытова).

...Первый раз правоохранительные органы заинтересовались судьбой Паши Бескудникова, когда он пошел в первый класс.

Случилось это глубокой ночью. Нештатные помощники милиции, а попросту говоря дружинники райцентровского поселка Переяславка, после рейда по общежитиям возвращались домой. Кто-то из них услышал, как где-то на огороде одиноко гремит картошка о дно железного ведра и раздается детский плач. Даже не плач, а вроде как поскуливание.

В лучах карманных фонарей они увидели взъерошенного и грязного мальчишку, который испуганно закрывал лицо руками от резкого света. Старший дружинник (это был мастер консервного завода Тихомиров дядя Коля) догадался приказать, чтобы свет выключили, и спросил парнишку, почему в такое время он картошку вздумал копать.

Мальчишка ничего не отвечал, только сопел и вздрагивал под тяжелой мужской ладонью, которая легла на его плечи. Впрочем, пребывание Паши Бескудниковой (а это был именно он) на огороде особой тайны не составило, потому что из дома, стоящего неподалеку, раздавались громкие голоса и причудливые тени металась в окнах. Дядя Коля Тихомиров вошел в дом и начал стучать кулаком по пьяному, заваленному окурками, пеплом, огрызками хлеба и огурцов столу: «Вы что здесь — все с ума посходили? В такую пору мальчишку в огород посылать!»

А дело было так. Паша знал, что после работы, как всегда, у отчима с матерью соберется компания. Сначала все будет опохмеляться бражкой и невесело шутить. Потом отчим достанет бутылки с самогонном, так называемый «дым», и глаза взрослых дядей и тетей зажгутся веселым блеском. Они будут громко разговаривать, перебивая друг друга, нестройно кричать песни и даже плакать. В этот момент они станут очень добрыми и будут совать в Пашкины руки стакан с бражкой. А бражка — не то, что самогон. Она вкусная, сладенькая и холодная. Выпьешь полстакана, и так голова закружится, так делается Пашке хорошо...

Когда Паша вернулся домой, оказалось, что родители и их друзья еще не в полной «кондиции». Отчим взялся проверить Пашкины тетради с палочками и ноликами — у него всегда по пьяному делу обнаруживалась педагогическая жилка, а мать стала ругаться, роняя нетрезвые слезы, что Пашка опять порвал школьные брюки. Гости стали выхватывать Пашку из ее рук, а отчим кричал: «Я ребенка — ни-ни... Пальцем ни разу не тронул! Физическое наказание к детям нельзя применять...»

Наказание придумали сообща: как раз кончился немудреный закус, и Пашу отправили в огород — копать картошку.

На следующий день дядя Коля Тихомиров вызвал в красный угол отчима и мать Бескудниковой, работавших на том же консервном заводике, и пригрозил им лишением родительских прав и штрафом за самогоноварение.

Ночью отчим жестоко избил Пашину мать. Он бил ее тихо, чтобы не проснулась маленькая Ленка — Пашина сестра и не слышал сам Паша. Но Паша не спал и слышал, как отчим шипел: «Из-за твоего змееныша чуть в тюрьму не сели!»

Почему он бил и так изуверски дрался, бил и жену, и детей? Позже, став постарше, Павел не один раз задумывался над этими вопросами и ответить на них не мог. Он только помнил, как отчим в отчаянии несколько раз кричал: «Не получилась жизнь, не получилась...»

Взрослея быстрее своих сверстников, Паша становился замкнутым и злым. После школы он старался убежать из дома и большую часть времени проводил за поселком, на берегу реки. Пашка выучился печь в горячей глине рыбу и есть ее почти без соли. Особенно ему нравилось, хлебнув из украденной у матери бутылки с бражкой, повалиться в траву и долго-долго наблюдать через причудливую крону старой березы за движением облаков...

...Дело происходило весной, в конце мая, когда школа задумывалась о судьбе своих «трудных» учеников: то ли переводить их в другие классы, то ли освобождать коллектив от неудобных — педагогически запущенных детей. После заседания педагогического совета, где решался вопрос о направлении «второгодника», ученика 7-го класса Павла Бескудниковой в спецПТУ с режимом детской колонии, Паша встретил Галину Ивановну в переулке возле своего дома и, грязно дыша в лицо учительницы запахом алкоголя, спросил: «Ну что — отправила меня в тюрьму?» И, пьяная от собственной наглости, Пашка достал из кармана перочинный ножик и злорадно целкнул остро наточенным лезвием...

Почти все заседание педсовета Пашка простоял под приоткрытыми дверями класса, где совещались учителя. Он почти ничего не понял из яростного выступления директора их школы Владимира Александровича, который говорил о лицемерии и фальши взрослой жизни, которую талантливо копируют дети, о пагубности пороков и социальных корнях подростковой преступности. Пашка просто отлично осознал для себя, что Владимир Александрович — за него. Он не хочет отдавать Пашку в спецПТУ, которое, говорят, хуже любой зоны. И еще он хорошо понял, что участковый из милиции и Галина Ивановна выступают за направление Бескудниковой в колонию. Участковый подробно информировал педсовет школы о том, чем занимается Павел в свободное от школы время: отбирает у ребятишек мелочь, заставив их попрыгать, ворует из летних кухонь продукты, угнал два мопеда, участвовал в краже магнитофона из пионерского лагеря. А под суд не попал по чистой случайности... Тут-то Галина Ивановна и закричала: «Да такому только в тюрьме и место!»

Дальше Пашка слушать не стал. Пошел домой, хватанул кружку браги, благо она всегда под рукой, и вышел в переулочек...

Руки его скрутил участковый, шедший следом и поспешивший на крик Галины Ивановны. Нож выбросить Пашка не успел.

Из милиции его выпустили на следующий день, взяв с матери подписку: такого-то числа месяца мая вместе с малолетним сыном — злостным нарушителем общественного порядка она должна явиться в райисполком на заседание административной комиссии, где и будет решена его дальнейшая судьба. Грозилась передать Пашкины дела следователю...

Ночь, проведенная Бескудниковым в КПЗ — камере предварительного заключения, окончательно укрепила возникшее в его голове решение — из Переславки надо убежать.

В КПЗ — обыкновенной комнате, только с дверью, обитой толстой жстью, и окном, забранном в железную решетку, кроме Павла, ночь коротали еще трое «постояльцев». Известная в поселке пьяница и бичика Дуся, по кличке Кармен, грязная, опустившаяся баба, без возраста и без занятий. Был там еще спящий ничком, страшно храпевший угонщик машины. Невменяемый, он выскочил из столовой «Кия», где обедали водители грузовиков, шедших на Хабаровск, ворвался в кабину ближайшего самосвала (о, шофер-растлап, оставивший ключ зажигания в шитке!) и через пару минут тут же, на райцентровской площади перед магазином и столовой, у памятника легендарному Лазо, насмерть убил молодую мамашу с двухлетним ребенком.

Убийца спал, свесив голову с кровати. Изо рта его по отвисшему подбородку текла желтая, зловонная слюна. Пашка жался от этого запаха и храпа в дальний угол камеры. Ему было страшно. Он в первый раз отчетливо представил, что именно такую жизнь, с такими соседями готовят ему Галина Ивановна и участковый Петраков, садист-отчим и родная маменька-пьяница.

Когда мать подписывала бумагу о Пашкином невыезде, на лице ее, опухшем и безвольном, было написано полное безразличие к судьбе сына...

«В бега» Павел собирался быстро, но тщательно. Ему не нужно было лихорадочно соображать, что брать с собой. Мысленно он уже давно убежал из родного дома, а тянул, тянул из последних сил с этим днем, потому что и неизвестности боялся, и маленькую Ленку было жалко, да и баба Настя, знал, испугается и всполошится...

Бывать в Хабаровске Пашке нравилось. В привокзальной забегаловке, которая называлась «Стрела», у него появилась знакомый «ханыга» — всегда пьяненький дядя Женя, рабочий кафе. Пашка помогал ему грузить пустые ящики и лотки, подметать пол в вечно заплыванном и забросанном окурками «загоне» — открытой веранде, где мужики после работы хлестали мутноватое, разведенное три раза (на заводе, в пути следования и предприимчивой торговкой) пиво. Всякий раз после Пашкиной помощи дядя Женя приносил пару кружек пива, сушки и плавленый сырок. Пиво они пили на заднем дворе, за штабелями пустых ящиков. Здесь Павлу тоже было хорошо: спокойно и даже весело.

Вот на этого Ханыгу (он так себя сам называл) дядю Женю и была у Павла смутная надежда. Как-то в разговоре он обмолвился, мол, ни кола у меня ни двора, ни жены, ни детей. Но зато жить есть где.

Может, пустит «ханыга» Пашку на первое время, а Павел ему и обед сварит, и рыбой свежей завалит, и в «загоне» управиться поможет...

В Хабаровск Паша добрался без приключений. И даже под взглядами постовых милиционеров на перроне он прошел довольно-таки свободно, небрежно помахивая подозрительно раздутым школьным портфельчиком.

Время было позднее — около 10 часов, «загон». Пашка знал, закрывали в девять, но тем не менее он затопал к «Стреле», потому что увидел в подсобке свет.

На стук вышла раздумывавшая толстая тетка-продащица, что-то дожевывая на ходу и вытирая яркие губы тыльной стороной ладони:

— Чего тебе, мальчик?

— Вы не знаете, где дядя Женя живет?

— Какой дядя Женя?.. Ханыга, что ли?.. Так мы его еще месяц назад уволили — пил день-деньской. А тебе он зачем?

— Да я... Ему тут из деревни родственники кое-что передали.

Тетка хмыкнула:

— Он где-то у слесарей в подвале живет. Во-о-он в тех домах.

Она махнула рукой в сторону высоток, горящих окнами за памятником Ерофею Хабарову, вальяжно приспустившему атаманскую шубу с плеча.

Найти Ханыгу оказалось делом несложным.

Пять щербатых ступенек вели в приоткрытую дверь подвала, откуда доносились голоса, звон стаканов, возгласы: «За все хорошее!»

За что хорошее они могли пить, эти лохматые, с серо-желтыми лицами мужики?..

Бойлерная представляла собой просторную комнату, какие встречаются в подвалах многих домов. Обыкновенно здесь размещаются толстые трубы в изоляции и с вентиля-

ми, вздыхают насосы, а стрелка манометра показывает, тепло ли жильцам дома. Здесь всегда душно, воняет жжеными тряпками, а под потолком горит мутная лампочка, проливая на трубы и убранство комнаты пестрый свет. Обязательный атрибут таких бойлерных — колченогая, покрытая ветхой накидкой тахта или диван, скорее напоминающий нары, нежели предмет мебели.

Ночью на тахте, перекрывая вздох насосов и бесконечные жалобы спящих труб, храпит хозяин бойлерной — спившийся слесарь Жора. Иногда Жора занимается «любовью» на этом диване — партнерш подбирает из таких же, как сам, всегда пьяных бичих, обитающих на железнодорожном вокзале.

Ханыга у Жоры живет в примаках — имеет свой уголок за насосами, где спит на перевёрнутых ящиках. За предостережение «жилплощади» Ханыга служит Жоре верой и правдой: сдает пустую посуду, сшибает гризевники на полбанки дешевой «бормотухи» — с утречка опохмелиться, иногда подмечает заплеванной и заброшенной окурками пол.

Теперь здесь предстояло жить и Пашке Бескудникову.

Новая, «городская», жизнь Пашку обрадовала. Правда, те десять рублей, которые он «нашкулял» на черный день, следующим утром уплыли. Слесарь Жора, хмуро продирая заплывшие кислотами — противной накилью глаза, оборотил, мотнув всклокоченной головой в сторону Павла: «Что за кореш объявился?» Ханыга помолчал и вместо ответа поинтересовался у Бескудниковых: «Пашка, «бабки» есть?.. Ты тебе потом отдам, гад буди!»

Десятку пропили за день. И опять Пашке было хорошо сидеть в компании с взрослыми людьми, участвовать в спорах о Леньке и его политике (так между собой они называли Леонида Ильича Брежнева), гоношить немудреную закусь — теперь это была его главная обязанность: доставать пропитание для Ханыги и Жоры. Пашка бегал на расположенный неподалеку от вокзала базар, где ловко перезнакомился с цыганками, торгующими помидор, жевательной резинкой и полиэтиленовыми пакетами. Они в нем сразу признали своего. От цыган, правда, ему ничего не перепало, но зато они подсказывали, где можно незаметно взять то, что плохо лежит. Иногда он помогал разгрузить мешки с картошкой краснотолстым толстым теткам в телогрейках, приезжающим в Хабаровск из приамурских деревень. За работу получал или рубль, или с полведра крупной картошки.

Более всего промышлял сдачей бутылок. Конкурентов в этом кропотливом деле у Пашки было много — все привокзальные и околобазарные бичи, беспутное племя тунеядцев и проходимцев, ютящееся на чердаках и в подъездах, в канализационных колодцах и таких же, как Жорин, полуподвалах. Павел быстро изучил их подлые нравы и дикие привычки. На охоту за «пушиной» (так они называли между собой стеклотару из-под вина и водки) выходил с раннего утра, когда большинство бичей и бичих еще спят тяжким нездоровым сном, пригревшись у теплых радиаторов в подъездах или у труб в подвалах и на чердаках. Павел старательно обходил все укромные уголки привокзального микрорайона, обшаривал урны, газоны и скверы, заглядывал в подъезды домов и мусорные баки. Иногда «охота» была удачной — набирался мешок бутылок, что означало почти червонец чистых выручки. Только червонец, потому что по пять копеек с бутылки Пашка отваливал продащице тете Любе, которая, в свою очередь, снабжала парнишку-промысловика дефицитными ящиками и принимала его добычу без очереди.

Путешествуя по канализационным колодцам и подвалам в поисках «пушины», Пашка обнаружил еще один источник доходов — дождевые черви. В развалах жирного ила, скапливающегося у труб, под крышками люков, под полусгнившими балками деревянных перекрытий крыш червей, что называется, кишмя кишело. Особой популярностью у рыбаков пользовались «морячки» — упругие и юркие полосатые червячки, которые водились большей частью вблизи канализационных стоков. Кто же полезет в нечистоты, в ужасающую вонь за какими-то «морячками», на которых (черт бы их побрал!) особенно здорово берется карась, а то и сам хозяин амурских проток — золотисто-розовый, как поросенок, сазаи?.. Конечно, бич, которому в этой жизни уже нечего терять.

Недалеко от речного вокзала, на набережной, организован рынок рыбацких червей. Девятое рубля за банку не спрашивай! А уж «морячки» — те и до тройка за сотню доходили. Рано утром, часов в пять или шесть, к «пятячку» у дебаркадера подкатывала черная «Волга». Из машины выходил хозяин, которому за делами и заботами большой важности, конечно же, некогда рыться в дерьме. Да и зачем это делать, коли при шуме подъезжающей «Волги» из ближайших кустов высовываются отекие, заросшие щетиной лица бичей-«червятников», и перед взором желающего отдохнуть на природе руководителя предстают разнокалиберные жестики, полные червей.

Угадав психологию рыбаков, подъезжающих на государственных машинах, Пашка и здесь обошел своих конкурентов на два порядка. Банки под червей он использовал только чистые, покрывал их вляжией марлевой (так черви на жаре дольше сохраняются), а чтобы не разбежалась примаика

ночью от холода, обвязывал марлю резинкой. Вылший класс «червячного» сервиса Павел продемонстрировал однажды, упаковав каждую банку в отдельный полиэтиленовый мешок. Куски полиэтилена — упаковки он подбирал за мебельным магазином и с помощью утюга клеил фирменные бескудниковские пакеты.

В конце мая — начале июня, когда на амурском заречье особенно хорошо клюет карась, Пашка Бескудников стал общепризнанным королем «червятников» и приобрел постоянную клиентуру... И если с пропитанием теперь все было в полном порядке — Павел ухитрился даже в кино ходить на утренние сеансы, покупал в буфете пирожные за 22 копейки, — то обстановка в бойлерной накалялась с каждым днем. Слесарь Жора как с цепи сорвался: вечером в комнату набивалось страшного народа, все пили, матерились, орали песни, плакали и дрались. Распутные молодые женщины, которых приводил из пивного «загона» Ханыга, раздевались, оставаясь в одних юбках или трусиках — отопительный сезон кончился, но Жора занимался «продувкой системы», и в бойлерной было по-прежнему душно. Пьяно хохоча, женщины демонстрировали свои давно не мытые тела, лежали на колени к друзьям, приставали к Пашке. А Жора, одобрительно подмигивая, громко советовал парнишке: «Ух-вати, которая почище, и — на диван!.. Девки, а ну, кто объяснит Пашечке, где корень жизни!» Пашка чувствовал, что попал на дно... День он проводил на базаре и у реки, но ночевать приходилось возвращаться в «бойлерную» — он теперь ее так называл. Ему тут же наливали в банку портвейна, а если не было вина, требовали у Павла денег и отправляли гонца к тете Любе. Пашке теть Люба могла дать и в долг.

Никто из компании ни разу не поинтересовался, откуда взялся среди них пятнадцатилетний подросток Павел Бескудников.

В один из таких вечеров всю бичевскую «малину» накрыли милиционеры с дружинниками, проводившие рейд по подвалам. Большинство обитателей «бойлерной» к моменту прихода служивых уже «не ввязали лыка». Пьяные и страшные, они ползали по комнате, как пауки. При стуке в дверь (Пашка сразу понял, что это милиция — так уверенно к ним еще никто не таранил) все на секунду замерло, а потом поднялся такой шум и бедлам, что в общей суматохе Пашке удалось выскользнуть за дверь. Милиционер, стоявший у входа в подвал, схватил его за плечо: «А ты чего здесь делаешь, парень?» Павел знал, что ждет его в милиции, когда начнутся выяснения: кто и откуда? Давно научившийся мгновенно ориентироваться в сложной обстановке и врать — правдиво, не перебивая, врать, Пашка дернул плечом, спокойно и горько ответил милиционеру: «Я из сорок седьмой квартиры — можем сейчас пойти к нам... Папка у нас сильно пьет. Частенько заглядывает к этим...» Он мотнул головой на полуоткрытую комнату, где мелькали раскоряченные тени. «Так он там, что ли?» — хмуро спросил милиционер и снял с плеча руку. «Нет, — ответил Пашка, — наверное, на речной мотанул, есть там у него дружок в затоне». И хотя милиционер уже не держал его — можно было прыгнуть в сторону, в спасительную темноту, Бескудников прислонился плечом к косяку, как бы готовясь расказать милиционеру о своей жизни. Милиционер, неловко переминаясь, отодвинул Пашку от дверей: «Ты, парень, давай-ка топай домой, а то мы сейчас папкиных дружков грузить начнем...»

Пашка заскочил в соседний подъезд и видел, как за всегдашних коцегарки грузили в «броневик» — машину медветрезвителя — с красным крестом на дверцах.

Самым удивительным оказалось то, что на следующий день к вечеру на Жориной «явке» собрались все, кого вчера забрала милиция. «Обмывали» свободу, на все лады костерили «лежавых» и «ментов» — сотрудников милиции.

В тот вечер Павел по-настоящему напился и плохо помнил происходящее. Напился от безысходности, от того, что, наконец, понял: никуда ему не деться от полуподвалов, пахнущих грязью, от этих людей с серыми лицами и гноящимися глазами. Пашка кричал им: «Знаете, кто вы?.. Нет, нет, Жора, послушай, знаешь, кто ты? Ты — бройлер!» Все хохотали, нисколько не обижаясь на Пашечку, потому что были довольны: ведь их не заставили 15 суток мести дорожки на Амурском бульваре.

Павел не заметил, как к нему подседа одна из частых посетительниц Жориного вертепа — молодая и сохранившая оттенок порядочности на лице Наташка по прозвищу Невеста.

Невеста сидела рядом с Пашкой, подливая ему вина, угощала колбасой, старательно сдувая с кусков крошки хлеба и пепел... Потом Пашка помнил еще торопливые руки Невесты, ее влажный рот и чай-то звериный гогот у них над головами. Потом мутная лампочка над головой закружилась и вовсе пропала, стало темно и душно...

Утром Павел долго, с испугом смотрел на спящую рядом с ним Наташку — лицо ее было спокойным и даже красивым, в отличие от тех жутких рож, которые окружали Бескудников последние месяцы. Наташкины волосы, слегка перепутавшиеся, но чистые — желтого цвета рассыпались по подушке. Подушку Павел нашел как-то на свалке и прита-

шил в бойлерную. От долгого Пашкиного взгляда Невеста проснулась, притянула парнишку к себе рукой и жарко зашептала на ухо: «Пашечка, посмотри на столе — там, кажется, «Агдаша» остался. Похмелимся...» Пахло от Наташки перагаром, черемшой, дешевыми духами.

Пашка встал с кучи тряпья, служившего им постелью, и вышел из бойлерной. Чтобы уже никогда сюда не возвращаться.

V

Тот день был «червивым» — рыбацкая суббота. И Павел, прихватив свой портфель с заранее приготовленными банками, отправился на «пятак» у дебаркадера. План дальнейшего бегства созрел в его голове давно. Нехитрые пожитки парнишка всегда имел при себе — иож, рыбацкие снасти, куртка и пара чистого белья. Несмотря на грязь последнего месяца, которая его окружала. Пашка старался сохранить приличный вид — по утрам мылся, два раза ходил в общественный душ, стирал рубаху и майки. Понимал: если приобретешь бродяжки, от милиции ему не отвертеться.

Исполнив Павел приобрел авторитет и знакомства среди постоянной клиентуры речного «пятачка». Среди тех, кто пользовался его услугами, был седеющий несколько суетливый дядька, которого звали Николай Иванович. Кажется, Николай Иванович руководил какой-то строительной организацией.

Как-то в разговоре Николай Иванович посетовал, что за Чумкой — поселком на левом берегу Амура, прямо напротив Хабаровска — есть у него рыбацкая землянка, которую то и дело разоряют то ли бродяги, то ли сами рыбаки. Землянка эта предназначается для рыбалки зимой, сейчас в ней проку нет, вот Николай Иванович и не заглядывает туда, а землянку тем временем рушат и рушат. Жалко, Николай Иванович в нее и цементу, и бетонных блоков знаешь сколько вбухал?.. Такой вот состоялся однажды разговор, ни к чему не обязывающий. Но Пашке он в душу запал. А что, если предложить Николаю Ивановичу свои услуги — в качестве сторожа?

На «пятак» Николай Иванович приехал последним, когда у Пашки надежды почти не осталось. Сначала предложение паренька обрадовало Николая Ивановича, он забормотал что-то об оплате, дескать, рублей 10 — 15 он мог бы выделять Павлу на месяц, предложил тут же, не откладывая дела в долгий ящик, поехать на Чумку — водомет «Амур» во-о-он он, у берега стоит; вытащил из кармана куртки бумажник, стал рубли отсчитывать... Потом вроде как спохватился: а кто же тебя отпустит? Это, во-первых. А во-вторых, что ты там есть будешь?

Вопросы Пашка предвидел и отвечал — так же спокойно и горько, как отвечал милиционеру-сержанту, задержавшему его у подвала:

— Мамка у меня на «Дальдизеле» работает — послали на лето поварихой в сенокосную бригаду. В августе только вернется... А отец... пьет. Сильно пьет. Так что я все равно один дома живу. Лучше уж на природе — отдохну хоть. Соседей предупреджу, чтоб матери передали... Да и в город наезжать буду.

На том и порешили.

Николай Иванович все-таки отпустил Пашку рублями червонец — «на обустройство». Через час были на Чумке, а еще через час Пашка сидел в сумрачной землянке, умело и хитро вырытой в высоком, глинистом берегу протоки. Здесь отныне ему предстояло жить... Недельку, две, месяц? Этого он не знал. Впрочем, этого не мог знать никто.

Первым делом Пашка потратил червонец Николая Ивановича. Потратил с толком — купил в сельском магазинчике, расположенном на окраине Чумки, две бутылки подсолнечного масла — рыбу жарить, риса и рожек, пряников и сахара. Часть денег, как всегда, припрятал на черный день. Да и на хлеб нужно было оставить. Хлеб на Чумке пекли отменный — из Хабаровска горожане наведывались за этими пышными с поджаристой верхушкой корочкой буханками.

Здесь же, в сельском магазине, Павел вскоре свел знакомство со сторожем Борисом Матвеевичем, грузным стариком, зимой и летом предпочитающим единственный наряд — зеленый дождевик с капюшоном и подшитые валенки. Пашка еще не знал, зачем нужно ему это знакомство... Сердце его предательски екнуло, когда Матвейч строго глянул на Пашку из-под бровей и поинтересовался: «А ты, парнишонек, чего здесь обитаешь?»

Пашка «прокрутил» Матвейчу «ленту» про мамку с «Дальдизеля» и отца, который сильно пьет. А с милицией у него никаких, мол, делов не было и нет.

— Ну, ладно, — сказал старик и, хрипло дыша, поднялся со ступнек магазинчика, где они разговаривали с Павлом, — поживем — увидим... Но смотри у меня! Не фулганить...

Через недельку, когда пришла пора идти в поселок за хлебом и чаем, Пашка прихватил с собой свежего верхогляда, пойманного на перемет, и пяток карасей. Дед Матвейч, живший недалеко от магазина, рыбу принял с благодарностью:

— Видать, парнишка ты заботливый... Я тебе вот чего советую: будет рыбешка лишняя — продавай. Тут из города

много горе-рыбаков приезжают. Водки нажрут, по кустам расползутся, а утром домой надо ехать, перед жинкой отчет держать. А какой отчет, коли он даже спиннинги не разматывал?.. Тут ты и подкатись. Да сдуру много не проси — тройка, пятерку, а не то попадешься. На хлеб и на картошку хватить

Совет деда оказался, что называется, в жилу. Пьяницы-рыбаки валили на Чумку гуртом, благо что ехать от Хабаровска 20 минут на речном катере-трамвайчике. Неограниченным стадом пылили они по поселку, стараясь быстрее добраться до зеленой травки и прибрежных кустов: от жизни городской, что ли, бежали, от жеи своих вредных и непослушных детей, от бездушных начальников и неразрешимых проблем производства?

Скорее Пашка научился безошибочно угадывать в толпе приезжих рыбаков своих клиентов. Условно все общество любителей отдыха на реке он делил на несколько групп. С десяток плотных хорошо экипированных пенсионеров, которые действительно приезжали на рыбалку. Вид и обличье они имели характерное — о таких в народе говорят: «Да ему об лоб поросенка можно бить!» В основном это были недавние служаки — подполковники и майоры в отставке, заливки имели крепкие и перли пехом на заветные, прикормленные рыбацкие места.

Короче говоря, это была категория рыбаков-добытчиков, которая услугами Пашки-рыбака не пользовалась.

Вторая группа более многочисленная, громкоголосая и не такая жадная, как пенсионеры.

Эту группу Пашка называл про себя семейной и с большим удовольствием, без всяких денег, угощал их свежей рыбой, если таковая имелась в наличии. Семейные приезжали на дня два-три, устанавливали яркие палатки, играли в бадминтон, учили плавать своих малых детей. Среди семейных большинство мужей не очень соображали в рыбацком деле.

Семейные любили быстро знакомиться и ужимать сообразно шумным шалмаиом. В шалмане находилось укромное местечко и для Пашки. Кто-нибудь приносил гитару, и семейные начинали петь незнакомые и непонятные, но очень волюющие песни. Особенно Пашке нравилось про лыжи, которые «у пещки стоят», а месяц май кончается и про «постоялые дворы — аэропорты девятнадцатого века». У него аж слезы на глазах (безо всякого, между прочим, портвейна) наворачивались, когда он, к примеру, слушал про виноградишку косточку, зарытую в землю, и про «надежды маленький оркестрик под управлением любви». На следующий день, как услышал эту песню, Пашка подошел к парню, певшему ее, и попросил: «Перепиши слова». Парень усмехнулся, но песню переписал.

Третья компания рыбаков казалась самой понятной Павлу Бескудникову. Эти пьяницы, порой не успевавшие даже до кустиков добежать, стелились на бережку у водички и, прежде чем запалить костерок, пропускали «по единой»... К тому времени, когда котелок на огне бьет горячим ключом и нужно опускать в воду картошку и рыбу, этим горе-рыбакам уже не до уха. Тут и появлялся у пьяного лагеря скромный Пашка Бескудников со связкой свежих карасиков или с парой верхоглядов в руках. Нет, эту рыбу он не торговал, а просто предлагал в общий котел. Зачастую его и просили сварить уху.

Душистое, горячее варево снималось, наконец, с огня, Пашке отводилось место чуть ли не во главе стола. Уха Павла не интересовала, он выбирал закуски городскую — колбаску, помидоры, конфеты и печенье. И выпивку Пашке тоже предлагали: «Рвани, пацан, рыбацкой!» А Пашка и не отказывался. Когда над Чумкой выпыпали мелкие звезды, «клиенты» Бескудникова пели и дрались, храпели в кустах, облепленные комарами, а самые крепкие, пьяно плача, признавались Пашке во всех смертных грехах.

Наутро, если что-то оставалось в бутылках, опохмелялись и пробовали рыбачить, но, как правило, в бутылках не оставалось ничего, да и рыба, конечно же, не клеваала, поэтому утренняя теплоходиком, постанывая и тихоюко матерясь, старались убраться в город, чтобы поспеть к открытию «виноно-водочного».

Вот тут-то и появлялся Пашка-спаситель с садком в руках, наполненным свежей рыбой. Торговля шла бойко: будет чем перед женами оправдаться. Павел, как и учил Матвейч, не жадничал и не перебарщивал — десяток жирных карасей, на рыбацком жаргоне именуемых «лаптами», продавал за тройку. Рублей на пять-шесть наторгует и во-свосяи. На пропитание хватало.

Жизнь в землянке —вольная и независимая от взрослых — Пашке нравилась. У него сложился свой распорядок дня: с утра — рыбалка, хозяйственные дела, заготовка хвороста, походы в магазин, а вечером — сидение с компаниями у костра. Лес, река, релки вдоль проток с ранними грибами — родная Пашкина стихия, об иной жизни он и не мечтал. Мать с отчимом почти не вспоминались, только вот баба Настя и Ленка...

Все чаще Павел стал замечать за собой признаки взрослой болезни — похмелья. С утра его тянуло обязательно выпить хотя бы полстакана портвейна, а к вечеру ему надо было выпить уже бутылку.

Была и четвертая разновидность городских компаний: Пашкины сверстники — старшеклассники, студенты.

Рыбачить толком они не рыбачили, больше орали на английском языке какие-то непонятные песни, тискали по кустам девчонок в модных штанах-джинсах, ну, и винишко, конечно, тоже попивали. Этих компаний Пашка боялся больше всего, и больше всего Бескудника тянуло к ним.

Почему боялся? Да потому, что не знал, как его примут городские, о чем он, такой, будет с ними говорить. Ну, а тянуло... Не все же время глушить со взрослыми дядьками вино и слушать их рассказы про плохих начальников и глупых жен.

В одной из таких компаний Пашка впервые столкнулся с наркоманами. Дело было вечером, в конце августа. Четверо худых парней — длинноволосых, в немислимой расцветки майках, спустились с трапа теплохода. С ними — девичьи, модные, небрежные в жестах, громкие на разговор.

Пашка стоял у будки ожидания, высматривал клиентов. Подходящих не было. «Ничего,— подумал Пашка,— сгодятся и эти». Подошел, предложил свежей рыбы.

— А ты что, местный? — спросил один из парней. Длинные выходящие волосы были перехвачены у него по лбу цветной веревочкой. Слово «ме-е-естный» он произнес на козылный манер, нарочито растягивая «е» в середине. Девушки угодливо и деланно расхохотались: «Ну ты, Бен, даешь!» «Ага,— понял Пашка,— Беном, стало быть, они зовут самого патлатого».

— Слушаем не знаешь, тут конопелька не растет? — продолжал интересоваться Бен. Вопрос его вызвал недоумение в компании.

— Ты чего это, Бен, у каждого встречного-поперечного будешь спрашивать? — загалдели парни. Они словно продолжали спор, начатый раньше, на теплоходе.

— Ништяк! — прикрикнул Бен. — Ну, ладно, приходи к нам вечером — попокуем. Мы вон под теми кустиками расположимся... Хотите, чувихи, под кустики, а?

«Чувихи», довольные шуткой, взвизгнули.

«Зачем им конопля?» — думал Пашка, собираясь вечером в компанию «под кустики». С собой он прихватил вяленых чебаков и бутылку вина «Агдам».

Подошел к костерку, молча выложил на разостланную скатерку свою долю. Бутылку «Агдама» встретили полным равнодушием. Бен повертел вино в руках, презрительно процедил сквозь зубы: «Клоподавка...»

Пашка усмехнулся, открывая бутылку:

— У вас, иаверное, «Столичная»...

— У нас есть кое-что посильнее «Столичной», — значительно ответил Бен и заговорщицки перемигнулся с девушками.

Только тут Павел обратил внимание на то, что вся компания ведет себя как-то странно. Один парень, самый худощавый из всех, лежит на спине, задрал майку почти до подбородка и уперев взгляд в ночное небо. Изредка он начинал шевелить руками, елззить по траве, словно искал позу поудобнее, и как-то странно хихикал.

«Пьяный уже», — решил Пашка, — да только почему-то бутылок не видно».

— Стаканы-то у вас есть? — Он повернулся к девушкам.

Девушки возлежали в картинных позах на постланном прямо на траву одеяле, глаза их поблескивали в пламени костра.

Третий спутник Бена сидел на бревнышке, опустив голову и как-то бессильно уронив тяжелые, набухшие веями, кисти рук.

— Второй приход, — мотнул головой в его сторону Бен.

Что за «приход», почему второй, а не первый? Пашка ничего понять не мог, но смутное беспокойство почувствовал.

— Так что, иет стаканов? Давайте тогда с горла — за знакомство! — Он протянул бутылку девушкам.

Но Бени мягко, но настойчиво отвел его руку в сторону:

— Мы алкоголь не употребляем.

— Да, не пьете, — засмеялся Пашка, — а чего такие смурные?

Бен значительно посмотрел на девушку:

— Ну, что дадим ему наркоты попробовать?

— А не заложит?

Пашка дернулся, привстал: это он-то, Пашка Бескудников, кого-нибудь заложит?..

— Смотри, — Бен протянул Пашке короткую, сигарообразной формы, самокрутку, — это косячок с конопелькой, курить надо так...

Бен зажал сигарку между ладонями, близко поднес к губам, коротко и сильно затянулся, словно хватанул, как собака, кусок воздуха. Пашка уловил сладковатый запах незнакомого табачного дыма.

— На, пробуй. — Бени протянул тлеющую самокрутку Павлу...

«Косячок» пускали по кругу. Только тот, на траве, по-прежнему глядел в небо и хихикал.

От первой самокрутки у Пашки слегка закружилось в го-

лове, но никакого кайфа, который обещал Бен, он не поймал...

Пашке казалось, что он потерял чувство реальности происходящего. Бред, который сквозь смех несли наркоманы, пугал его, он уже начинал понимать, для чего они пускают «косячок» по кругу, потому что Жаниа, не стеснясь присутствующих, прилегла рядом с Воликом, скинув джинсы и кофточку. Третья девушка взгромоздилась на колени к Бену, а тонкая с дерзкими глазами Ленка пыталась научить Пашку курить «из губ в губы».

Пашка отпрянул в темноту, залпом опорожнил почти полбутылки портвейна и вернулся в круг костерка, где металась, сплетаясь в клубок и распадаясь, причудливые и дикие тени. Скоро и ему то ли от вина, то ли действительно от наркоты стало весело и хорошо...

Пашка Бескудников проснулся от холода, проникшего, казалось, во все клеточки его тела. Тело нестерпимо болело, как будто кто-то очень долго и старательно бил Пашку палкой.

Он проснулся под кустом, мокрым от выпавшей росы. Рядом, уткнувшись ему в колени, спала расхристанная Ленка, и Пашка вздрогнул, припоминая вчерашнее.

Компания наркоманов пробуждалась рыками, тяжело выходя из состояния полубреда. Волика колотило, как запойного пьяницу с похмелья, он не смотрел в глаза, молчал, собирая веточки для костра.

— Эх, пожрать бы чего-нибудь, ребята, — скулила Жанна и жалась к костерку.

Павел раздумывал минуту и командовал:

— Пошли!..

С удивлением и откровенной радостью рассматривали они Пашкино жилье.

— Ребята, так это ж разлюли-контора! — выразил общее настроение Бен и плюхнулся на нары, застланные чистым одеялом, с грязными ботинками.

Пашке сразу не понравилось, что они повели себя в землянке как хозяева. Но отступать было поздно. Он пригласил гостей...

Девочки стали «варганить» суп из Пашкиных запасов, а Бен с друзьями собирался опохмелку. Денег на всех набралось рублей восемь. «Мало», — решил Бен и вопросительно глянул на Пашку.

— Чего мало? — рассудил Павел. — Пошлем гонца в город, купит четыре бутылки портвейна. Опохмелиться хватит.

Волик поморщился:

— Да нет, Паш, твой «Агдам» делу не поможет... Надо сходить в общежитие мединститута — знаешь, напротив книжного магазина? Там у моего знакомого можно купить наркоты.

— От вашей наркоты голова разваливается, лучше уж бормотуху.

— Нет, Паша, — это уже Бен командовал, — клин клином вышибают... Можешь одолжить нам денег? Мы тебе обязательно отдадим. Мы с Воликом — студенты, в меде учимся, за целое лето стипендию не получали, на днях огребем.

Пашка поколебался — а, была не была! — вроде бы ничего ребята, достал из баночки наличные — двадцать пять рублей с мелочью.

Поход Волика и Бена в Хабару завершился удачей. Приехали возбужденными, с поблескивающими глазами.

Пока они ездили за «поправкой», девушки сварили суп, нажарили рыбы. Пашка повел Ленку на берег — показывать закидушки и заодно проверить перемет.

Ленка оказалась вполне приличной девчонкой, она была старше Павла всего на два года и училась в технологическом техникуме. Про минувшую ночь они не говорили. Пашке даже показалось, что Лена обо всем позабыла. Она расспрашивала Павла, почему он здесь живет один, чем питается, кто у него родители...

Неожиданно для себя Павел все ей рассказал. Лена внимательно выслушала, а потом вдруг тихо сказала:

— Знаешь, Паша, тебе нужно возвращаться... Ну, может быть, не домой, а пойти к этому директору школы, который защищал тебя. Пропадешь ты здесь и с нами тоже пропадешь.

Лена стала тихо плакать и рассказала: сначала она тоже не могла привыкнуть к наркоте, а теперь вот втянулась и не может без нее. Бен этим пользуется, страшает, что всех могут в тюрьму посадить, и вообще он грязный, противный, пристаёт и всю компанию у себя в кулаке держит, только ты не говори ему об этом, у него дружки сильные, он давно уже никакой не студент, как и Волик, их давно из института выгнали, но деньги они тебе отдадут, не сомневайся. Я их заставлю это сделать, пригрожу милицией, а ты, Пашка, ты хороший: загорелый и сильный, хоть и мальчишка совсем, с тобой как-то спокойно. ты очень уверенный в себе, потому что тебе не на кого больше надеяться, давай я буду приезжать к тебе, привожу продукты, только ты брось пить бормотуху, а я брошу наркоту, а может, я тебе помогу в каком-нибудь училище устроиться, они на всем государственном, и профессию получишь, попроси своего отца, он в райисполкоме работает, и тебя возьмут в училище, только

надо бы справку достать о том, что восемь классов окончил...

Впервые Пашке стало очень хорошо без вина и браги — от Ленкиных слез, от ее бессвязного лепета, от солнца, которое наконец согрело осенний берег. И впервые ему по-настоящему захотелось поцеловать эти припухшие губы девчонки, по существовать, совсем еще девчонки, решившей поиграть во взрослую жизнь. Впервые Павел Бескудников подумал, что в этом мире можно отвечать не только за самого себя...

VII

События вечера, ночи, дня и еще одного вечера, последовавшие после разговора Пашки и Лены на берегу осеннего Амура, напоминают мне стремительные кадры документального кино.

Когда мы восстанавливали эти события с Пашей Бескудниковым в канцелярской комнате детской трудовой колонии, я так и представлял их себе — кадрами на экране в темном зрительном зале.

Кадр первый. Землянка на берегу реки, темный осенний вечер. Что-то порочное, гадкое в движениях и позах компании молодых людей, сидящих за кургузым столом, лежащих на деревянных нарах землянки. Камера укрупняет нам, зрителям, лица и руки парней и девушек. По кругу ходит замусоленный «чинарик» — окуроч, набитый не просто табаком. Об этом мы можем догадаться по ядовитому зеленому дымку, витающему вокруг лиц. Дым всепроникающ. Он заползает под майки и кофточки ребят, лезет в глаза и уши, он струится из приоткрытой двери землянки, стелется по берегу, взмывает над широкой рекой и, наконец, окутывает огромный город, светящийся в ночи мириадами огней.

Тем временем в землянке вспыхивает дикая драка между наркоманами и хозяином землянки — подростком Павлом Бескудниковым, скрывающимся здесь от своей прошлой жизни. Формально драка вспыхивает из-за девчонки Лены, в которую Павел, кажется, влюбился. Он читал ей стихи теплым днем на берегу Амура, рассказывал про родителей-пьяниц, а Лена обещала ему помочь устроиться в училище — у нее отец какой-то начальник, ему это ничего не стоит. И вот в одну секунду маленькое счастье, которое впервые в жизни начал обретать Пашка Бескудников, разрушено: Лена сидит на коленях у предводителя наркоманов тохматого Бена, голова у нее трясется от хохота, а в руках она держит обыкновенную школьную тетрадку, в которой крупными детскими буквами Павел Бескудников писал свои первые стихи. Лена хохочет, потому что у нее «приход», то есть наркотик начинает наконец-то действовать, и ей становится неужелично весело. В таком состоянии наркоманам необходим объект для коллективных издевок. Этим объектом становится Пашка с его рассказом о трудной жизни, его тетрадь с наивными, странно звучащими в этой землянке стихами.

Обнаженная по пояс Лена с торчащими еще совсем подростки в разные стороны грудями, худые руки Бена с грязными ногтями, тетрадка, летящая в огонь печурки, иступленный крик Пашки: «Тварь! Продажная тварь!..» — это второй кадр нашей хроники.

Мы, зрители, должны понять, что не из-за предательства наркоманки начинается драка Павел Бескудников. Он отчетливо и ясно вдруг увидел сейчас свое будущее. Павел нацупывает нож — тот самый нож отчима-садиста, который он взял несколько месяцев назад, сбегая из отчего дома. Но Бей успевает первым. Он хватает пустую бутылку из-под дешевого вина и бьет Павла по голове. Мы, зрители, понимаем, что это еще не конец трагедии, а только ее начало...

Кадр третий. Павел Бескудников очутился в землянке. Лицо его залито кровью, бровь рассечена, но голова уцелела. Вокруг следы пьяной драки, дебоша... Павел слышит чьи-то шаги и голоса. На четвереньках он выбирается из землянки и прячется в кустах. Он видит, что по тропинке идет Лена с двумя милиционерами. Она размахивает руками и что-то отчаянно говорит. Чуть поодаль, вслед за ними молча плетется Волик. Ему холодно, он все время хватается за плечи, словно кутается в теплый платок. Павел не слышит, что объясняет сержантам Лена, но зато мы, зрители, это хорошо слышим:

— Они его чуть не убили, ударили бутылкой по голове, а потом пинали ногами. Я их еле оттащила, перевязала голову, он живой, просто он уснул...

Стоп!.. Стоп, мотор.

Мы, зрители, не должны это видеть только со стороны. Мы должны в этом участвовать. «Кина» сегодня не будет.

Пашка плохо помнил происходившее той ночью. Стихи свои он читал — верно, они над ним издевались. Ленка, которая почти призналась ему в любви, завалилась на нары с Беном, и тогда он начал хватать ее за голые плечи. С ножом — не помнит... Вроде бы не доставал. В милицеском описании?... Да, имеется. Бутылкой первым начал размахивать он, а потом сам же и схлопотал по голове. Нет, не сильно, только бровь рассекли. Ленка ему же и заклеивала. Попались они, наверное, на речном вокзале: слишком вид имели «привлекательный». Тогда же и заложили его землянку.

Кажется, Волик заложил, а Ленка милиционеров привела. Пришлось ему снова «игои делать»...

Путь в землянку теперь ему был закрыт. В город он тоже не мог приезжать: наверняка предупредили команду трамвайчика, а на дебаркадере — речную милицию. К знакомым бичам-«червятникам» не доберешься. Денег в кармане июль.

Пашка отмыл лицо, стараясь не притрагиваться к заклеенной пластырем брови — в землянке нашлась аптечка, закружил, закружил вокруг Чумки.

Днем в поселок не пойдешь — любой заметит. Голова болела — то ли от выпитого вприкуску с «косячками», то ли от удара.

Решил дожидаться ночи. Ему нужно было единственного — глоток вина, глоток, чтобы перестали стучать в голове проклятые молоточки, чтобы унялась дрожь в руках, чтобы забыть вчерашнее... Пашка знал, когда сторож сельского магазина Борис Матвеевич уходит пить чай — после двенадцати. Пес по кличке Пират за лето к Пашке привык, поэтому Бескудников не боялся, что собака залает на него.

В землянку возвращаться он не хотел, поэтому ломиком-монтажку достал из-под будки на берегу: матросы с теплохода оставляли иногда здесь свой инструмент. Монтажку — гладкую, ладную — он присмотрел давно и тогда же решил: в хозяйстве пригодится.

Вот и пригодилась...

К магазинчику он подобрался со стороны кустов, так было незаметнее. Пашка слышал, как старчески кряхтя и покашливая, сторож Матвей грелся цепью — сажал Пирата на привязь. Когда затихли в переулке шаркающие валенки сторожа и когда Пашка, судорожно сжимая в руках отполированный ломик, появился перед дверью магазина, освещенной тусклой лампочкой, из-за угла высочил неприязненный Пират и вместо того, чтобы завилать хвостом при виде Пашки, подкармливающего собаку остатками жареной рыбы, пес разразился глухим, недоумевающим лаем.

Пашка ударил собаку по голове ломиком. Ударил расчетливо — точно и с оттягом, чтобы пес сразу захлебнулся.

Целую вечность, казалось ему, он не мог попасть монтажкой в пробой замка. И только единственная мысль билась в голове: а если бы из-за угла вышел сторож Матвейч?... Оцепенение и вялость охватили Пашку Бескудникова, когда он, наконец, проник в магазин. Ящики с портвейном и водкой обнаружались в запаске — комнате-пристройке, примыкающей к магазину. Отсюда же, из запаски, крутая лесенка вела на чердак. Пашка, словно во сне, сбил замок с люка, ведущего на крышу магазина и поднялся наверх.

Здесь его и нашел сторож Борис Матвеевич, через полчаса вернувшийся на службу. Возле Пашки, забывшегося то ли во сне, то ли в бреду, валялась пустая бутылка из-под портвейна, вторая, непотная, была у него в руке, а пачка нераспечатанной плитки шоколада лежала на крышке открытого люка.

Этот ущерб, причиненный Павлом Бескудниковым сельскому магазину в поселке Чумка, потом будет фигурировать в суде.

Борис Матвеевич долго смотрел на Пашку, по-старчески прищуривая: «Говорил я тебе — не фулганить!..», потом снял с себя гремлящий брезентовый плащ, укрыв преступника и пошел вызывать из города милицию.

На своем быстроходном катере милиция через 20 минут после звонка явилась в Чумку. Стало быть, преступление Павла Бескудникова было раскрыто за кратчайший срок. На суде Матвейч, выступавший свидетелем, сурово сказал Пашке: «Пирата я тебе не прощу».

И Павел Бескудников, несмотря на присутствие в зале матери и отчима, директора школы Владимира Александровича и учительницы Галины Ивановны, слесаря Жоры и бича дяди Жени-Ханыги, постригшегося наркомана Бена и, самое главное, Ленки — печальной и испуганной Ленки, расплакался. Расплакался, как пацан, размазывая по лицу слезы кулаком. Он и в заключительном слове сказал как-то наивно и глупо: «Простите меня. Я не виноват, что все так получилось. Я больше не буду...»

Но судья ему не поверил. И Павел Бескудников был наказан по всей строгости советских законов. Справедливых и гуманных.

VIII

Вот и вся версия короткой жизни Павла Бескудникова, жизни, которая привела его к преступлению.

Я не выдумал в ней ничего, кое-где даже опустил детали, подробно рассказанные мне с Пашкой в наши длинные вечера в колонии.

Сейчас скрипнет дверь, и войдут — сначала воспитатель Корытов, а потом сам Пашка Бескудников.

Как мне ответить на их немые вопросы?

Виктория
ГАНЧИКОВА

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, РОДИВШЕЙ МУСОРГСКОГО



Модест Петрович Мусоргский, чье 150-летие со дня рождения весь мир в этом году празднует,— первостатейный русский гений. И мы скромно чтим эту дату, хотя такого, как наш Мусоргский, в мире не было ни до, ни после (а застенчивость в признании отечественных гениев — дело для нас привычное). Из Мусоргского вышли многие композиторы, а идеи его перевернули вековые наработанные представления о путях развития музыкального искусства. А свет его — это свет гуманизма, человечности.

Тема эта едва ли не самая главная по отношению к композитору. И благодарность человечества ему должна была бы быть не меньшей, чем Толстому и Достоевскому. Ведь суждено ему было услышать внутренним слухом и передать через музыку все, что свойственно великому и грешному человечеству. От лепета ребенка в радости тепла и благополучия до плача голодного сиротки, от бреда безумного властителя, отравленного безнаказанностью власти и отторгнутого в полное и смертельное одиночество, до самого невероятного — воплощения массы, народа, толпы вопреки всем многовековым канонам, установленным еще во времена греческой трагедии, но как некоего монолита, провозглашающего единый приговор или проповедующего одну идею, а дифференцированно, во всей сложности, взаимодействии и противодействии. Масса — живая — становится главным действующим лицом. Какое бесстрашие перед современниками! Какая последовательность в своих убеждениях! Какой завидный пример реального воплощения в искусстве своих философских убеждений!

И как мало оказались способны оценить великого провидца при жизни даже его кажущиеся единомышленники. Ни Балакирев, ни Стасов не понимали, не видели в Мусоргском реальную силу, уже опровергающую традиции. А ниспровергатель и сам до конца не осознавал своей мощи — мощи русского музыкального Геракла. Иначе не терзался бы из-за каждого нового доказательства непонимания своих друзей, не мучился бы от безтактных замечаний Стасова, обиженного тем, что Мусоргский не воспользовался его советами по либретто «Хованщины» и пишет «Сорочинскую ярмарку».

«Глупая, несчастная затея,— негодует критик и определяет поздний период творчества Мусоргского как период упадка.— Его сочинения стали становиться туманными, вычурными, иногда даже бессвязными и безвкусными». Это в тот период, когда создаются «Хованщина», «Картинки с выставки», «Песни и пляски смерти». На похоронах композитора Стасов молчал... Боготворимый юным Модестом М. А. Балакирев демонстрирует беспардонное менторство: то не одобряет намерение писать оперу («Он, должно быть, совсем рехнулся и превращается в таракань?»), то разносит «Ночь на Лысой горе» — симфоническую картину редкого стихийного своеобразия и музыкальной живописности, то оскорбительно отзываясь о своем ученике в письмах к друзьям. Не избежал Мусоргский, несмотря на верность идеям «Могучей кучки», и злопыхательской критики Цезаря Кюи — чего стоит хотя бы его злополучная рецензия на премьеру «Бориса Годунова»...

Даже наиболее благожелательная по отношению к наследию Мусоргского позиция Римского-Корсакова весьма неоднозначна. Римский-Корсаков посвятил много времени и сил творческому наследию Мусоргского. Но понимал он свою роль весьма своеобразно. Вот что вспоминал по этому поводу Игорь Стравинский: «В то время, находясь под влиянием учителя (Римского-Корсакова), который пересочинил заново почти все творения Мусоргского, я повторял то, что обычно говорилось о его «большом таланте» и «бедной технике» и о «значительных услугах», оказанных Римским-Корсаковым его «запутанным» и «непрезентабельным» партитурам. Довольно скоро, однако, я понял пристрастность подобных суждений и изменил свое отношение к Мусоргскому». В основе самоуверенного «исправления» Мусоргского лежал, разумеется, не злой умысел, а откровенное непонимание. Причем непонимание закономерное. Не всем дано так опережать современников. Не все могут, не оглядываясь назад, устремляться в неизвестное, прислушиваясь только к внутреннему голосу.

Родина Мусоргского — Торопецкая земля, теперь Псковская область. Древняя земля, через которую проходил путь «из варяг в греки». Род Мусоргских тоже древний. У истоков рода — князья Рюриковичи. Титул был потерян в жизненных перипетиях, когда один из князей в малолетстве был взят на воспитание в монастырь. Потом род измельчал от многих разделов и захирел. Стали его выходцы мелкими землевладельцами да несли ратную службу. Ко двору пробижаться и не пытались. Позже породнились с крепостными. Уже бабушка Модеста Петровича была крепостной. Сам Мусоргский считал «соединение крепостной с аристократом помещиком на благо россиянам». Ни о какой артистической карьере поначалу он не помышлял, а закончил достойно школу гвардейских подпрапорщиков и был произведен в офицеры. Все, кто его в те годы знал, помнили его подтянутым, не без изящества, довольно франтоватым и легкомысленным баловнем, умеющим хорошо играть на рояле, не более того. И вдруг, через два года, этот девятнадцатилетний юноша оставляет карьеру, чтобы... заняться музыкой! Да, поистине, он всегда слушался внутреннего голоса, хотя, увы, не мог не слышать и другие голоса — голоса осуждающие преследовали его до гробовой доски. Но первый период приобщения к Музыке был светел. Знакомство с А. С. Даргомыжским, который заразил Мусоргского идеей воплотить в музыке поэзию Пушкина. Кто, как не Даргомыжский, воссоединил впервые интонацию слова и музыкальную интонацию. Это грандиозное открытие в мировой музыкальной культуре Мусоргский доведет до совершенной естественности. До сегодняшнего дня этот принцип остается доминирующим в построении музыкальной оперной ткани. Я сознательно выделяю имя Даргомыжского, перед которым наш национальный долг тоже велик.

Затем идут общеизвестные вещи: Модест становится учеником Балакирева, знакомится со Стасовым и входит в «Могучую кучку» — братство пяти музыкантов, противопоставлявшее себя «Русскому музыкальному обществу», также

сравнительно недавно возникшему. Содружество столь разных по возрасту и даже, чего греха таить, по одаренности людей не было ни абсолютным, ни прочным. Оно имеет картинно-судальную репутацию и, думаю, еще ждет своих исследователей. Противоречия «Могучей кучки» были также могучи и имели серьезные последствия для судеб русской культуры. «Могучая кучка» началась как содружество дилетантов, отвергнувших академическую школу, буйтовавших против «западников», отстаивающих национальные пути развития во всей чистоте, смелости и неповторимости. Но как неоднозначна судьба не только Мусоргского, который — в сорок два года! — умер в полном одиночестве, но и других членов этого содружества! Бородин так и не отдается в полной мере своему музыкальному призванию. Известен памятник Бородину, но это памятник Бородину-химику, а не композитору. И если Бородин не до конца понимал, какое музыкальное дарование таит его душа, то почему же здесь не сыграло свою роль братство? Зачем оно тогда?

И последнее. Мусоргский — главная жертва косности своих товарищей, косности, которая рядилась в новаторство, да и то недолго. А самый последовательный и удачливый из «Могучей кучки» — Римский-Корсаков. Он повернулся лицом к самому серьезному профессионализму и отдал ему жизнь, достигнув высочайшего мастерства. Он стал профессором и директором Петербургской консерватории. Он пропагандировал, как мог и умел, произведения своих товарищей по братству. Он не забыл о них, хотя надолго пережил каждого. Но вот мы вглядываемся в историю русской музыкальной культуры... В нашем веке — в масштабах мира! — грандиозны фигуры Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. Они оба ученики Петербургской консерватории. Они оба новаторы. Они открыли почти все, чему суждено было быть открытым в нашем веке в Музыке, и они оба — те ученики Римского-Корсакова, от которых он отказался, которые пошли своим путем вопреки мнению учителя. Он не хотел им позволить делать то, для чего они были предназначены. Разрыв был полным.

Остается бога благодарить, что оказались Стравинский и Прокофьев покрепче духом и здоровее, чем Мусоргский, на которого экзекуции действовали убийственно, хотя от убеждений своих он никогда не отрекался. Но, может, если бы не страдала беспрерывно его обнаженная, израненная душа, не сошел бы он в могилу, не закончив большинства своих опер...

Но поскольку еще не наступило время, когда в полной мере осознано величие его наследия, имеем ли мы право судить его современников?

Как же редко звучит его музыка в нашей жизни! Произошел ли в юбилейном сезоне прорыв?

Состоялось, конечно, торжественное заседание в Большом театре, шли на сцене его «Хованщина» и «Борис Годунов». Отрадно, что совсем недавно в Колонном зале Дома союзов в концертном исполнении прозвучала и ранняя опера Мусоргского «Саламбо», никогда прежде не шедшая у нас. Исполнили оперу Большой симфонический оркестр радио и телевидения под руководством В. Федосеева и солисты Всесоюзного радио.

А Ленинград не оплошал. В этом сезоне в Кировском театре под руководством В. Гергиса осуществлена постановка всех опер Мусоргского. Можно сказать — свершилось! Именно ленинградцы выступают инициаторами сбора средств на установление памятника Модесту Петровичу Мусоргскому.

В Москве между тем весь этот год устраиваются грандиозные рок-шоу, рок-парады, рок-предприятия всех мастей и направлений. Я не против этого, но все же позволю себе задать вопрос: а когда руки дойдут до подлинной пропаганды русского музыкального искусства, истинно народного, патристического до такой степени, какая не силась ни обществу «Память», ни нашим писателям-«деревенщикам» в полном составе? А ведь именно Москва воспитала Мусоргским в своих двух грандиозных операх. А есть ли лучший гимн великому городу, чем вступление к «Хованщине» — «Рассвет над Москвой»? Кстати, и это чудо русской музыкальной поэтики почти не звучит. Даже в виде заставок!

Эх, не любим мы сами себя, а вернее, недолюбливаем крепко русское в самих себе и в других! Теперь русские только и увидишь как приманку для падающего до экзотики аборигенов иностранца. Да и суетливая продажа этого русского на конурке ли московских красавиц, или в рекламных роликах — не «звучит». А русское — сложное, величавое,

трагичное и смешное до колик, шутовское и самозабвенно-удалое, трогательное и беззащитно-целомудренное — вот оно все в музыке Мусоргского! И щемит, и стонет, и радуется, как никто на свете, и любит всем теплом, всем жаром сердца человеческого.

Да как научить слушать-то? Столько лет не до этого было... Теперь надо наверстывать — повернуть народ к своей собственной, кровной, выстраданной культуре. Ведь какие колоссы все еще ждут признания! Какие параллели напрашиваются! И первая — Толстой — Мусоргский — Суриков. Краса, мощь и гордость.

И обращаться надо к молодежи и детям. Только они еще способны повернуться лицом к подлинной культуре. Брать в расчет «потерянность» поколение тридцатилетних — сорокалетних не приходится. Те немногие из них, кто не заблудился окончательно в лабиринтах псевдокультуры, придут и присоединятся. Искусство захватит их. Но молодых и юных можно и должно вернуть к отечественной культуре. Только они могут ее защитить.

Сейчас я перехожу к рассказу о праздновании дней Мусоргского на его родине, где без основополагающего участия детей и студентов ничего бы не получилось.

Место действия — Псковская область. Город Псков, город Великие Луки, села Кунья, Карево, Наумово. Прошло 70 лет с той поры, как был принят ленинский декрет о монументальной пропаганде, в котором одним из первых деятелей мировой культуры, чьи имена должны быть высечены на памятниках, было имя Мусоргского. А сколько за это время ушло мрамора и бронзы на памятники временщикам, на многофигурные безликие композиции!.. И вот, наконец, на вершине высокого холма у села Карева, где родился Мусоргский, стоит он в своей первой бронзовой одежде и смотрит на Жизинское озеро, на которое любил смотреть при жизни... От дома, где родился великий сын псковской земли, остался только фундамент, который сейчас подновили. Село гибнет, объявлено неперспективным... Авторы памятника — скульптор В. Думайкин и архитектор А. Степанов. Место имеет загадочный акустический эффект — почти храмовую акустику. С подиума памятника можно петь и музицировать — звук летит вдаль и возвращается, не прерывая полета. Какие концерты зазвучат здесь, если удастся создать традицию! Но трудно, очень трудно энтузиастам выдерживать постоянную борьбу с чиновничьей системой, тормозящей все и вся. Если бы не поддержка нового первого секретаря Псковского обкома партии Ильина, памятник не удалось бы поставить, и, может быть, не было бы и Дома-музея в соседнем Наумове, где стоит дом матери композитора. Т. С. Ермакова — директор музея — из тех беззаветных служителей нашей культуры, без которых, может, и рухнула бы эта культура давно.

В марте в этом Доме-музее, среди экспонатов которого и роля композитора, и автографы Листа и Шалляпина, и первое издание «Годунова», и эскизы Бенуа, открылся IV Всероссийский фестиваль «Композиторы России — детям». Затем поездка в Кунью, где музыкальная школа с собственной «малой консерваторией» или «филармонией школьника». Какова задумка, как ни назови! И главное достижение школы — создание хора. Причем хор состоит из трех звеньев: младший, средний и старший. Это уже прекрасный академический хор. Руководит и школой, и хором И. В. Степанова — честь ей и хвала, потому что хоровое искусство испокон веку было русским. Недаром в русских операх такой хор, какой и ис силлся итальянцам. И не на пустом месте эти хоры возникли. Ведь в наших церквях нет инструментов — одно только пение, но какое! Плохо ли, хорошо, что отстали мы от Запада в употреблении органов, но хоровому искусству это на пользу пошло. В русской музыке, особенно у Мусоргского в «Борисе» и в «Хованщине», разнообразие и выразительность хоров фантастические. И где, как не на родине их творца, возрождать уникальное искусство.

Юный хор. Юный слушатель. Традиции продолжают на святой земле, родившей Мусоргского. Горстка энтузиастов из последних сил поддерживает огонь в очаге отечественной культуры. Не отдаст своих воспитанников на волю случая, который, конечно же, привел бы их к псевдокультуре.

Наше время взывает к искусству для спасения мира в самом человеке, для восстановления гармонии в нем самом. К великой музыке принимают томимые духовной жаждой, раздранные, лишенные покоя люди. Но лишь малыми глотками — от юбилей к юбилею — удовлетворяется эта жажда. Если будет так продолжаться, не одичает ли мы?

Александра
ПИСТУНОВА

РОССИЯ НЕСТЕРОВА

Четыре года назад перед нами явилась в полном объеме уникальная книга. «Воспоминания» художника Михаила Васильевича Нестерова. Очень долго об этих «Воспоминаниях» говорили, спорили, у кого-то был на руках список, а у кого-то фрагменты. Впрочем, тираж издания — 20 тысяч экземпляров — оказался смехотворен для нашей страстно читающей страны. Для многих преданно любящих отечественную культуру великий живописец остался лишь автором фрагментарно изданных сборников «Из писем» и «Давние дни». «Давние дни», впервые вышедшие в 1942 году, имели тираж уж и вовсе фантастический: две тысячи шестьсот экземпляров, но восьмидесятилетнему Михаилу Васильевичу в мрачной Москве второй военной осени присуждено было в связи с «Давними днями» звание... почетного члена Союза писателей СССР.

Вскоре Нестеров скончался, а через двадцать лет в честь векового юбилея со дня его рождения открылась большая персональная выставка. Зрителю 1962 года казалось, что он видит и понимает всего Нестерова. (Как — замечу в сторону — казалось это и читателю «Давних дней».) Но на выставке, увы, не было произведений, которые художник считал программными.

И вот через четверть века хожу по новой выставке Михаила Васильевича Нестерова. Прошедшей весной была она открыта в залах объединения «Третьяковская галерея» на Крымской набережной в Москве. Здесь тоже, разумеется, не оказалось всего Нестерова — ведь показывались только запасник Третьяковки, частные коллекции Москвы, фонды Абрамцевского и Загорского музеев. Не было нестеровских чудес из музеев Уфы, Ленинграда, Киева. Не было работ, честно и бесчестно попавших в малые и большие сокровищницы мира. Но эта выставка — уж теперь безусловно! — отразила ту великую гору, с которой видны были античность и Византия, эпоха Возрождения и поражающий поиск России рубежа веков.

Бродя по неудобным, низким, душным помещениям, где показывали Нестерова, я мысленно улыбалась той странице «Воспоминаний» Михаила Васильевича, где он рассказывает о выставке своей 1907 года, состоявшейся в Екатерининском концертном зале Петербурга, и о разговоре там с братом Василием Васильевичем Верещагиным. В ту пору художника Верещагина уж не было в живых, он погиб на корабле, взорвавшемся на рейде Порт-Артура, а брат его, бывший адъютант Скобелева, и сам уж к тому времени ставший генералом, задолжал Михаилу Васильевичу вопрос, не намерен ли Нестеров показывать свои картины в Москве.

«Да,— говорю,— предполагаю». — «Где?» — «Еще не знаю...» — «Как не знаю? Тут и знать нечего. Поезжайте в Москву, снимите манеж, да, манеж, манеж. И там выставьте свою «Святую Русь» и другие вещи. Назначьте в будни по пятку, в праздники пускайте даром, а в выходные для избранных по рублю. Народ повалит. Десятки тысяч пройдут через манеж».

А ведь ни о каком экспозиционном помещении в манеже в ту пору и речи не было. Что ж, будем надеяться, что еще через четверть века совет генерала Верещагина будет принят наконец во внимание.

Поразительно: академику Нестерову привелось при жизни увидеть только две своих персональных выставки. Одна — та, петербургская, она работала месяц; вторая — московская середины тридцатых, открытая для специальных гостей на несколько (кажется, всего на пять!) дней и показавшая в основном работы мастера советских лет.

Всем, кажется, теперь понятны обстоятельства середины 1930-х. Нестеров не писал портретов вождей, не участвовал

в утверждении новой жанристики — бледного подобия живописи великих передвижников. Он отказывался от множества выгодных предложений. Даже если предлагали ему написать портреты классиков русской литературы, тех, которых он не видел и не знал вживе.

В 1921 году, вернувшись с юга в Москву, Михаил Васильевич не нашел ни своей квартиры, ни сундука с рисунками и эскизами. Весь дом князя Щербатова, так пленительно задуманный и построенный Александром Ивановичем Тамановым (еще не Таманяном!), был реквизирован под госучреждение не то важно-военного, не то важно-гражданского характера. То, что было наработано великим художником к его 60 годам, — разные пластические идеи, наброски, мечты о сюжетах и цветовых сочетаниях, портретные студии и испытательные этюды, «лаборатория» его дивных церковных работ для Киева, Грузии, Петербурга, Москвы — всего этого более не существовало. Не было ни холста, ни красок, ни кистей или карандашей, не было любимых углей, привычного инструментария, грунтов...

Однажды в середине шестидесятых годов, сидя в мастерской у Павла Дмитриевича Корина, я услышала рассказ о первых днях его Учителя после возвращения в Москву:

— Он не мог обойтись без тонких любимых своих кистей. Нестеровские кисти оказались невозможными. Я знал хороших кистевязов в Москве, те старались выполнить в точности такие кисти, как хотел Михаил Васильевич. Но не получалось у них... Нестеров страдал. Не об имуществе (а он, разумеется, не был бедным человеком). Даже о потерянных родительских иконах не печалился. И представьте — о большинстве своих работ. Он говорил: «Ну, что там — работы же уходят все равно; продаются, дарятся...» Но без кистей, без особых подрамников, которые делали по его чертежам монахи-краснодеревцы в Киево-Печерской лавре, страдал невыносимо.

— А судьба его произведений мучила Нестерова? Наверное, прежде всего это? — спросила я Корина и неожиданно услышала:

— Михаил Васильевич был уверен, что руки, через которые шли его вещи, становились как-то добрее... Он знал, нельзя иметь и хранить произведения искусства и не испытывать на себе их влияния. Тем более если посвящены они темам религии. Веры. Нестеров считал, что творения, которыми дали жизнь его руки, далее становятся независимы от него. «Свою судьбу имеют книги», — говорил он, — но это же относится ко всем творениям духа человеческого». То был редчайший оптимист по своей сути. И близкие Михаила Васильевича, его жена и дети были с ним. Поддерживали его. Поселился он в квартире дочери от первого брака на Сивцевом Вражке. Ольга Михайловна была немногим младше второй жены Нестерова, он и женился-то в Киеве на юной учительнице своей любимой дочке. На Сивцевом Вражке выделили семье Нестерова две темноватые комнаты. Тут он жил. Тут и писал. Впрочем, он никогда не имел отдельных мастерских — и в лучшие времена тоже. Мастерской всегда была большая комната в жилой квартире... А тогда, в начале двадцатых, бедны и голодные были все... На Сивцевом Вражке у Нестерова собирались друзья. Бывали философы, те, которых написал Нестеров летом семнадцатого года: Сергей Булгаков, Павел Флоренский... Впоследствии младшая дочь Нестерова, Наталья Михайловна, вышла замуж за сына Булгакова, Федора Сергеевича. Он стал художником. Нестеров радовался, что его дочь любит сына друга, да еще художника...

А в узком темноватом «пенале», где провел художник последние свои годы, Павел Дмитриевич Корин писал его портрет, тот самый, будто составленный из острых углов — локтей, пальцев, нестеровского профиля. Впрочем, вы его, конечно, знаете. Когда смотришь на этот холст, кажется, что ты прошел к модели, обо что-то ударившись. А может, услышав едкое, гневное, свободное слово Нестерова.

Обстоятельства тридцатых годов понятны. Но отчего же — спросите вы — всего одна нестеровская персоналия состоялась до революции? Очень просто: некогда было Михаилу Васильевичу. Многие, многие годы работал он вместе с Виктором Михайловичем Васнецовым в Киеве во Владимирском соборе. Потом один — для храмов в Абастумани, Петербурге, Сумах, для замоскворецкой Марфо-Мариинской обители, той, что была возведена молодым еще зодчим Шусевым. Эта — важнейшая — часть творческой биографии Нестерова долго замалчивалась.

Трагедия Нестерова, в 24 года потерявшего обожаемую жену — Марию Ивановну умерла после родов, оставив дочь Олечку, — описывали многие, объясняя одним только этим фактом увлечение Михаила Васильевича религией. Однако христианство Нестерова было далеко от горячности, оно было естественно, воспитано в строгой купеческой семье. Уфа акаковского детства и нестеровского хотя и разделяется почти половиной столетия, однако продолжает быть небольшим патриархальным городом, чью жизнь определяют рождество и святки, масленица и великий пост, пасха и красная горка, Спас яблочный и осенний праздник Успения Богородицы. Это бытие, это жизнь, это календарь многих поколений!

В уфимском отрочестве Нестерова большую роль сыграл



На Руси. (Душа народа) 1916 г. Фрагмент.

Михаил Васильевич НЕСТЕРОВ
1862—1942 гг.



На Руси. (Душа народа) 1916 г.

Фрагмент.





Фрагмент.

Молчание. 1903 г.



Путники.
1920 г.

человек, которого художник в своих воспоминаниях нежно величал «сергиевским батюшкой». Мягкость, тепло, серьезность его беседы помнил Нестеров всю свою долгую жизнь.

Нестерова, работавшего в церквах, хочется назвать сказителем. По-своему сказывает он дивные сюжеты. Свое, нестеровское: нежно-задумчивое, жертвенное, щедро-доброе вкладывает, к примеру, в знаменитых русских святых из Владимирского собора. В дивную икону Рождества, на мой взгляд, сравнимую только с прославленным гентским алтарем Ван Эйка. Эта часть искусства Нестерова прежде всего высоко эмоциональна, обращена к человеческому чувству.

Однако станковые произведения Нестерова, тоже так или иначе связанные с темой религии, имеют всегда в качестве главной художнической задачи размышление. Разумеется, эти холсты тоже отличаются особенная тонкая красота. Героев своих, а иногда героинь (тех, кого мы привыкли звать нестеровскими девушками) художник пишет посреди русской природы — на берегах рек да озер, на полянах, в аллеях старых садов. Есть особые зелено-голубые сочетания нестеровского пейзажа, осенне-весеннего, молчаливого, отвечающего без слов на самые серьезные вопросы. Есть быстрый ало-зеленый промельк рябины или кленового листа, подчеркивающий тишину, прикосновение к этой тишине героя. Сегодня мы можем считать такого рода полотна Нестерова картиной утраченного экологического равновесия: экос (по-гречески — дом человека) есть мир разумного бытия. Пророческое начало, столь сильное у любого большого художника, вызвало к жизни нестеровское раздумье об отношениях человека и природы, этноса и мира. А непосредственной почвой его искусства было другое. Как художники итальянского Возрождения, перед которыми Михаил Васильевич преклонялся, Нестеров искал явление. Он стремился найти обобщающий время человеческий образ, найти истину в окружающем мире родной природы.

В залах на Крымской набережной советский зритель впервые увидел огромный холст «На Руси. Душа народа», созданный мастером в последние предреволюционные годы. Вдоль волжского высокого берега, да мальчиком в светлой рубашке не то идет, не то стоит громадная толпа. Что же это — «Крестный ход», подобный тем, что многократно писаны великим Репиным? Ведь несут иконы, хоругви, горят свечи, приплясывают впереди юродивые, здесь церковные иерархи, монахи, крестьяне?

Но взгляните: справа видны профили Толстого и Достоевского, лицо Владимира Соловьева...

Как раз хода — то есть движения — все-таки нет в этой картине. Люди экстатически застыли, наблюдая краткий шажок обутого в лапти маленького мальчика. Этого мальчика писал Нестеров со своего сына Алеши, который всей короткой будущей жизнью подтвердит избранничество и мученичество, определенное ему отцом-художником.

Екатерина Петровна Нестерова, вторая жена великого мастера, сказала об этой картине: «Лирик русской живописи, он создал на этот раз трагедию русской веры. На упорные вопросы, кто же придет к Христу (отсутствующему на картине) — патриарх? инок? верующая баба? православный Достоевский или отлученный Лев Толстой? — художник неизменно отвечал: «Не знаю».

Вспомнились тут великие учителя Михаила Васильевича Перов и Крамской. Я имею в виду сейчас не избранные художником примеры, но тех конкретных людей, которые вкладывали в его сердце веру в себя, учили видеть, понимать жизнь вокруг.

Перов «брал человеческую душу в момент наивысшего напряжения», пишет в «Воспоминаниях» Михаил Васильевич, повествуя о своих занятиях в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества и перекидывая мост к тем петербургским дням, когда его, уже студента Академии Художеств, заметил в Эрмитаже Крамской. В тот день копировал юный Нестеров Ван Дейка. «Узнав, что я из Москвы и бывший ученик Перова, с особым вниманием стал меня расспрашивать об Училище, об Академии. Ему, видимо, понравился мой отзыв о покойном Перове. Он очень одобрил мою копию... и в заключение пригласил бывать у него».

Особая глубина, особая домашность отношений стоит за страницами «Воспоминаний» Нестерова о Крамском и Перове. Ученик понимает сущностное в учителях, учителя бережно принимают дар юного художника, уважая его неповторимую личность.

Возвышенный облик Нестерова, возникающий сегодня перед нами, — одно из «белых пятен» истории отечественной культуры. Пронесенная через жизнь дружба с Виктором Михайловичем Васнецовым, начавшаяся в молодые времена их общей работы в Киеве, во Владимирском соборе, и увенчанная портретом, который написал Нестеров в Москве, в середине двадцатых, за год до смерти Васнецова. Работался он в том доме-тереме, где ныне московский музей Виктора Васнецова, а фон портрета включил реалии сказочного и духовного — два старых мастера не отказывались от них никогда.

А история дружбы Нестерова с его однокашником Левитаном, чья личность, чье слово, чье нежное искусство всегда так дороги были Нестерову? Левитан умер почти на полвека раньше Нестерова, а в день его смерти Михаил Васильевич

с Екатериной Петровной всегда сажали цветы под могильным камнем с еврейскими письменами. Нестеров участвовал в переносе могилы Левитана на Новодевичье кладбище, а потом и самого Нестерова погребли рядом с товарищем.

Была у Михаила Васильевича и женщина-друг. Это Елена Адриановна Прахова, старшая дочь историка искусства и археолога Адриана Викторовича Прахова, по чьей инициативе был расписан в Киеве Владимирский собор, реставрирована Кирилловская церковь... Тихую, некрасивую, однако добрую, чистую душой девушку Лелю Прахову написал Нестеров Варварой-великомученицей для Владимирского собора. Скандал был огромный. «...Не могу же я молиться на Лелю Прахову!» — вопрошала киевская губернаторша, по чьей инициативе специальная комиссия потребовала, чтобы Нестеров переписал святую Варвару. Переписал ли он в самом деле? Если сравнивать первоначальные портретные зарисовки Праховой и окончательный образ Варвары, можно понять, сколь немного уступил художник власть имущим. Натура живая, вызывающая у художника нежность и преклонение, всегда стояла в изначалии любых нестеровских сюжетов: и религиозных, и светских. Святую Нину для храма в Абастумани писал Нестеров с русской женщиной, сестры милосердия, лечившейся в Грузии после маньчжурского фронта. А отрока Варфоломея, будущего Сергия Радонежского, но пока маленького пастушка, которого отец послал искать потерявшихся коней и которому встреченный на опушке леса старец с золотым нимбом помог познать грамоту, писал Михаил Васильевич с деревенской чахоточной девочки. Постриженные в скобку легкие волосы, широко раскрытые перед чудом серые глаза, тонкие прозрачные пальцы...

А как объяснить нестеровское предощущение судеб своих героев? Скажем, двух моделей картины «Философы»: Павла Флоренского и Сергея Булгакова? Михаил Васильевич написал этот двойной портрет летом 1917 года в Троице-Сергиевой лавре. В дивном зелено-голубом пространстве идут, беседа, плотный, уверенный, жизненно прочный Булгаков которому предстоит долгое и благополучное существование, пусть и на чужбине, а за ним тонкий, в монашеском облачении, прозрачный, как облетающая березка, Павел Флоренский — его ждут гонения, тюрьма, страшная смерть в концлагере...

Большая ошибка думать, что нестеровская портретная галерея русской интеллигенции была начата после Октябрьской революции, заменив собою все другие формы творчества мастера. Конечно, хирург Юдин, певица Большого театра Держинская, физиолог Павлов, график Кругликова, зодчий Шусев, скульпторы Мухина и Шадр написаны в советское время. Это представители российской духовной элиты.

Однако портретная галерея Нестерова, одним из первых экспонатов которой можно считать эту голову молодого нижегородского Горького, начата далеко в XIX веке. От любимого и любящего ученика Нестерова Павла Дмитриевича Корина слышала я, что портрет был особым высказыванием Нестерова о человеке, вызывавшем его уважение, его интерес. Он портретировал Льва Толстого и Аполлинария Васнецова, чье лицо читаем мы в чертах юного Сергия, укротившего медведя. Он писал русских старцев, итальянских детей, мастеровых башкир из родной Уфы, грузин в Абастумани, украинских дивчин, которых нежно именовал Наталками. Он любил человека тем всемирно отзывчивым большим сердцем, о котором говорил Достоевский в Пушкинских речах.

Сколько чудесного и доброго слышала я от Павла Дмитриевича, рассказывающего о Нестерове. О том, как Нестерову перед смертью пела Обухова, и он в последние свои дни мечтал написать ее портрет. Как вспоминал игру великой Дузе. Как читал кем-то принесенные стихи молодого Николая Заболоцкого. Я помню эти стихи и думаю, что они выражают в своей музыке именно то, что есть в живописи Россия Нестерова. Вот они, произносите их медленно, так, как читал, повторяя Нестерова, Корин:

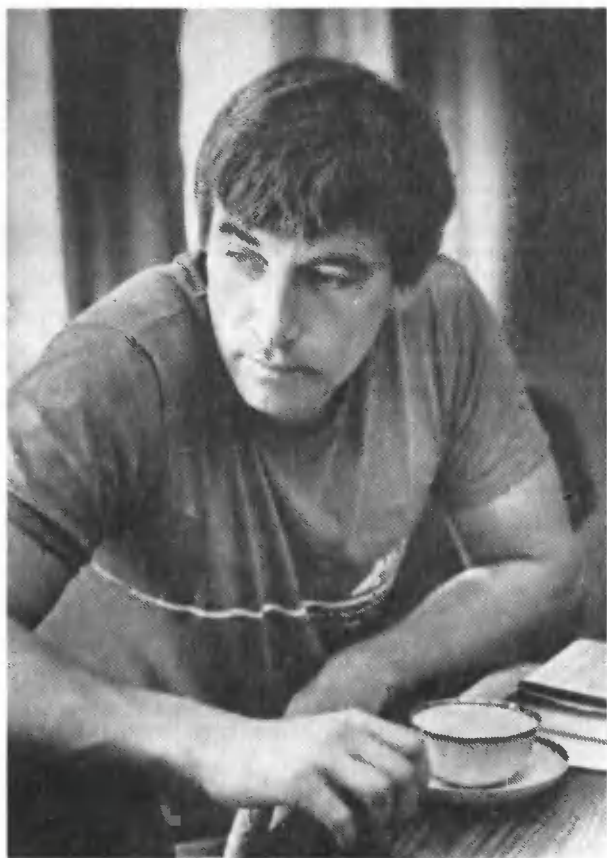
Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,
И лежал я в траве, и печально п скукой томим,
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед плм.

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,
Где на первой странице растения видел чертеж.
И черна, п мертвая, протянулась от книги к природе
То ли правда цветка, то ли п нем заключенная ложь.

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье,
И как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетало в листьях непрерывное мысли движенье,
То усилие волн, которое не передать.

И кузнечик трубу свою поднял, п природа внезапно проснулась,
И запела печальная таваь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

Саша СОКОЛОВ: АМЕРИКАНЦЫ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ — О ЧЕМ ЭТО МОЖНО ГОВОРИТЬ ДВА ЧАСА



Мы сидели в кабинете главного редактора, пили чай и говорили о жизни, о литературе. Мы встретились с очередным русским писателем, приехавшим в Москву со статусом эмигранта. Ну, как там? Это было не интервью, не беседа, а просто разговор, когда вдруг менялись темы или кто-то из нас вступал с длинным монологом-комментарием — «бывали, знаем». Полностью передать его, увы, нет возможности. Поэтому ограничимся лишь обрывками фраз, отдельными суждениями писателя, с которыми мы, конечно, не во всем согласны, но которого считаем необходимым представить читателям «Юности».

Думаю: как же так, где я, почему эти люди здесь говорят по-русски? А я дома!

Только сейчас настает мое время, время такой прозы. Я удивляюсь, что оно не пришло раньше: все-таки Россия — такая литературная страна. Нужно было вводить это в литературный обиход. Обычный модерн. С точки зрения западного писателя — это уже даже традиционно.

С тех пор как я начал читать, всегда скучал, читая прозу

реалистическую. Мне это было неинтересно. И только когда я стал знакомиться с авангардом — западным, конечно, — только тогда я действительно полюбил литературу.

Для меня реализм не существует. Мне кажется, что это такая старина, что и не было никогда этого.

Авангард неиссякаем. Потому что будут новые формы. Сейчас, скажем, модернизм — это вчерашний день, постмодернизм — сегодняшний. После постмодернизма появится что-то еще. Это естественное течение жизни.

Нет, нет... Вот как раз романтизм — предтеча авангарда. Я бы сказал так: романтизм — авангард той эпохи. Байрон, Лермонтов... Если бы продолжилась линия романтизма, тогда на соответствующем этапе победила бы линия не Толстого, а Достоевского. И тогда бы мы имели такую литературу, как в Польше, а не ту, что имеем сейчас. Был перекресток, нужно было выбирать — Достоевский или Толстой. К сожалению, выбрали Толстого, условно говоря.

Платонов? Да, это, конечно, была попытка возродить романтизм, но на новом этапе. Ее задушили. И все, что мы называем с тех пор соцреализмом, — это преступление перед литературой.

Невозможно в этом разобраться. Если мы назад немножко отойдем, то упрямся в Горького. И там непонятно что. С одной стороны, романтизм — начало, а потом вот это все.

...а Гаршин не реалист!

...Лично мы не были знакомы. Но Набоков написал: «Очаровательная, трагическая, трогательная книга» — вот эти три слова сделали всю мою американскую карьеру, если это слово правомерно употребить к судьбе русского писателя в Америке. Потому что по большому счету никакой карьеры нельзя сделать эмигранту в Америке.

Америка — удивительная страна в том, что она стремительно забывает. Буквально через несколько дней после события люди уже не помнят имена. Нет, взрыв космического корабля надолго запомнят, но никакие культурные события не запоминаются и не передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Это только есть в России. Если человек написал хорошую книгу, скажем, «Теркина», так это будет всегда. Всегда человек будет известен. Там... Элинджера давно никто не помнит — кто это?

Я прожил как-то полгода в доме писателя. Он предложил мне: живи, корми моих собак. Это обычное дело, когда люди надолго уезжают. Я был потрясен: у него не было книг в доме. Он очень богатый человек, на нескольких книгах сделал огромное состояние... Нет, бестселлеры они читают, читают. Но у него даже словарей не было, энциклопедий. Они не знают: для того чтобы писать, нужно читать.

Да никто не знает Набокова в Америке! Знают в университетах. Нас всех знают в университетах, нас проходят. Но это же не в масштабах страны.

У них нет уважения к слову, нет привычки к разговору. Они только работают, уже не зная для чего, без цели.

А русские только говорят? Минуточку, я должен уточнить... Греки, например, работают еще меньше, чем люди в России. А между тем все богатые. Значит, дело не в количестве работы.

...Два года у меня была должность «writer in residence» — писатель, живущий в университете. Делать почти ничего не надо. Приходить раз-два в неделю, разговаривать со студентами, лекции можно читать. Но это скучно. Им же все это неинтересно. Богатые дети богатых родителей.

Солженицына не знают в Америке. После его гарвардской речи все забыто. Он же ругал Америку, а Америку нельзя ругать — все закрылось, все забыто. Четыре миллиона! Можно прожить. В течение первых двух лет там все это продавалось, было в списке бестселлеров. Но опять же, люди купили эти книги, но они ведь их не прочли, не знают ничего. В лучшем случае они смотрели фильм по «ГУЛАГу».

Жить почти нигде. Это «почти», вероятно, заключено во времени. Во Времени можно жить, но не в Пространстве. Вот здесь сейчас можно жить. Забыть о том, что завтра все может быть по-другому. Забыть об обстоятельствах места, учитывать только обстоятельства времени.

Я совершил тот путь, который должен был совершить. Уехать, чтобы всрнуться. Иначе, если бы я здесь остался, меня до сих пор не печатали бы. Это прагматично, но тогда это было интуитивно. Сейчас я понимаю, что как бы использую эту ситуацию — интерес к Западу, интерес к эмиграции. Почему бы и нет?!

...Его позиция искусствоведа, литературного философа мне очень понятна. Но и меня он интересуется в первую очередь как стилист. Набоков работает с языком, как

и я вижу свою основную задачу — развитие языка. А язык заключает в себе все, все концы и начала. Язык сам по себе насыщен чувствами, идеями. Разве обязательно нужно всем расставлять какие-то акценты, делать нажим, подчеркивать обязательно свою принадлежность к той или иной философии? Нет, просто спокойно писать, и все само проявится, если ты действительно честно пишешь. Набоков писал честно. Вдохновенно.

Я никогда не стремился что-то доказывать. Я просто делаю прозу. Хочу писать, как писал Флобер, только в нашем веке. Флобер, Пруст — чему они там научили? Не надо всего этого. Литература — это как игра на фортепьяно. Импровизация. Литература — это хороший модернистский джаз. Но, конечно, когда ты напишешь книгу, обязательно что-то скажешь. Как иначе?

Записал С. АДАМОВ

ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ, ИЛИ ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ СМОГА*

Посвящается Венедикту Ерофееву

Вот притча о том, как некто, ранимый да ранний, к тому же имеющий уши, — а? слышать? вы шутите, лекарь, клеветы ли мы Seléne, чтоб отрацивать себе эти устрицы ради Людвиг? лицам нашего круга, числа уши надобны дабы парить над мраком, над прахом, поверх, извините, вольтер — уши, а в клетке, скелета лелеющий — что бы вы думали? угадайте, такое певучее, певчее, чистый волчок, нечто, подчас величаемое нутром: чутя, чаять и, кажется, петь — что? пока непонятно, не приложить ума, ясно, только, что где-то там что-то зреет, возможно, какая-нибудь газелла, лалайя ль, возможно, ее и петь: уж как некто, кому в несусветном гаме да гуле улиц, проулков, пролетов, туннелей и прочих, как говорится. труб, очень, в принципе, медных да яростных, тот, которому в крике да скрежете их иерихонском был зов, был голос, словом, тот самый, — как хорошо он всем певчим нутром своим голос тот слышит, отчетливо сколь. Об этом. Слышит и неотвратимо чувствует. Об этом. Чует и понимает: ему, его. Кто бы грезил: об этом. О том, как — порывист — весь прямо движение — сдвиг в иное — во вне — так иль эдак, но именно так, как нужно, как надлежит, вероятнее всего, что резко, — не правда ли? — резко рванув судьбой точно так же, как в экстренном случае там, где должно, где принято, рвут какую-нибудь отчаянную рукоять, не исключено, что стоп-крана, рвут вздорного рода мосты, векселя, купюры да всякие там еще узы, включая дверные цепочки — цепочки, по-цыгански сказать, — он, поскольку последователен дотла, соответственно поступает и впредь: как требуется, как следует быть. То ли дело и впрямь происходит под стук колес, то ли нет, нету разницы, только не звав ни сурка, ни курева, что называется належке, взял да сошел вдруг на первой же шепетовке: шлак, кипятки. Честь имя, метнулся, что называется, прочь, в сплошное неастье, умалчивая — дабы не в рифму — про ночь. Где бы ни был — оттуда и вон. Вышел, будто необратимый тототник из Боткинской, про которого сказано: вышел — и се, повело человека наискось, на ипподром, ибо где же еще как не в шалмане бега воспригубить ему за арабских кобыл, чтоб планида его разлетелась бы в розовом беге едва ли не вдребезги, вся зашлась бы в нем аж, благосклонно ослабьась на перекокс. Вышел, сошел ли, — словно зашел с козырного нутра, раззудел волчок. Вышел, вам говорят, — оглохли? продуйте евстахиевы, был да вышел. И только тогда начинается: все остальное. Тогда.

* Речь идет об обществе московских молодых литераторов и художников, которое образовалось в 1965 году. Расшифровывалось как «Смелость — Мысль — Образ — Глубина» или «Самое Молодое Общество Гениев». Спустя полтора года было запрещено. Двое — Николай Недбайло и Владимир Бадышев — были высланы в Сибирь, Леонид Губанов направлен в психиатрическую лечебницу, Владимир Алейников исключен из МГУ, остальные тоже так или иначе пострадали. (Прим. автора.)

И только. И пусть — в силу чего бы то ни было — лишь бы — пусть явится эта притча разуму нашему в сынах его, да скажется в судьбах круга, числа, да отразится в зеркалах наших психей. Да, да, разумеется, о чем разговор, неужели же где-нибудь там, где положено, где надлежит, не сказано: отразится. Ответ однозначен: сказано. Оттого-то и отражается — отразилось, сим: в силу слова. Вот. Правда, несколько незнакомо, ломано, ровно в рябом канале — каналья, зачем ты улыбки нам столь исковеркал, ведь счастье было так коверкотово. Тем не менее видно, как кто-то из этого круга, числа, кто-то в чем-то дорожном, неброском, как бы навыворот, — торопится на трамвай. Лелея келейность. Алеющей ранью. Лепечущей рощи аллеей. Се лель есть, влекущий к великолепью, простого олейника отпрыск. Воистину. Впрочем, неправда: торопится, но не аллеей, не рощей: торопится пустырями окраин, тропюю в разрыв-траве. Ничего не сея, ни взращивая, рвет походя блеклые лютики, ноготки. Рвет когти из ненаглядного Криворожья, цитатой из почты окрестных ведем говора. Гражданин почтмейстер, вместо того, чтобы попусту рифмоваться с клеветром, заклеямили бы лучше те непотребные речи крутым сургучом. Не смейтесь, папаша, он мертвецов оставляет теперь мертвецам не напрасно, верней, не из прихоти, не потехи для. В данной юности с ним творится особенное. Так, в день осознания лжи у него создалось отчетливое впечатление, будто бульвар спотыкался, дождь шел на изящных пружинах, а фонари по углам разложили фанерные тени. И Дантова тень, в зеркалах отразась — как эхо — давно многократно. Да и вообще, человек сей — художник, в значении — поэт, а поэтом — почему бы ему не отправиться в путь, в другие места, и там не открыться во всех своих впечатленьях, не объясниться в пристрастиях. Странствовать — в частности на трамваях — тем паче на ранних — это же столь пристало таким вот на вид неброским, небритым, но, в сущности, страшно неистовым, прямо взрывчатым существам. Между прочим не важно ведь, что такие взрываются сдержанно, методом дальних солнц, как ни в чем не бывало. Так в рассуждении пороха даже лучше, ибо хватает надолго. Сравнительно навсегда. Да, кстати, смотрите: деревья ладонями машут: прощанье, исчезновение за. Но что характерно: что из игры — здесь игры Парменидова воображения, расстроеного, как бабушкин клавесин, — им не выйти. Ни им, ни минувшим срокам. Ни им, ни — по буквам: Тифонус — Елена — Лена — Елена же — Гей — Рея — Афина — Фэдра — понятно? — ни телеграфным проволокам плакучим. Ни им, ни дому, который поэт построил двумя штрихами. Где свет погас. Где форточку открыли. Построил и вскоре оставил: быть. И на лбу возникающего экипажа читат долгочаянное число. И в том же канале, смекай — кристалле, рябом, но магическом различимо, как кто-то другой, но из тех же вышеозначенных и насквозь же ранимый, хоть до поры хранимый пернатыми горних сфер, — он в рассуждении выйти пройтись, чтоб уже никогда не вернуться, — рвет рану на ранней заре. Неверно, досадная несуслазка: не рану, но раму. Но на заре. Оконную раму, но: то ли заклеено, то ли заело, то ль что. Что бы ни. Не играет. Не в этом суть. Не открывается — вот в чем. И все. И поскольку это именно так, то постольку он просто берет и шагает — вышагивает сквозь колкое стекло непосредственно в высь — в эфир — в эти тихие вечера — в жанре — нету его родней — прилагательного городского романса. Не спрашивай же, с чего начинается, ибо знаешь. А знаешь — так заводи, воспевай; хочешь волком, а хочешь — молчком, волчком. И вышагнул, и воспел, и се: невредим, воспаряет над ерундой обстоятельств, над вздором семейных терзаний, дворовых драм. Этот мальчик растроган. Образами его изъясняясь, он умилен приблизительно в том ключе, в том духе, в котором растроган и умилен Гумилев был на той ли расстрельной заре. В духе прощанья, прощенья, исчезновения за. Пав, встает. И по лестнице, полной чего-то онтологического, или во всяком случае не лишенной его, он восходит. Он мыслит вернуться в свою кубатуру, в обитель, в уютный фамильный склеп. Вернуться и раздобыть по сусекам с пригоршню каких-либо изумительных слов: возвестить свободу парения. Да возвестит. Да возвысит. А восходить еще высоко — на пятый. Но вот и какая-то дверь. Кто там? Ваш искренне. Отворяют. Вернее, не отворяют, а не отворяют. Не. Наверное не хотят; вероятно, поэтому. Или хотят, но не могут: расслаблены, утомлены. То ли попросту томны. Но так как поэт все стучится, то все-таки отворяют, но не совсем. Отворяют отчасти. Приотворяют, навесив ту самую цепочку. Но

поскольку поэтов путь — взрыв да взлом, то что цепочку, что цепочку — он все равно, понимаешь, срывает — и там. Где его почему-то не ждали. Там ждали хорошего сына, а появился не больно-то, а главное, что не свой: свой еще за Можая, когда еще. Сверху мальчик, соседский. Он сверху-то сверху, да тоже ведь не презент. Рос тихоня, а вырос смогист, колоброд, сладу нету, когда разгуляется, прямо хоть караул. Поэта уничижают, бранят, говорят ему безуханное вы. Как странно: как к звездам — так непременно чрез тернии. Что за притча. Он жалует в некую комнату вроде своей и садится за клавиш типа бабушкина. И в тетради для нот, между струн пресловутой Лунной: Полина, полинья моя. А далее — все остальное, все строки. И видно, как вольно им там, в этой общей тетради. Но видно: с комплектом смиренного является караул. Но это не угнетает поэта, это не напрягает его. Потому что Полина уже на крыле, и не на пару ли с кралею, сам в тулупе с заячьего плеча, в новомодном кайсыцком трэухе воспарит над препонами Пугачев. То есть все, что случится отныне, — не столь уж и гибельно. И ничего, что какого-то мальчика свыше по лестнице, не лишенной не этого так того, сводят вниз и усаживают в экипаж откровенно трамвайного облика. Ничего не подлаешь, вот: случается. Только случается, чтоб миноваться. Да и случается ли? И в минуту последнего умиления в альбом милосердной сестре: Настоящая справка выдана певчей Фортуне о том, что ни в чем не повинна, ибо не ведала, что творит: просто пела. И подпись, вилетенная в акrostих памяти Ли Цинджао: Грачи Улетели; Будучи Art Nouvé, Осень Волнительна. А кто-то еще из грядущих сих был по духу не столько порывист, хоть сколько-то и, — сколько бегл и бродяч был, и чтобы от всяческой суеты не клонило в сон, то и дело склонялся к побегу куда глаза и, склонившись, — в него и срывался. Звездой не звездой, но с цепи как пить. Спросите любого Гончого Пса: Пес знает, чем в юные луны беглого веял последнего след. То веял он, как ни крути, служивой портянкой; то — несколько позже — курсантской венгеркой; то — вышел, считай, вчистую — студенческой вольной полькой, летучей голландкой, скитальческой немкой Поволжья, блудливой болгаркой, чалдонкой, румынкой ночного дозора, дремучей тунгуской, чухоню, непреходимо чуждо, чумичкой истопника. След пылко петлял, обрывался. Но жизнь как видение, в качестве фата-морганы блазилась как ни при чем, точно сама не своя. Не своя, а чужая, нагаданная. И дальними были дороги ее, а дома — и казенны, и скаредны: что ни дом, то вон, а улицы — медные трубы. Да будут, кстати воскликнуть, неладны класком таксомоторов, зловонье омнибусов, бляение менял. Неладны и прокляты. Вы согласны? Лишь в доме блистательно обнищавших духом обрящешь ты благодать. Ибо лишь там тишина настолько матросская, что рябая кобыла, чьи грезы отобразились в язвах наших душ, ржет и шьет себе из нее мировую тельняшку. Но тут ряд змееносных чинов в измерение входит. Эксперты. Ряд пушечных эскулапов душистых. Будь ласков: почти их вставанием, засвидетельствуй. Они освидетельствуют тебя. Все в белых хламидах, в бурнусах, чины начинают и сразу проигрывают. Ход. Ладно, положим, кобыла, бывает, но почему тельняшка? Ход. Ибо любая кобыла хотела бы преобразиться в зебру дальнего плавания. Ход. Логично, однако уместно спросить, как же так: ржать, тревожа настолько матросскую тишину? Ход. Но столь же прелестно ответить: не бойтесь, она совершает это бесшумно, прислушайтесь, ни и-го-го, тихо, словно в скотомогильнике. Ход. Сколь образно. Ход. Нет людей, чтоб возле колыбели конских черепов не вспоминали. Ход. Вы не поэт ли? Ход. Аз проэт. Ход. Про-что-с? Ход. Про то-с, как заря с зарей, ворон с горлицей, град с дождем, а цыганочка с кастаньетами в гуще сандаловой роши доводит до сандальет: ламда-дрица. Протэ — это, если угодно, бастард, помесь прозаика с лириком, полу-полу. Но то, что он сочиняет, пролаза, — проэзия есть высоких кровей, чистых слез. Слез по сути своей изумления, каковое назвать умилением в мажоре ли, наизнанку, наружу ль мездрой — невозможно не. Это проэзия незамутненного изумизма здесь, среди мерзостей мира есть. И звенит, заливаясь, заповедь номер раз: Поющему — изумляй изумляясь. Чу: какая удача, газелла-то вызрела. Не угодно ль. Начну, разумеется, ниоткуда, точней, наобум, как взрыв. То бишь попросту ни с того, ни с сего, с середины. Правда, хотел бы оговориться: грешен. Имею дурную наклонность к рифмам. Каюсь. Так что забудьте их мне, не вменяйте, все как-то не волен извратиться, отвертеться. Однако ведь отверчусь же, избавлюсь. В долине реки Цинандали Далй живописет сю-

жет: из псевдоклассической дали струится изысканный свет. и, весь преломляясь в рояли. Вертинский роняет куплет. Ход. Чудно, милый. вы явно в нас молодцом: посвежели, окрепли. Вам хорошо. Вы чувствуете себя в пределах положенного. Как должно. Нормально до изумления. Вольно, считайте себя резервистом. Счастливого лета. паренья. лелайте устрицы. Выйдя, следует повернуть за угол, где дуэт. и, делая вид, будто это не ты, а некто, тебе почти незнакомый, пусть тоже в шинели, в ушанке, с ушами, метущими персть, — прошествовать мимо Дантовой лужи со вмерзшей по горло баклагой. По горло, которое на ветру доину Сен-Санса сифонит. А в каске чертова колеса, не смущаясь, что та заколочена, позабыта, заплевана, да и вообще — не сезон. надо взять да и подарить себе на прощанье билет на трамвай. идущий куда-нибудь. Закатиться бы, сударь, на двадцать третий иероглиф: где хорошо. Например, в Хорошево, в бор, в пенаты серебряной молодежи. Короче — прочь. Это будет трамвай гумилевского толка; вагон, ударившийся в бега; экипаж, насвистывающий на ходу грибоедовский вальс пополам с каким-то персидским мотивом. Экспресс подадут. Ты входишь. А все остальные — они уже там как там. И тогда начинается все остальное. Особенно — ваше время. Поздравь себя с ним, обернувшись; не оттого ли исцелиться от оного не дано никаким иным, что оно бесподобно. Оно подобало вам, подходило, шло. Вашему кругу, исчисленному на перстах числу, было оно скольк кстати, столь и под стать: было певчим. И голубы руки его мольбертов вам были. И над трамваем присущей ему современности, резко сорвавшимся в лебединый запев — в смелость — в мысль — в образ — и, разумеется, в глубину — реял манифест изумизма. Ваганково следующая, вещал кондуктор. Но вы не страшились. Ты помнишь? Героем был всяк. Но когда бы числу предстояло отчислить профиль на мемориальный металл, лично ты отчеканил бы лнк живописца. Тот ехал от Верхней Масловки, всею сутью и всей атрибутикой — от бороды до кистей — ошестинившись против догм. Даже имя его глядело неодобрительно, исподлобья, сугубо недбайло. Что же касалось картин, их развесили накануне в читальном приюте. куда вы так мчались, дабы начать. Вам было пора — порывисто — вас ждали столь издавна. Вожатый, je ne joue pas: Беговая, остановите сейчас вагон. Да, это она, твоя пожилая улица, ждущая ежедневно без выходных, тихо фонариками кирпичными мая. Это — ранняя родина, неминуемый сосуд. Чаша? Кубок? Пустое. Простое копытце, след бега во все те концы, где начала, след, памяти полный об испытаниях отрочества рысистых, о бегствах откуда бы и куда бы ни — лишь бы, о беге во имя бега, о побегушках амурных, горелках жарких и негасимых. А после, сорвавшись с орбиты Бегов, ты бежал по делам поколения. Дела были трубы, звенящая медь, не Сачмо, не Диззи, не Паркер, но тоже ведь смачно, и для культурного парка, для Пешков-стрит — лучше некуда. Чужал, чаял, и в звуках той монголоидной му — голос ты различил тебя звавший. И голос сказал откровенно и просто, рек напрямик. То есть сказал тебе так. как про подобное только и следует. Он заявил тебе тихо, вернее, безмолвно. Он сообщил тебе вот что. А впрочем, что нужды: неважно, что именно, что сказал, то сказал. Что надо, — то молвил. Одними губами. Губами и все. И баста. Рек, молвил, а ты, лелеющий певчесь, чуешь, что вот оно, самое что ни на есть, то самое, когда уже более некуда, ибо больше уже нельзя, невозможно, нет смысла, ведь далее только мрак того же туннеля, бред той же трубы, приехали. Кондуктор, рваните вашу бикфордову бичеву — да откроется нам. И не далее как февраля отрывного числа — числом своим взрывчатым — честь имели. Мело. Гололедило. И с какою-то легкостью, щегольски, беззаботно, как Боткин бы будто — цитаты из Цицерона и Тацита, улица имени терапевта роняла прохожих и перспективы. Но, млад да ранен, ты всем твоим певчим — всем волчьим — всем беговым чуял близкое поперек и вдоль. И далекое. И неизбежное тож. Ёвое, с трамвая за номером двадцать три сойды, ты выдвинулся в иное, вернулся к себе, человеку привычному, своему. И поскольку число отрывное было скромнее трамвайного, а взрывчатое — и того скромней, то сомнений не оставалось: лишь оставалось начать. Начать и только. Причем, почти ни с того, ни с сего, с середины. В середине шестидесятых — из самого их средостения, из чрева их, из нутра — заговорить человеческим голосом, наговорить откровений, притч. Только спокойно. Без нервов. В манере далеких солнц: так, будто бы ничего не случилось. Чу: нормальной проэзией. Нормального изумизма. Короче, взорваться, милостивый государь, взорваться.



ГЕНО
КАЛАНДИЯ

Этот город

Этот город меня помнит молодым.
Запах моря, запах хвои и платана,
Листья в пригороде жгут, и светлый дым
Смешан с облачком серебряным тумана.

Дом стоит. Он слышал наши голоса,
Смотрят вверх подслеповатые оконца.
Я на стенах рисовал твои глаза
И свои глаза, а между ними солище.

Мы дышали горькой горною травой,
С побережья холодок тянул осенний,
На летящей вверх булыжной мостовой
До сих пор остались рядом наши тени.

Парк у пристани, он стал совсем седым,
Но стоит еще скамейка под орехом,
И на улице, где был я молодым,
Имея остались наши дальним эхом.

Этот город меня помнит молодым.

☆☆☆

Разноцветны сумерки в ауле,
В небе, меж горами — не закат,
Это нашу душу растянули
Три тысячелетия назад.

Древняя Иверия — оазис,
Светлячок, сверкающий во мгле.
И течет река с названием Фазис,
Семь домов — селенье на скале.

Наш очаг старинный — город Вани.
Крыша, дым, граиатовый листок.
След остался на хребтах сказаний
От кнута, что поднимал Восток.

Тень печали омрачает лица,
Не ослабла боль через века.
Будто кровь почувшавшая птица,
В небо тень взлетает Мамлюка.

Наши песни — цвет вишневой ветки,
Скрип иорога, ждущего гостей,
Голос, что оставили нам предки —
Эхо за стенами крепостей.

Наши песни — иодвиги Арсена,
На вершину севшая луна,
Света снап, и над волною пена,
И полет вечерний табуна.

С праздником сплетаются печали,
И поет над Грузией труба
О тропе, что нас вела вначале,
И о том, куда ведет судьба.

Небо над Иверией багрово,
Слышу грома дальнего раскат,
Это произис мой предок слово
Три тысячелетия назад.

Баллада о замерзшем дереве

Это дерево весной не зацветет,
Не качнется на тяжелой ветке плод.
Корни вытащит из глубины земли,
Преаратятся эти корни в костыли.

Скрип раздастся, и сойдет оно с холма
В час, когда в горах закончится зима.
Может, итицы по листочку возвратят
Там, в долине, где раскинул ветки сад.

Может, люди возвратят ему плоды
У пруда, возле серебряной воды.
Может, солнце, зажигающее день,
Возвратит ему раскидистую тень.

Никакая сказка чуда не вериет.
Не качнется на тяжелой ветке плод.
Белым облаком весной не зацветет.
Ствол скрипит, как будто наолга поет.

Я — заложник

Я — заложник этих соличных вершин,
Этих древних гор, ущелий и долин,
Я — ручей, бегущий к морю от скалы,
Я — сосна с прозрачной капелькой смолы.

Сои ребенка, пеиье птицы — это я,
Я — слеза, я — тень земного бытия.
Я — заложник своих близких, не уйти,
Испытал я все на жизненном пути:

Верность друга, ласку женщины моей,
Гор обвалы и качания морей,
Слово матери, печальный взгляд отца.
Нет конца всему живому, нет конца.

Сколько прошлого у ветра, у огня,
У цветка, и у звезды, и у меня.
Сколько будущего — пики гор видны.
Я — заложник наступающей весны.

Перевел с грузинского
Р. ОЛЬШЕВСКИЙ



Юрий
РЯШЕНЦЕВ

поэма

НОЧНАЯ МАШИНА

1. Ночная машина

Ночной непутевой машины совиная стать, и нет никого, перед кем бы хотелось предстать: горластым сконцам устуили пространство друзья, торжественным моистрам друзья устуили пространство. Когда-то ивлявший родню чуть не в каждом окне, мне страшен мой город, теперь охладевший ко мне. И ход прибавляю, где раньше сбавлял, тормозя, ты думаешь — из хулиганства?

Зачем я машу серой вьюгой над дикой Москвой, невнятен собратьям, сокрытым во мгле мировой? Как это Кольцо, этот нищенский редкий неон и этих последних прохожих они понимали! Но всиомят ли призрак Никитских у райских ворот, когда нас крушение или чудо друг другу вернет, и скажем с блаженным рыдаьем: — Смотри, это он!.. Ты думаешь, скажем? Едва ли...

Лузга ледяная, деревья, забывшие стыд, резиновый свист четырех ярославских копыт, желток светофора в иатекшей снаружи воде, ночного гуляки с обочины жест безнадежный, и музыка сверху, и яркий с афишей иорог, и чья-то там свара, и мокрого мата комок, и красные сопли по черной текут бороде — ты думаешь: бал молодежный?

Ты думаешь, юность умней и бездарнее нас? Но это лишь фраза, а много ли проку от фраз? Верни мне друзей, остального я знать не хочу, не верю закону, коль нету в нем места для чуда! Хотя эта же скорость, неужто она не намекает на иарочку истин, которые нам невдомек, ия то, что пространство иодвластно любому грачу, а время — бессрочная ссуда.

Но что, если вера — иаркоз, герони, алкоголь? Куда нам до птиц с их свободой маршрутов и воль! И знак «60 километров» на каждом шагу — багряного нимба не снять с этой иовой святыни... Оки на девятом. Опять тормозить не с руки. Могильные камни у нас высоки-высоки: встают, и конца им не видно в такую пургу. А лета не будет отныне...

2. На огоеик

Иду сквозь пургу на Бульварном кругу то ветхий балкон, то оконце.

Где вешки на стежке от друга к врагу: приятели, бабы, знакомцы?

Тепло мезонина, подвала не сгивуло, не миновало!

Главу не положит, в беде не спасет хозяин иолночной берлоги,

Поэма публикуется в сокращенном варианте.

но кресло предложит, вина подиесет — какой еще хочешь подмоги?

Есть долгая полночь с беседой. Молчи и на время не сетуй!

Кто знает, ио жесту каких там держав, каких ноднебесных коллегий, каких мы лишимся естественных прав, каких вековых привилегий!

И как затоскуем в оковах бесед и пейзажей пайковых!..

Ты видишь в глазок, это я, это я! Открой мне! Я мерзну у лифта! На час или дольше мы будем друзья, и общию будет молитва!

Но русскому с русскими тесно. И ты ль за дверьми — неизвестно.

3. Монолог старого интеллигента

При чем евреи? Дурень видит талес во всем, что не похоже на армяк. И мы своей диаспоры дождались: своим любимцам Бог, известно, — враг. Мы, в собственно веря окайяство, весь Божий мир учили без стыда — иора и нам платить за месснаство: спасители, спасайся кто куда!.. Евреи — что! Они себя сгубили.

Они в судьбе безумной мировой трагедией, живым укором были, а сделались державой рядовой... Но мы, от фииских блат и до Кореи разлетшись, кто мы, русские сейчас? Не Новой ли истории евреи:

как кровь ни прячь, а раиы — напоказ. Мы, как евреи, разбрелись по свету

и требуем внимания к себе, и, как от них, от нас покоя нету иной державе, Божией рабе.

Так тешьтесь, что ушел процент острожный, что всех нас Запад просто не вместит.

Великий — там, коль здесь велик ничтожный, — кому из них Отчизна не нростит?..

И мне, иотомку ведем старомосковских, который, чем с Арбата — лучше в гроб, какой-нибудь из этих Поллитровских Россию проповедует? Холон!

Да сколь умов ушло не потому ли, что отточил клыки в своей норе он, с дерева спустившийся в июле, чтоб кафедру облапить в октябре?!

4. Снова на улице

Только воздух, огни и деревья — покой и отрада.

Здравствуй, к пьянице иежисть и жалость к старушке ночной, да китайское иглоукальвание ледопада, да иаждачная шкура асфальта, где путь тормозиной.

Растерялись мои земляки. Если нет — отупели.

Если нет — обозлились. А ежели нет — где они?

Только город, содеянный ими: столица скудели, кладовая бессмертья, — стоит, ни друзей, ни родни.

Только там, где купеческий дом, в вышине зачердачной, ангел робкие крылья сложил за иесильным хребтом и молчит, как в приемной проситель, худой и невзрачный, приблизительно зная, что с нами случится иотом.

5. Песенка барда

Постою. Поутихло или мне кажется? Полуснег-иолусажица по стеклу размелась, а снова лечь не торопится. И странствующий магнитофон заявился, а хозяини нет, как водится, — и все еще нет, все еще нет, а вот наконец и он! Спасибо, приятель! Моссовет не прощает ночного шума, а я прощу; Моссовет не ищет мертвого друга, а я ищу. Мы не были с ним знакомы: я люблю иародных героев иеиавязчиво, издадека. Он был — как благая чума на наши дбмы, единственный, кого мне вериула сегодня пурга. Так и должно быть: из друзей самый

верный — тот, с кем ты незнаком. Вот он мне душу и дерет до каверны крупнонаждачным своим баском:

«Стало скучно жить на свете: Ничего в торговой сети, Даже не на что менять Свои бутылочки. Одевай, жена, колготки. Отправляйся к верной тетке, Колготись — не то опять Слеза — на вилочке! А у тетки, у заразы, Расфасованы заказы Для начальства, для жидков И для инсателей. Дай ей трешку — пусть скорее Обделит хотя б еврея, Скажет «Нет!» семье врагов И злопыхателей...»

...А зато у нас соли, перца ли — не в искусстве для народа, так — в народе! Эта музыка банальная, эти еринческие терции — без коммерции, не та порода! — в них великая тоска коммунальная...

«Дед пошел узнать на рынке, Что почем — вчера поминки: Приценился: — Ну, вообще! — И тут же — в морг его... Это ж темные моменты — Это, стало быть, студенты На уборке овошей Ленивей мертвого. Был бы прежний жив начальник, Обо всех об нас печальник, Очень страшный для врагов, А к нам — хорошенький, — Он прибил бы вас, разнии, Кабы знал, что в магазине Пара плавленых сырков Да три горошинки!»

Что за страшные плоды дала блатная прививка к гражданской веточке! Некуда вешать колокола — струне же достаает и лестничной клеточки.

«Одевай, жена, колготки! Это что же: даже вод... Даже водки не достать Во всем Нагатице! На судьбу грешить не будем, Но хуже Польши к русским людям, чтоб ей воли не видать, гадине!...»

И охрип последний куплет, и сокрылся в темень и сплечь. Засмеялся я ему вослед. И стал плакать.

6. Ночная машина

Ночной безобразной машины неясный маршрут: прожорство веков или просто транжирство минут, плебейство души или, может, убийство любви в эпоху, когда ни обещаний и ни обещаний. Москва, не скажу, постарела на третьем витке, но выплел неон и на «Мясе» и на «Молоке». И не торопясь предлагают резоны свои рассудок с душой на одном из своих совещаний.

Куда же теперь? Есть такой уголок на Щипке, с хозяйкой которого был же я накоротке. Красавица, умница, пьяница, скромница — клад для истинной дружбы с чуть-чуть сексуальным оттенком. Она-то простит и отпустит частых звонков, и поздний порыв четырех ярославских иодков, и всех, кто потерян, мы с нею вспомняем подряд, поклонимся низко их ликам, висающим по стенкам.

Рассудок твердит: — Эгоист, проходимец, прохвост! Душа, соглашаясь, сквозь крышу взлетает до звезд. Рука же включает безумный сигнал «поворот», и галочку дьявол заносит в приходную книгу. И путь к преисподней, совпавший с трамвайным путем, кидает то теменем в крышу, то в дверцу плечом, покуда колеса не скринут у старых ворот и кошку спугнут в подворотне, а может, шинигу.

7. Монолог молодого интеллигента

— Уезжают? Слава Богу.

Как судьбу ни назови, остаемся понемногу, так сказать... одни свои. Пили кровь, мутили воду, жизнь преобразили в ад. Ну и что он дал народу, этот их картавый гвалт? Разве так в России жили, — заживут еще, даст Бог, — без летучей этой пыли, без лихих ее морок...

А ведь род — не из последних: точен, смел не по годам, да и мудр при всех-то бреднях. Дай им Бог, но — там, но — там! Здесь они, и душно ясно, — племя нашего стыда, триппер наш и наша язва, наша пьяная беда. Видно, роком их незрчим только им одним дано

там смеяться, где мы плачем, плакать там, где нам смешно. Годы страшных их успехов — позади. Но и сейчас жалко им иоляков, чехов — им не жалко только нас. ...Есть естественное право применять норой металл. Плоть народа есть держава — Сталин это понимал. Как его ни иносили в одурении слепом, а везде — штыки России. Не орлом, так хоть серпом!.. Кто нам свой — решают предки. Примесь чуждой крови — вред. Исключения крайне редки: Пушкин, Сталин... ну, там Фет. Ииородцам наши нужды чужды. Что ж, открыта дверь. Службы их, не то что дружны, нам не иадобно теперь.

8. Запоздавшая реплика

Хворобою, свойственной Вию, не в тягость себе наделен, ты, если и знаешь Россию, останешься ей удивлен.

Она. может быть, и исполнит ииые из ваших начал. Но тихо и крепко запомнит, что этот вот лодку качал.

Понив из «святого колодца», колодез завалит с душой. А там уж сама разберется, кто свой ей, а кто ей чужой.

9. Песенка другого барда

Дивно и пусто на стогнях Москвы — час ли для друга пль просто ровесника? И не выходит из головы давняя чья-то московская песенка:

«На Арбате кривом, на кривом и нестройном Арбате, где вдоль бедных витрии наше счастье проходит в толпе, все: от юных богинь и до стареньких барынь на вате — все за мир голосуют и все голосят о судьбе.

На Арбате кривом, где теперь уж ни такс, ни бульдогов, где так сладко нам иить невеселое наше питье, от блатных огольцов и до съевших собак недагогов, — все России верны, всем взаимности нет от нее.

Но зачем торговаться нам с Родниой, мы ведь не дети. Чем несчастней любовь, тем в ней больше цветов и поэм. Всем: от шлюхи в кафе до нечальной старушки в «Диете» — всем вам счастья, друзья, ну, а с горем не будет проблем!»

Дивно и пусто на стогнях Москвы. Падайте, хлопья, не густо, но иадайте. Господи, всем, кто забыл их, яви эти ворота, иодъезды и панерти.

10. Ночная машина

Ночной безнадежной машины четвертый виток... Куда ты, полноночный тать, беспризорийный ездок? Последние окна призиали естественность тьмы. Последние двери глотнули иоследних прохожих. У Третьего Рима Четвертый Советский туник разрыт и заброшен и с горя к оврагу ириник, и медленный воздух гнилой полужидкой зимы естественного годеи для этих путей непогожих.

Живи, ухмыляясь, хвались, и рыдай, и кляни свою непроглядную ночь, неприглядные дни, талит свой острожный, свой неосторожный талант, свои хорошо ии-структурированные вокзалы... Каким бы ты ни был, один ты и есть у меня, мой город! Не дай же мне стинуть до смертного дня, крича уходящим друзьям, словно старый цыган: — Чаваль-ы!

1980 г.

Рой
МЕДВЕДЕВ

ОНИ ОКРУЖАЛИ СТАЛИНА

ШТРИХИ
ИЗ ЖИЗНИ
МИХАИЛА
СУСЛОВА

На снимке: Леонид Брежнев и Михаил Суслов на вручении награды коллективу завода ЗИЛ. Апрель 1976 года.

Фото Юрия САДОВНИКОВА.

Нижний снимок сделан в этом году в Подмосковье. И такое хранила земля...

Фото Анатолия ГУЛАКА.



Главный идеолог или «серый кардинал» партии

В конце января 1982 года печать, радио и телевидение СССР сообщили, что на восьмидесятом году жизни «после непродолжительной тяжелой болезни скончался... член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда Суслов Михаил Андреевич». Через четыре дня после смерти Суслов был похоронен с такими официальными почестями, с какими после марта 1953 года не хоронили в Москве ни одного из высших руководителей партии и государства.

А между тем Суслов, казалось бы, не принадлежал к тем политическим деятелям нашей страны, которые за последние пятнадцать лет привлекали внимание внешнего мира. О Суслове говорили и писали мало, да и сам он не стремился к «паблисити» и старался держаться в тени. Никогда не был ни министром, ни заместителем Председателя Совета Министров СССР и лишь в Верховном Совете СССР занимал незаметную должность председателя Комиссии по иностранным делам Совета Союза. Почти всю свою жизнь он проработал в аппарате партии. Он был, как и Маленков, прежде всего «аппаратчиком», но, пожалуй, еще более искусным. Суслов поднимался вверх по ступеням партийной иерархии медленнее других. 33-летний Молотов был уже одним из секретарей ЦК РКП(б), так же как и 33-летний Каганович. Микоян в 33 года был наркомом и кандидатом в члены Политбюро. Маленков в свои 33 года заведовал одним из самых важных отделов ЦК ВКП(б). Между тем как 33-летний Суслов был рядовым инспектором Центральной контрольной комиссии. Но Суслов закончил свою почти 80-летнюю жизнь не скромным пенсионером и не почетным членом ЦК, а человеком, облеченным огромной властью и занимающим второе место в нашей партийной иерархии. Поэтому смерть Суслова вызвала так много откликов, толкований и прогнозов.

В последние семнадцать лет своей жизни Суслов считался главным идеологом партии. В СССР идеология — не только область пропаганды и агитации или сфера общественных наук, это и важнейший инструмент власти. Никто не может занять крупный пост ни в одной общественной или государственной организации, если не будет придерживаться партийной идеологии — марксизма-ленинизма. Основы марксизма-ленинизма изучаются во всех общеобразовательных школах и высших учебных заведениях независимо от их профиля. Присуждение любой научной степени, будь то физика, математика или астрономия, литературоведение или юриспруденция, требует предварительной сдачи экзаменов по марксистской философии. До недавних пор человек, обвиненный в отходе от марксистской идеологии, а тем более в полемике с ней, рисковал не только своей карьерой.

Как член Политбюро, отвечающий за вопросы идеологии, Суслов стоял на вершине пирамиды, состоящей из множества идеологических учреждений. В ЦК КПСС он контролировал деятельность таких отделов, как культуры, агитации и пропаганды, науки, школ и вузов, а также два международных отдела. Суслов курировал Политуправление Советской Армии, отдел информации ЦК, выездную комиссию, отдел молодежных и общественных организаций. Под его руководством и контролем работали Министерство культуры СССР, Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Государственный комитет по кинематографии, Гостелерадио. Печать, цензура, ТАСС, связи КПСС с другими коммунистическими партиями, внешняя политика СССР — все это входило в сферу деятельности Суслова. Ему приходилось, разумеется,



Окончание. Начало см. в №№ 3, 5, 6, 8 и 9 за 1989 г.

работать в тесном контакте с КГБ и Прокуратурой СССР, особенно в связи с теми проблемами, которые объединяются не слишком ясным понятием «идеологической диверсии». Немало забот доставляло Суслову и развившееся как раз в 60—70-е годы движение «диссидентов». Много внимания уделял Суслов фактическому (или, как говорят обычно, партийному) руководству деятельностью Союза писателей СССР. Он принимал участие во всех основных его совещаниях. Под контролем Суслова находились и другие творческие союзы: художников, архитекторов, журналистов, работников кинематографии, а также Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, театры, эстрада и другие подобные организации. Система партийного просвещения, общество «Знание», подготовка школьных учебников, научные институты по общественным наукам, отношения Советского государства с различными религиями и церковными организациями — и это далеко не все, чем ведал Суслов.

Особой заботой Суслова было проведение многочисленных юбилеев: 50- и 60-летия Советской власти, 50-летия образования СССР, 100- и 110-летия со дня рождения Ленина — всего не перечислишь. В 1949 году Суслов был одним из главных организаторов пышных торжеств по случаю 70-летия Сталина, в 1964 году — по поводу 70-летия Хрущева, а в 1976 и в 1981 годах — по случаю 70- и 75-летия Брежнева.

Сам Суслов отличался скромностью и в личной и в общественной жизни. Но он умел, если это было надо, потакать тщеславию других. Хотя многие из названных выше юбилейных кампаний проводились с такой вызывающей примитивностью и сопровождалась столь грубой лестью, что люди нередко спрашивали себя: что хочет Суслов — поднять или уронить авторитет восхваляемых им лидеров партии?

Никто как будто не обвинял еще Суслова в жажде материальных благ и наград, стяжательстве, каких-либо излишествах, дорогу к которым открывала власть. Кое-кто из людей «верхних этажей» советского общества даже посмеивался порой над таким аскетизмом Суслова. Но собственным аскетизмом отнюдь не сочетался у Суслова с непримиримостью к широким запросам своих партийных соратников, если речь не шла в данном случае о проблемах идеологии. Было немало случаев, когда Суслов оказывался крайне снисходителен к видным партийным и государственным работникам, замешанным в коррупции и материальных злоупотреблениях. Немало бумаг и докладных записок, которые должны были бы послужить поводом для немедленного судебного разбирательства и сурового наказания отдельных министров, секретарей обкомов, руководителей целых республик, прекращали свое движение в многочисленных сейфах кремлевского кабинета Суслова. Может быть, и в этом была одна из причин его влияния и власти?

В книге «Бодался теленок с дубом» А. Солженицын дает следующий портрет Суслова:

«Когда в декабре 1962 года на кремлевской встрече Твардовский... водил меня по фойе и знакомил с писателями, кинематографистами, художниками по своему выбору, — в кинозале подошел к нам высокий, худощавый, с весьма неглубоким удлиненным лицом [человек] — и уверенно протянул мне руку, очень энергично стал ее трясти и говорить что-то о своем крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал. Я осведомился: «С кем же...», — незнакомец и тут себя не назвал, а Твардовский мне укоризненно вполголоса: «Михаил Андреевич...» Я плечами: «Какой Михаил Андреевич?..» Твардовский с двойной укоризной: «Да Суслов!!»... И даже как будто не обиделся Суслов, что я его не узнал. Но вот загадка: отчего так горячо он меня приветствовал? Ведь при этом и близко не было Хрущева, никто из Политбюро его не видел — значит, не подхалимство. Для чего же? Выражение искренних чувств? Законсервированный в Политбюро свободолобец? Главный идеолог партии!.. Неужели?»

То, что в декабре 1962 года так удивило Солженицына, было всего лишь привычной для Суслова вежливостью, которая иногда походила даже на угодливость, если бы не те высокие посты и громадная власть, которыми располагал Суслов. Суслов был предельно корректен почти со всеми, кого он приглашал в свой кабинет. Крайне любезен он был, например, и с Василием Гроссманом. А между тем речь шла

тогда о запрещении большого нового романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Этот замечательный роман, который только теперь появился на страницах журнала «Октябрь», был в 1961 году неожиданно «арестован»: органы КГБ изъяли из разных квартир и редакций все его копии и черновики.

Беседа Суслова и Гроссмана продолжалась около трех часов, и запись ее, составившая почти сто страниц, хранится ныне в одном экземпляре в спецхране ЦГАЛИ. Суслов говорил на разные темы, а об «арестованном» романе писателя сказал кратко: «...Я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу — публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, Советской власти, советскому народу».

На просьбу Гроссмана вернуть ему хотя бы авторский экземпляр рукописи Суслов ответил: «Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник, а об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести — триста лет».

Если многие секретари ЦК и другие высшие руководители отличались у нас нередко грубостью и пренебрежением к подчиненным, то Суслов почти всегда был крайне внимателен даже к самым рядовым работникам партийного аппарата и потому пользовался во многих его звеньях несомненной симпатией. Однако более наблюдательные люди говорили мне, что взгляд светлых, почти белых глаз Суслова неприятен, к нему было трудно подойти запросто, при всей корректности и вежливости Суслов не мог подчас скрыть присущей ему сухости и равнодушия к судьбам людей. Его большие руки с длинными и тонкими пальцами напоминали руки пианиста, а не крестьянина, кем он был по своему происхождению.

Одним из главных лозунгов после октябрьского 1964 года Пленума ЦК была «стабильность». Речь шла о стабильности в политике, руководстве, идеологии. И тем не менее 60-е — 70-е годы были временем больших перемен и во внутренней и во внешней политике, и в составе руководства. Из членов Президиума ЦК КПСС, которые обсуждали в октябре 1964 года вопрос о смещении Хрущева, продолжали в 1981 году заседать в Политбюро только три человека: Брежнев, Кириленко и Суслов. Большинство членов старого Президиума было смещено, остальные похоронены у Кремлевской стены. Теперь рядом с ними покоится и прах Суслова.

В аппарате ЦК Суслова называли «серым кардиналом». При этом имелись в виду не только масштабы его власти, но и тщательно скрываемые источники могущества, а также стремление влиять на политические события из-за кулис. Трудно написать даже краткую биографию такого человека. Мы приведем поэтому ниже лишь некоторые эпизоды из жизни Суслова.

Первые тридцать лет

Почти ничего не известно о первых тридцати годах жизни Суслова. И в Большой Советской, и в Исторической Энциклопедиях, и в некрологе по случаю его смерти об этом говорится в одних и тех же выражениях и одинаково мало.

Михаил Андреевич Суслов родился 21 ноября 1902 года в селе Шаховском Хвалынского уезда Саратовской губернии в семье крестьянина-бедняка. Отец Суслова умер давно, но мать дожила до девяноста лет и умерла в начале 70-х годов в Москве. Я не смог узнать, были ли у нее еще дети и как сложилась их судьба. Во всяком случае, в отличие от семьи Кагановича никто из членов семьи Суслова не принимал участия в политической жизни нашей страны.

В Шаховском Суслов получил лишь самое начальное образование. Рано проявил революционную активность. Уже в шестнадцать лет Суслов вступил в комсомол и стал видным членом уездной комсомольской организации. Когда весной 1918 года в стране начали создаваться комитеты бедноты, молодой Суслов вошел в бедняцкий комитет своего родного села. В 1921 году, девятнадцати лет, Суслов вступил в партию. Вскоре по путевке местной партийной организации он приехал в Москву учиться на Пречистенском рабфаке, который успешно окончил в 1924 году. Суслов решил продолжить учебу и поступил в Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. Успешно его окончив, Суслов для повышения квалификации был зачислен в Экономический институт Красной профессуры, который готовил кадры «красных» преподавателей, новую партийную интеллигенцию. Состав преподавателей и в том, и в другом институте

был очень хороший, и можно предположить, что Суслов получил неплохую подготовку. Вопросы экономики, политэкономии и более конкретно — в применении к переходному периоду — были в 20-е годы в центре внутривнутрипартийной дискуссии. Из биографии Суслова мы можем узнать, что он активно боролся как против взглядов «левой», так и «правой» оппозиций. Вскоре молодой «красный профессор» стал преподавать политэкономии в Московском университете и в Промышленной академии. В ней как раз в 1929—1930 годах учился Хрущев. Между студентами академии, пришедшими сюда с активной партийной работы, и преподавателями были отношения совсем иные, чем сегодня. К тому же Хрущев был избран секретарем партийной организации Промакадемии. Поэтому можно без колебаний сказать, что Хрущев и Суслов были уже знакомы в то время. Однако никаких тесных отношений между ними, которые можно было бы назвать близким знакомством, тогда не возникло. Они сложились лишь в конце 40-х годов.

В 1931 году Суслову предложили работать в партийном аппарате, и он оставил преподавательскую работу. Суслов стал инспектором Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и наркомата Рабоче-крестьянской инспекции. Главной работой на этом посту был разбор многочисленных «персональных дел», то есть нарушений партийной дисциплины и Устава партии, а также апелляций исключенных из партии. Видимо, Суслов неплохо справлялся с этой работой.

В тридцатые годы

В 1933—1934 годах Суслов возглавлял комиссии по чистке партии в Уральской и Черниговской областях. В масштабах всего Союза этой чисткой руководил Каганович, который в начале 30-х годов стоял во главе Центральной контрольной комиссии и, безусловно, обратил внимание на ее старательного работника.

Немало людей убеждено в ответственности Суслова за репрессии в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Однако они исходят лишь из того факта, что в годы террора Суслов находился там на ответственной партийной работе. Сам Суслов нередко говорил своим друзьям, что он не уничтожал, а восстанавливал Ростовскую партийную организацию. Может быть, это и так. У нас нет никаких данных о личном участии Суслова в репрессивных кампаниях 1937—1938 годов. Но именно они, уничтожившие основную часть партийного актива, открыли для Суслова путь к быстрому продвижению вверх. Так, например, в 1937 году было «ликвидировано» почти все руководство Ростовского обкома партии. Суслов был направлен в Ростовскую область в качестве заведующего отделом обкома. Жестокие репрессии в области продолжались, но они не коснулись Суслова, который вскоре стал одним из секретарей обкома. Аресты были настолько массовыми, что на некоторых предприятиях не было парторгов, партийная организация области оказалась просто обескровлена. Были арестованы и тысячи беспартийных инженеров и хозяйственных руководителей. На их место нередко выдвигались рядовые рабочие — стахановцы. Однако им трудно было заменить опытных специалистов и обеспечить выполнение плана. Один из таких стахановцев, Никита Изотов, возглавивший угольные предприятия области, однажды в ярости ударил областного начальника НКВД, который явился к нему за санкцией на новые аресты. В результате был смещен не Изотов, а начальник НКВД. Как раз в это время наркомат внутренних дел возглавил Берия. В Ростовскую область направили для руководства управлением НКВД В. С. Абакумова. Некоторые из арестованных были даже освобождены и восстановлены на прежних должностях. В обкоме партии рассмотрели апелляции членов партии, которых ранее исключили из рядов ВКП(б), но оставили на свободе. Кроме того, перед XVIII съездом партии Суслов организовал быстрый прием в партию более трех тысяч новых членов.

Была обескровлена репрессиями и партийная организация обширного Ставропольского края. С 1939 года Суслов был выдвинут на должность первого секретаря Ставропольского крайкома партии. Это был важный этап в его карьере. От Ставропольского края Суслов участвовал в работе XVIII съезда ВКП(б). Он не выступал на съезде, но был избран членом Центральной ревизионной комиссии. Еще через два года на XVIII партийной конференции Суслов был избран членом ЦК ВКП(б). Это был еще один шаг по направлению к высшим эшелонам власти.

Война пришла на Ставрополье в 1942 году. Развивая летнее наступление, немецкие войска захватили Ростов-на-Дону и стали быстро продвигаться по территории Северного Кавказа. Отступление было настолько быстрым и беспорядочным, что в некоторых районах края части Красной Армии уходили на восток за несколько дней до появления немецких дивизий. Остановить немецкое наступление удалось только близ города Орджоникидзе, недалеко от Грозного. Немецкая оккупация продолжалась, однако, менее года. В этот период основной задачей обкома партии была организация партизанского движения. Суслов возглавил Ставропольский краевой штаб партизанских отрядов, а во время боевых действий входил и в Военный Совет Северной группы войск Закавказского фронта.

Во время войны и оккупации небольшая часть проживавших в Ставрополье карачаевцев поддержала гитлеровскую администрацию. В городе Микоян-Шахаре был создан Карачаевский национальный комитет. Но большинство карачаевцев не признавало этот «комитет», а помогало партизанам. Тем не менее вскоре после освобождения края в ноябре 1943 года 70 тысяч карачаевцев были поголовно выселены из родных мест и в эшелонах отправлены на «спецпоселение» в Среднюю Азию и Казахстан. Карачаевская автономная область была ликвидирована. Разумеется, решение о выселении мусульманских народностей с Северного Кавказа и из Поволжья было принято в Москве Государственным комитетом обороны. Однако верно и то, что Ставропольский обком партии полностью поддержал это решение и помог провести его в жизнь.

В период активных боевых действий на Северном Кавказе Суслову как члену военного совета подчинялся и полковник Л. И. Брежнев, который был тогда начальником Политотдела 18-й армии и который, в частности, помогал Суслову налаживать гражданскую и хозяйственную жизнь на Северном Кавказе. Но это было лишь мимолетное знакомство, так как 18-я армия после взятия Новороссийска ушла на запад. Спустя десять лет после боев на Северном Кавказе Брежнев уже в звании генерал-лейтенанта стал заместителем начальника Главного Политуправления Советской Армии и Военно-Морского Флота, и в этот период он тоже должен был выполнять директивы Суслова, уже секретаря ЦК КПСС.

К осени 1944 года большая часть Литвы была освобождена от немецкой оккупации. Партийную организацию республики возглавил старый подпольщик, еще в 1926 году избранный секретарем ЦК КПЛ А. Ю. Снечук. Но Сталин не доверял бывшим подпольщикам. К тому же коммунисты не пользовались в Литве значительным влиянием, и большая часть католического литовского населения выступала против «советизации» Литвы. Было решено поэтому сформировать не только ЦК Литовской компартии, но и специальное Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР, с чрезвычайными полномочиями. Председателем Бюро был назначен Суслов.

Как известно, после ухода немцев в Литве началось упорное сопротивление новой власти, переросшее в длительную и жестокую партизанскую войну. В сущности, это была настоящая гражданская война, в которой часть литовского населения поддержала Красную Армию, а другая часть выступила против нее с оружием в руках. Состав партизанских отрядов «лесных братьев» был пестрым. Здесь находились и люди, сотрудничавшие с оккупантами, и богатые крестьяне, и дети литовской буржуазии. Но оказалось немало и простых литовцев, выступавших за независимость своей республики. Борьба была очень трудной и кровопролитной. В итоге значительную часть населения республики депортировали в Сибирь. Из городов выселили представителей буржуазии и других «чуждых» классов, членов бывшей литовской администрации, лидеров национальных партий, а из сельской местности крестьян, обвиненных в оказании помощи «лесным братьям». Военные действия длились два года, пока партизанское движение в республике не было полностью ликвидировано. Эта борьба, сопровождавшаяся с обеих сторон жестокостью и массовым насилием, оставила значительный след в сознании литовского народа.

Суслов был послан в Литву Сталиным и наделен чрезвычайными полномочиями. Его влияние распространялось и на другие республики Прибалтики. Не следует поэтому удивляться, что Суслов оставил о себе и в Литве, и в Прибалтике недобрую память.

Высхав в Литву почти как на фронт, Суслов не взял с собой семью, которая оставалась жить в более спокойном Ставрополе. После гибели молодого и талантливого генерала И. Д. Черняховского, командовавшего одним из Прибалтийских фронтов, Суслов взял под опеку его вдову, но вскоре увлекся этой красивой молодой женщиной. Жена Суслова написала из Ставрополя жалобу Сталину. Совершенно равнодушный к многочисленным фактам супружеской неверности своих соратников и, видимо, глубоко презиравший женщин, Сталин, однако, не поощрял разводов. Суслову было сделано строгое внушение, и его семья восстановлена.

Работа в ЦК ВКП(б)

Видимо, Сталина вполне удовлетворяла деятельность Суслова. В 1947 году его перевели на работу в Москву, а на Пленуме ЦК избрали секретарем партии. В Секретариат в этот период входили Жданов, Кузнецов, Маленков, Г. М. Попов и сам Сталин. Суслов пользовался полным доверием Сталина. В январе 1948 года именно Суслову было поручено от имени ЦК сделать доклад на торжественно-траурном заседании по случаю 24-й годовщины со дня смерти Ленина. В 1949—1950 годах Суслов становится еще и главным редактором газеты «Правда». Его избирают членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1949 году Суслов участвует в Совещании Информационного бюро коммунистических партий в Будапеште, где выступает с докладом, основным тезисом которого было осуждение Югославской компартии. Еще в 1947 году Суслов сменил Г. Ф. Александрова на посту заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК. Суслов участвовал в кампании против «безродных космополитов». Возглавлял комиссию, которая расследовала деятельность заведующего отделом науки Юрия Жданова (сына А. А. Жданова), выступившего в 1948 году против Лысенко. Однако в целом роль Суслова как идеолога в 1947—1953 годах была невелика, ибо главным «идеологом» и «теоретиком» партии оставался сам Сталин.

Через несколько лет, выступая на XX съезде КПСС, Суслов говорил о ненормальном положении, сложившемся в области идеологии в годы культа Сталина.

«Не подлежит сомнению,— заявлял Суслов,— что распространению догматизма и начетничества сильно способствовал культ личности. Поклонники культа личности приписывали развитие марксистской теории только отдельным личностям и целиком полагались на них. Все же остальные смертные должны якобы лишь усваивать и популяризировать то, что создают эти отдельные личности. Таким образом, игнорировались роль коллективной мысли нашей партии и роль братских партий в развитии революционной теории, роль коллективного опыта народных масс».

Однако нетрудно убедиться, что Суслов как идеологический руководитель партии был воспитан и сложился именно в сталинский период и печать догматизма, боязнь самостоятельности и оригинальности сохранились у него на всю жизнь. Главным стремлением Суслова с первых же его шагов на поприще идеологии было не допустить какой-либо идеологической ошибки, то есть не вступить в противоречие с текущими политическими установками директивных инстанций. Он хорошо знал, что посредственность и серость идеологических выступлений никем не преследуется, тогда как одна лишь «идеологическая ошибка» может привести к концу всей политической карьеры.

На XIX съезде партии Суслова Сталин включил в состав расширенного Президиума ЦК КПСС. Суслов вошел в ближайшее окружение Сталина, что было признаком доверия, но таило и немалые опасности. В декабре 1952 года чем-то недовольный Сталин резко заметил Суслову: «Если вы не хотите работать, то можете уйти со своего поста». Суслов ответил, что будет работать везде, где найдет это нужным партия. «Посмотрим»,— с оттенком угрозы сказал Сталин. Этот конфликт не получил развития. Суслов находился в составе Президиума ЦК всего несколько месяцев. Сразу после смерти Сталина Президиум был уменьшен, и Суслов уже в него не входил. Но он остался и после смерти Сталина одним из Секретарей ЦК КПСС.

В окружении Хрущева

Чрезвычайно энергичный, чуждый какому-либо догматизму, склонный к переменам и реформам Хрущев был по

своему характеру прямой противоположностью осторожно-му и скрытному Суслову. В своей административной «команде» Хрущев сам пребывал и главным идеологом, и министром иностранных дел, он непосредственно сносился с руководителями других коммунистических партий. Однако Хрущеву требовался член Политбюро, который руководил бы повседневной деятельностью многочисленных идеологических учреждений. Выбор Хрущева пал на Суслова, и тот в 1955 году становится членом Президиума ЦК КПСС. Вряд ли многое в деятельности Хрущева нравилось Суслову. Однако еще в начале 50-х годов у Суслова сложились весьма неприязненные отношения с Маленковым. Поэтому возможное возвышение Маленкова не сулило ему и тем, кому он покровительствовал, ничего хорошего. Неудивительно, что в острой борьбе, которая вскоре развернулась в партийных верхах между группой Хрущева и так называемой «антипартийной группой», Суслов прочно стоял на его стороне. Суслов поддержал Хрущева на XX съезде КПСС и на бурном заседании Президиума ЦК в июне 1957 года. Решающий для Хрущева июньский Пленум в 1957 году начался с доклада Суслова, который изложил суть возникших разногласий, не скрывая своей поддержки Хрущева. После Суслова выступили Молотов, Маленков, Каганович, Булганин, которые повторили свои обвинения в адрес политики, проводимой Хрущевым. Но Суслов на всех заседаниях Пленума активно поддерживал линию Хрущева.

В конце 50-х и начале 60-х годов сам Суслов начинает осторожно выступать против многих аспектов внешней и внутренней политики Хрущева. Суслов не хотел дальнейшего разоблачения Сталина. Он настаивал на том, чтобы вопрос об «антипартийной группе» не поднимали ни на XXI, ни на XXII съездах партии. Хрущев в данном случае действовал по собственной инициативе. К тому же многие вопросы идеологического порядка он решал с помощью Л. Ф. Ильичева или Микояна. У Хрущева не было «главного идеолога».

В начальной фазе разногласий с Китаем, когда полемика носила еще в основном идеологический характер, именно Суслов был главным оппонентом Лю Шаоци, Дэн Сяопина и самого Мао Цзедуня. Суслов редактировал все письма ЦК КПСС Китайской компартии. Он делал также в феврале 1964 года доклад на Пленуме ЦК о советско-китайских разногласиях.

Я уже писал выше, что в 1956 году Суслова вместе с Микояном и Жуковым направили в Венгрию, чтобы руководить подавлением восстания в Будапеште. В 1962 году Суслов и Микоян прибыли в Новочеркасск для ликвидации возникших там демонстраций и забастовок, вызванных повышением цен на мясо-молочные товары и нехваткой продуктов. Микоян позднее говорил своим друзьям, что он стоял за переговоры с представителями рабочих и что именно Суслов настоял на жестком подавлении рабочих волнений. Суслов активно участвовал в составлении проекта новой Программы КПСС.

Выступая с разъяснениями итогов июньского Пленума ЦК или XXII съезда КПСС, Суслов не раз восклицал: «Мы не дадим в обиду нашего дорогого Никиту Сергеевича!» Однако весной 1964 года (а, может быть, и ранее) именно Суслов стал вести конфиденциальные беседы с некоторыми членами Президиума и влиятельными членами ЦК об отстранении Хрущева от руководства страной и партий. Главными союзниками Суслова стали А. Н. Шелепин, недавно назначенный во главе органов партийно-государственного контроля, и Н. Г. Игнатов, который потерял после XXII съезда свой пост в Президиуме ЦК, но возглавил Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Активную роль в подготовке октябрьского Пленума ЦК играл и Председатель КГБ В. Е. Семичастный. Эти люди и оказались главными организаторами Пленума, принявшего решение об освобождении Хрущева. Именно Суслов сделал на Пленуме доклад с перечислением всех прегрешений и ошибок Хрущева. И с политической, и с теоретической точек зрения этот доклад является крайне убогим документом, начисто лишенным даже попыток какого-либо анализа сложившейся ситуации.

Суслов в 60-е годы

После вынужденной отставки Хрущева руководство партии уже не в первый раз провозгласило необходимость «коллективного руководства» и недопустимость какого-либо нового «культа личности». Хотя Брежнев и стал Первым (а с 1966 г. — Генеральным) секретарем ЦК КПСС, он еще не

пользовался такой властью, как в 70-е годы. Не меньшим влиянием пользовались в партийно-государственном аппарате Суслов и Шелепин, между которыми происходила закулисная борьба за положение в партии. К концу 1965 года казалось, что в этой борьбе одерживает верх Шелепин, прозванный «железным Шуриком». Многие из его личных друзей похвалялись, что скоро именно он станет Первым секретарем ЦК. Однако более опытный Суслов сумел потеснить Шелепина, который стал не первым, а «третьим» секретарем ЦК. На XXIII съезде КПСС весной 1966 года многие наблюдательные делегаты могли видеть, что именно Суслов является главным режиссером съезда.

Одним из противников Суслова в ЦК оказался протеже Брежнева С. П. Трапезников, назначенный заведующим отделом науки, школ и вузов. Трапезников не только возглавил этот ведущий отдел ЦК, но и кампанию по реабилитации Сталина, которая все интенсивнее проводилась в 1965—1966 годах. Суслов не считал тогда подобную реабилитацию целесообразной или, во всяком случае, своевременной. Поэтому он не стал поддерживать людей, подобных Трапезникову, а, напротив, сдерживал их порыв. В 1966 году пять докторов исторических наук, среди которых был и А. М. Некрич, направили в адрес Суслова письмо с подробным и обоснованным протестом против попыток реабилитации Сталина. Помощник Суслова В. Воронцов сообщил авторам письма, что Суслов с содержанием письма согласен и что ответ на него авторы услышат на XXIII съезде КПСС. Однако на съезде Суслов не выступал, так же как и многие другие члены Политбюро. Когда в следующем, 1967 году на Комиссии партийного контроля решался вопрос об исключении Некрича из партии, Суслов отказал Некричу в личном приеме и не стал вмешиваться в дела КПК. Как победа сталинистов над более умеренными кругами партийного руководства была воспринята и замена главного редактора «Правды» А. М. Румянцева, вокруг которого еще раньше образовалась группа талантливых публицистов и журналистов. В 1967 году Суслов настоял на смещении председателя КГБ Семичастного, близкого друга Шелепина. Поводом для этого послужили побег в США дочери Сталина С. Аллилуевой и неудачные попытки КГБ вернуть ее в СССР. Председателем КГБ был назначен Ю. В. Андропов, который до этого работал под руководством Суслова, возглавляя один из международных отделов ЦК КПСС.

Суслова очень пугали события в Чехословакии 1967—1968 годов. Ему казалось, что в этой стране происходит то же самое, что и в Венгрии в 1956 году. Когда в Политбюро возникли разногласия, как поступить в этом случае, Суслов твердо стоял за введение войск Варшавского Договора в ЧССР.

В конце 1969 года Суслов не поддержал уже почти полностью подготовленный проект реабилитации Сталина в связи с его 90-летием. Однако именно он фактически руководил разгоном редакции «Нового мира», журнала, который выражал тогда настроения наиболее прогрессивной части советской творческой интеллигенции. Когда главный редактор журнала А. Т. Твардовский сумел связаться с Сусловым по телефону и выразил ему свой протест, Суслов сказал: «Не нервничайте, товарищ Твардовский. Делайте так, как советует вам Центральный Комитет».

В эти годы нередко запрещалась продажа книг, весь тираж которых был уже отпечатан. Обращаясь к Суслову, издательские работники ссылались на большую проведенную работу и немалые затраты. «На идеологии не экономят», — отвечал в таких случаях Суслов.

И вместе с тем в идеологических вопросах Суслов был не только догматичен, но часто крайне мелочен и упрям. Именно Суслов через своего помощника Воронцова решал вопрос о том, где именно нужно создать музей Маяковского и «кого больше любить» в конце 20-х годов Маяковский (?): Лиллю Брик, которая была еврейкой, или русскую Татьяну Яковлеву, жившую в Париже. Суслов был ярым противником публикации мемуаров Г. К. Жукова, и из-за этого работа над ними продвигалась крайне медленно. Жукову это стоило по крайней мере одного инфаркта. В рукопись книги вносились произвольные изменения, порой вставлялись не только отдельные фразы, но целые страницы, написанные отнюдь не рукой прославленного маршала. С другой стороны, многие куски из рукописи изымались.

Мы не знаем, думал ли Суслов о том, что со временем он может возглавить партию. Однако усиление личной власти Брежнева и расширение его аппарата, независимость многих его действий и выступлений вызвали раздражение Суслова.

В конце 1969 года на Пленуме ЦК Брежнев выступил с речью, в которой подверг резкой критике многие недостатки в хозяйственном руководстве и в экономической политике. Эта речь была подготовлена его помощниками и референтами и предварительно не обсуждалась на Политбюро. Здесь не было никакого нарушения норм «коллективного руководства», поскольку основным докладчиком на Пленуме был не Брежнев, он выступал лишь в прениях. Тем не менее после Пленума Суслов, Шелепин и Мазуров направили в ЦК КПСС письмо, в котором критиковали некоторые положения речи Брежнева. Предполагалось, что возникший спор будет обсужден на весеннем Пленуме ЦК. Но этот Пленум так и не состоялся. Брежнев заранее заручился поддержкой наиболее влиятельных членов ЦК, и Суслов, Шелепин и Мазуров сняли свои возражения. Шелепин еще продолжал по ряду вопросов выступать против Брежнева, пытаясь усилить собственное влияние в руководстве. В результате он был вначале переведен на роль профсоюзного лидера, а затем и вовсе удален из Политбюро. Суслов, сохранив определенную самостоятельность, перестал выступать с какой-либо критикой Брежнева. Он удовлетворился вторым местом в партийной иерархии и ролью «главного идеолога».

Идеология в 70-е годы. Движение вспять

Вся идеологическая жизнь в нашей стране в 70-е годы контролировалась Сусловым и его аппаратом. Конечно, при желании можно отметить некоторые успехи в разных областях науки и культуры в 70-е годы. Но в целом здесь наблюдался не столько прогресс, сколько регресс, и этим мы во многом обязаны руководству Суслова. 60-е годы были временем многих перспективных начинаний во всех областях культуры, искусства, в общественных науках. Однако большинство их не получило развития, они стали затухать уже к концу десятилетия и почти заглохли в 70-е годы. Для интеллигенции, для всех, кто создает культуру страны, это было плохое десятилетие. Никакого собственного вклада ни в теорию, ни в идеологию партии не внес и сам Суслов, его творческий потенциал оказался поразительно ничтожным.

Можно вспомнить, пожалуй, лишь тот факт, что именно Суслов в одной из своих речей первым употребил понятие «реальный социализм», которое может быть образцом уклончивости и неопределенности в теории. В отличие от гермина «фразивитый социализм» понятие «реальный социализм» употребляется и в настоящее время, но каждый вкладывает в него то содержание, какое считает нужным.

Суслову явно не нравилось все то, что как-то поднималось над общим средним уровнем. Известно, например, что Суслову очень не пришелся по душе роман Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?». Слишком откровенный сталинизм Кочетова шокировал Суслова. Но Суслова крайне раздражали и песни В. Высоцкого, пьесы Театра на Таганке. Суслов долго не разрешал к прокату фильмы «Гараж» Э. Рязанова и «Калину красную» В. Шукшина. Неизвестно по каким соображениям Суслов долго мешал выходу на экран фильма «Человек ниоткуда». Говорили, что ему просто не понравилось название этой картины, а чиновники из кинопроката не хотели раздражать «главного идеолога». Суслов препятствовал не только публикации воспоминаний Жукова, но и Микояна. Но тот же Суслов явно не одобрял и набравшее силу в конце 60-х годов русское националистическое движение, выразителем идей которого стали многие публикации журнала «Молодая гвардия». Однако и большая статья одного из ответственных работников аппарата ЦК КПСС А. Н. Яковлева «Против антиисторизма», опубликованная 15 ноября 1972 года в «Литературной газете» и обозначившая различного рода проявления великорусского шовинизма, также не понравилась Суслову определенностью и самостоятельностью суждений. Хорошо зная практику, при которой для ответственных работников статьи и речи составляются сотрудниками «менее ответственными», Суслов попросил своего помощника узнать, кто написал для Яковлева нашушею статью. Помощник вскоре доложил, что статью написал сам Яковлев. «Что он Ленин, что ли», — с раздражением заметил Суслов.

Бесспорно, что Суслов был очень опытным «аппаратчиком», он умело ориентировался в коридорах власти, у него были крайне важные связи в военных кругах или в КГБ. Он постоянно поддерживал дружеские отношения с некоторыми известными, но далеко не лучшими представителями

творческой интеллигенции. Как я уже писал выше, Суслов держался всегда скромно, со всеми, даже с незначительными работниками своего аппарата и посетителями он неизменно здоровался за руку. В личной жизни был аскетичен, не стремился к постройке роскошных дач, не устраивал богатых приемов, не злоупотреблял спиртными напитками. Суслов не особенно заботился и о карьере своих детей. Его дочь Майя и сын Революй никогда не занимали видных постов. Суслов не имел никаких научных степеней и званий и не стремился к ним, как это делали Ильичев, получивший звание академика, или Трапезников, который после нескольких провалов стал все же членом-корреспондентом АН СССР. Напротив, именно Суслов провел через ЦК решение, которое запрещало работникам, занимающим видные посты в аппарате партии, домогаться каких-либо академических званий. Все это, несомненно, похвальные качества для идеологического руководителя партии. Можно предположить, что Суслов хорошо знал теорию марксизма и ленинизма, то есть классические тексты. Вероятно, это было бы достаточно для хорошего преподавателя общественных дисциплин, но совершенно недостаточно для главного идеолога партии.

Хотя Суслова именовали в некрологе «крупным теоретиком партии», на самом деле он не внес в партийную теорию ничего нового, не сказал здесь ни одного оригинального слова. За свою 35-летнюю деятельность на ответственных постах в ЦК партии Суслов не написал ни одной книги, и все его «сочинения» уместились в трех не слишком больших томах. Но что это за сочинения? Читать их подряд невыносимо скучно, в его речах и статьях постоянно повторяются одни и те же выражения и идеологические штампы. Суслов как будто сознательно избегает ярких мыслей и сравнений.¹

Да и что мы найдем в собрании его сочинений из трех томов, изданных в 1982 году? Его речи как секретаря Ростовского и Ставропольского крайкомов партии — это обычные выступления рядового обкомовского работника о воспитании комсомолом молодежи, о долге народного учителя нести в народ свет знаний, о важности своевременной и хорошей обработки земли, о необходимости добросовестно работать для фронта и храбро сражаться против фашистов. Став ответственным работником ЦК КПСС, Суслов не сказал ничего глубокого и значительного. Добрых два десятка его речей были произнесены при вручении орденов Саратовской, Черновичкой, Павлодарской, Ульяновской, Ленинградской, Тамбовской областями, городам Одессе, Брянску, Ставрополю и др. Подобные речи обычно готовятся для оратора сотрудниками аппарата ЦК и соответствующего обкома. Множество таких же заранее подготовленных аппаратом речей Суслов произнес на съездах зарубежных компартий: французской, итальянской, вьетнамской, индийской, монгольской, болгарской и др. Не отличались оригинальностью и традиционные речи Суслова перед избирателями различных округов, от которых он баллотировался в Верховный Совет СССР и РСФСР. Большое место в его «творческом наследии» занимают юбилейные доклады и речи — в годовщины смерти или рождения Ленина, Октябрьской революции, к 70-летию II съезда РСДРП и 40-летию VII Конгресса Коминтерна, к 150-летию со дня рождения Карла Маркса. Если основную речь к тому или иному юбилею произносил Брежнев, то Суслов публиковал по этому поводу статью в журнале «Коммунист». Не слишком интересны и доклады, которые Суслов делал регулярно на Всесоюзных совещаниях идеологических работников или преподавателей общественных дисциплин. Как правило, он всегда обходил наиболее острые и злободневные вопросы. К тому же, готовя свои выступления для публикации в сборниках, Суслов их тщательно редактировал. Он полностью убирал как восклицания, так и порицания Сталина или Хрущева, исключал примеры преступной деятельности Молотова и т. п.

Неудивительно, что сборники речей и статей Суслова не пользовались почти никаким спросом в книжных магазинах. Их первый завод в 100 тысяч экземпляров не расхотелся более двух лет, хотя его книги продавались в любом книжном киоске. Для нашей страны это очень небольшой тираж, так как в Советском Союзе не менее миллиона работников, профессионально занимающихся проблемами идеологии и общественными науками. Что касается дополнительного сборника речей и статей Суслова за 1977—1980 годы, то

первый завод этой книги, стоящей всего 30 копеек, был отпечатан в количестве 50 тысяч экземпляров. Для политической брошюры это тираж ничтожный. Да и он разошелся главным образом по библиотекам и парткабинетам. Не слишком впечатляющий результат многолетней деятельности «главного идеолога» партии.

Последние годы жизни

Михаил Суслов был не особенно крепок здоровьем. В молодости он перенес туберкулез. В более зрелом возрасте у него развился сахарный диабет. Когда он работал в Ставрополе и Литве, то после бурных объяснений с тем или иным работником у Суслова начинались припадки, сходные с эпилептическими. В 1976 году Суслов перенес инфаркт миокарда. Он уже не мог много работать. По требованию врачей он сократил рабочий день до трех-четырёх часов.

Большинство правительственных автомобилей двигались по отведенной для них полосе вместе с машинами сопровождения на скорости до 120 километров в час. Но Суслов не разрешал своему шоферу превышать скорость в 60 километров. Иногда он останавливался возле Исторического музея и от Вечного огня через Александровский сад шел в Кремль. Более продолжительных прогулок он позволял себе не мог. Когда у Суслова побаливало сердце, он не возвращался домой, а оставался на ночь в специальной палате правительственной больницы на улице Грановского.

Все основные решения по отношению к «диссидентам» — от выдворения А. И. Солженицына, ссылки А. Д. Сахарова до ареста активистов «хельсинкских групп» — принимались при участии Суслова.

У Суслова в эти годы сложились хорошие отношения с художником Глазуновым. Глазунов, долгое время числившийся едва ли не опасным художником, получил разрешение устроить огромную персональную выставку в Манеже — что очень высокая честь. Но это вовсе не означало поддержки Сусловым русских националистов. Глазунов написал портрет Суслова, который весьма тому понравился. Как раз в силу своего догматизма Суслов не являлся союзником пестрой группы русских националистов, у них есть и были в прошлом другие покровители в верхах. Именно Суслов еще в 1970 году организовал специальное заседание Политбюро, которое осудило линию публикаций журнала «Молодая гвардия» и приняло решение о замене его редакционной коллегии.

Бурные события в Польше потребовали с августа 1980 года пристального внимания Суслова и вызвали у него большую тревогу. Весной 1981 года Суслов предпринял поездку в Польшу. Он хотел отговорить польское ЦК от проведения чрезвычайного съезда партии путем не контролируемых аппаратом ЦК ПОРП прямых выборов делегатов съезда. Но Суслов смог добиться лишь некоторой отсрочки в проведении съезда. По инициативе Суслова было составлено письмо ЦК КПСС руководителям Польской объединенной рабочей партии. Под его руководством проводилась осторожная, но настойчивая борьба с так называемым «еврокоммунизмом».

В начале января 1982 года у Суслова было особенно много неотложных и важных дел. Военное положение в Польше, острая дискуссия по этому поводу с Итальянской коммунистической партией. Продолжавшийся спор театра с Институтом марксизма-ленинизма по поводу постановки в МХАТе пьесы М. Ф. Шатрова «Так победим!» о последних годах жизни Ленина. Несколькими делами о хищениях и коррупции, в которых оказались замешаны некоторые ответственные работники и люди с достаточно громкими фамилиями. К таким перегрузкам Суслов был уже не способен. Он был стар, у него были поражены атеросклерозом сосуды сердца и мозга, ему нельзя было не только много работать, но и волноваться. Однако невозможно быть на столь высоком посту, который занимал Суслов, и не волноваться, не вступать в конфликты, не получать неприятные известия. После одного внешне спокойного, но крайне резкого по существу, разговора у Суслова повысилось кровяное давление и возникло острое нарушение кровообращения в сосудах мозга. Он потерял сознание и через несколько дней скончался. Смерть Суслова вызвала много толков и прогнозов, но было не так уж много людей, которые испытывали чувства горя и сожаления, проходя мимо гроба в Колонном зале Дома Союзов или наблюдая за торжественной процедурой похорон по телевизору. На небольшом кладбище у Кремлевской стены уже не так много свободных участков. Но для Суслова нашли место рядом с могилой Сталина.

¹ Любопытно, что один из главных помощников Суслова, Воронцов, — собиратель поговорок и афоризмов. Но при подготовке речей Суслова ему не удалось ни разу вставить в его тексты что-нибудь интересное из своей коллекции.

Лев АННИНСКИЙ

НЕ ПЕНЯЯ НА ЗЕРКАЛА

Фото Леонида ШИМАНОВИЧА



Дело, которое я задумал, конечно, рискованно. В ситуации, когда все вызывают к необществу выраженью лиц, отказаться от персонального подхода — странный замысел. И все-таки. Как объявил в «Литературной газете» составитель «Зеркал»¹ А. Лаврин, сейчас — время альманахов.

Отлично. В этом тоже есть свой смысл. Дело не в авторах, а в том общем, что они манифестируют. Авторы, кажется, того же хотят — чтобы их воспринимали не врозь, а вместе. Независимо от жанровых и прочих нюансов.

Нюансы я все же оговорю. Во-первых, тут целая хрестоматия малых жанров. От близкого к традиции, вполне нормального рассказа до условного «театра для чтения», от «исторической» поэмы в духе А. К. Толстого до стилизованного «народного графоманства» в духе то ли Д. Хармса, то ли капитана Лебядкина и от «идиограммы» бредового потока сознания до филологически безупречного истолкования символов, осененного фигурой Монтеня, но уходящего в русскую философскую традицию. Все это я буду игнорировать ради того общего жанра, который делает альманах альманахом.

Во-вторых, репутации. Тут есть авторы, активно и удачно печатающиеся, и есть малоизвестные, есть мировые знаменитости и есть знаменитости «сам-издатские», полуподпольные, но и это неважно, а важно то, что их в альманахе объединило: они прорвались в гласность; раньше им «не давали» высказаться, а теперь дали.

Я бы по старой привычке назвал их поколением, но возрастной разброс тут лет чуть не в двадцать, так что речь не о поколении, а, строго говоря, об общей судьбе, которую разделили люди разных поколений: дети «культы», дети «оттепели», дети «застоя»... именно те из них, на которых «поставили крест»: помнили и обманули.

Так. Пойдем от этой точки. Реальность их обманула. Обещала коммунизм при жизни — надула. Они поверили в одно, в другое, в третье (в оттепель, например), а потом «выпали из повозки... да так и остались»: вне.

За фасадом не оказалось реальности. Пустота. Сомкнуты — названия, этикетки, вывески. Досталась им — знакопись: сцепление знаков, за которыми реальность надо угадывать. Реальные связи оказываются совершенно не такими, как обозначено. Реальных связей вообще может не быть. Будут — слова. Кадрики. Узоры. Жизнь — «такое кино...» Жизнь — калейдоскоп: встряхнул — другой узор. За обязательными фигурами недавно реабилитированных русских философов странным образом мелькает фигура... Лейбница, и смысл присутствия этого серьезного немца в российской комнате смеха объясняется скорее всего словечком монадология, а это уж прямо соотносится с ощущением тихого содома, хаоса, который шевелится под словесной сеткой. Достаточно любого «вербального» толчка (или даже отсутствия ожидаемого толчка), чтобы ощущение хаоса возникло; достаточно, чтобы городскую интеллигентку и ее соседку по коммуналке, деревенскую бабу, звали одинаково (эту — Нина Николаевна, а ту — просто Николавна), и дьявольский контраст между ними становится предметом рассказа. Игра имен, слов, названий. «Полина! Полянька моя!» — то, что в стихе экстаз, в прозе — эксперимент, прием, обманное движение. «Не то Аверинцев, не то Аристотель». Перечни без основания. «Днепрогэс и Риббентроп, Освенцим и Осоавиахим». Не ищите смысла, весь смысл тут — во внутренней расстыкованности того, что состыковано в словах и созвучиях.

Собственно, нет ни одной вещи, предмета или существа, которое не было бы уже «захватано», названо или использовано. Поэтому мы имеем дело с символами, бирками. Со следами «второй реальности». Есть только отражения отражений. Зеркала.

Отсюда непрерывное бликование чужих узнаваемых цитат в тексте. От классики до анекдота. Простейший случай: «Земную жизнь пройдя до середины, Денисов задумался...» Предельный случай: «Вашингтон он покинул, ушел воевать, чтоб землю в Гренаде американцам отдать». Из классической твердыни, от которой можно, ухмыляясь, отталкиваться, цитата превращается в ветхую тряпку, которую можно выворачивать и вытряхивать, демонстрируя ветхость.

В сущности, постижение мира есть игра с чужими высказываниями. От иронического подвирания до идиотического подстраивания. Венец подстраивания к хаосу — выворотная логика, обратный эффект, размен значений, невозможность различить, где кто! Простейший случай — равновесие: «На чаше весов белый и черный ангелы... То один ангел выше, то другой». Предельный случай — совмещение: «И ангел забьется на гребне греха». Запредельный случай: «Сын с улыбкою дочерней». Все всмятку. «Блат узорный до бровей».

Жизнь — балансирование «на кончике языка». Извлечение грамматических корней. Филологические обмороки. Бред современного интеллектуала, прогрессиста и т. д., который, простите, «трахнув» по пьянке современную же прогрессистку, обретает себя с ней не столько в постели, сколько в сфере, где аукаются символы, и Бердяев откликается на манер Тараса Бульбы: «Слышу!...». Впрочем, Розанов тоже близко; Розанова нужно выковырять из черного списка, из черной мозаики нашего идеологического пантеона и, принеся в клюве домой, перелицевать с черного на белое — не обретется ли искомая целостность?

При первой же попытке обнаружить реальность в этой камере отражений вы обнаруживаете «сюрреальность» — дьявольскую смесь элементов, демонстрирующую отсутствие целого. С комическим эффектом (который А. Лаврин в «Литературной газете» называет так: «это плач, но плач особый,

¹ Зеркала. Альманах. Вып. I. М., 1989

смеховой). Простейший случай: «Авангард Краснознаменский любил ходить в клстчатой рубашке навыпуск, на ногах сандалии». Предельный случай: «И Петр, естественно, решил загнать Америку соседу, пришел сына, но поспешил грозить в Афганистане шведу». Медный Всадник в составе ограниченного контингента.

Что еще следует из этой общей установки — так это непрерывное чувство приема. Приковать, заморозить, поразить. Охашь от строчки. Любуешься фразой. На лихой инерции вылетаешь к концу блистательного абзаца. Соображаешь, за чем следить дальше. Дальше — опять «строчка». Дернулся калейдоскоп — созерцаешь очередной узор. Реальности нет — следить не за чем. Тебе предлагают очередной раз убедиться в отсутствии оной. Спасибо, ужé.

А. Лаврин, составитель, оценивает свою работу так: «Впервые за последние лет пятьдесят по-настоящему высоко поднята эстетическая планка». Он прав. До неба далеко. От земли оттолкнулись. Планка. 2—52! Аплодисменты.

Вообще-то я не любитель аплодисментов. По мне лучше в этой ситуации окончательно обнажить прием и напрямую заниматься извлечением смыслов из символов. Например, из «березы» или из «медведя» русской сказки. Там мистика белизны — тут мистика бурости. Там застенчивость и гордость осанки — тут хтоническое зарывание в землю. Духовность — растительного, женского; материальность — животного, мужского. «Русская загадка». Я думаю, что это — самое реальное, что есть в «Зеркала». Кратчайший выход к духовной реальности. И притом в полном соответствии с правилами игры: все извлечено только из слов. И притом с поразительным чутьем на ключевые мифологемы поколения, на котором был поставлен крест:

— мифологема: склад — место, где все расчислено и распрделено, где царит воображаемый порядок: порядок титулов, названий и этикеток, номенклатурная логика;

— мифологема: очередь — внешний ранжир, где при полном бездействии стоящих происходит изумительное приближение к цели;

— мифологема: тоска — «русская хандра», интуитивное ощущение пустоты, тшеты, бездны таящейся под сцеплением ранжиров и складированием символов.

Это — поразительно точно учяные оси, на которых всртыся и мелькают зеркала «обманутого» и «ожившего» поколения. На пересечении этих осей — их реальность. Не совсем такая, какой она является в «зеркала» их замыслов. Но именно такая, в какой эти зеркала появляются сами — как факт их жизни.

Вычисляя эту реальность, надо все время помнить, что она возникает не по логике, а вопреки логике. Или по логике профанированной. «обратной». Простейший вариант (этюдный, со следами бабочки Брэдбери): в войну контролер ОТК на авиазаводе приударил за штамповщицей, но был схвачен женой, он напился и пропустил партию некондиционных взрывателей, советская авиация недобомбила «венскую группировку» противника, американцы продвинулись дальше, чем планировалось, поэтому в Австрии сейчас капитализм. Более серьезный вариант: в судьбе человека все складывается «удачно наоборот»: отстреливался — попал в плен (бежавшие не попали); после плена попал в лагерь — сделал карьеру и т. д. Нельзя ничего ни предвидеть, ни рассчитать в этом химерическом, живущем по «наоборотной» логике мире. Можно только влиться, раствориться, исчезнуть.

Здесь мы подходим к главному (а может, и единственному), смоделированному и обдуманному в «Зеркала» типу социального поведения. Простейший вариант: инженер, сплюснутый в очередях, следуя советам, исхитряется достать какую-нибудь элементарность, вроде новогодней елочки, — бездна изобретательности! А под этим мечта: стухе-ваться, исчезнуть, дожидаться, наконец, того, что отомрут потребности...

Предельный вариант: сплюснутый в очередях «инженер» дополз до дому и, угнездившись на диване, начинает в мыслях исправлять мироздание, он повелевает мирами и даже (мысленно) испепеляет какую-нибудь раздражающую его на карте своими очертаниями Австралию. Запредельный случай: вписаться в общий идиотизм, растворить себя в нем:

Вот придет водопроводчик
И испортит унитаз
Газовщик испортит газ
Электричество — электрик
Запалит пожар пожарник
Подлость делает курьер

Но придет миллионер
Скажет им: не баловаться!

Равнодействующая всех этих вариантов: хорошо бы жить без водопровода, без газа, без электричества, чтоб все это, наконец, стало не нужно! Не пить, не курить, не есть. И никаких страстишек: марок там, значков и женщин. Голубая мечта: отказ от потребностей...

Теперь вспомните, что реальность реконструируется в альманахе по зеркальной логике.

Что получаем мы в качестве «реальной» альтернативы ирреальному (издевательскому, конечно) отказу от потребностей? Реальность потребления? Боюсь, что так.

Это тайна того художественного мира, который создается в альманахе. Тайна потому, что она скрыта как бы и от самих авторов. Они-то хотели бы противопоставить раздробленному и дурацкому миру мир духовный, нравственно-целостный. Брезжит нечто иное. Не давали есть — надо, наконец, наесться; не давали свободы — теперь разгуляемся; не давали любить — так теперь, наконец...

Нет, не целостность восстанавливается из оборачивания отражений, изначально нереальных. Пустота продолжает сквозить в пазах и дырах. Можно демонстративно спутать Освенцим с Осоевиахимом и совместить Аверинцева с Аристотелем, можно вывернуть наизнанку все розановские цитаты — главное-то останется по-старому: переполаскивание помоев в пустоте.

Я не столько реконструирую тело по тени и не столько ловлю героев на слове: «мы в меру полные, в меру вонючие» (читать-то надо наоборот), — сколько восстанавливаю общую мироконцепцию, общую мелодию всех их контрапунктов. Если хотите, я воспроизвожу «коллективного героя».

Нет, не «дух» веет над разрывами. А возникает фигура человека, который продолжает кричать в телефонную трубку, зная, что провода оборваны. Смотрится в зеркало и дивится: его «нет», а отражение «есть».

Да, он страдает по-настоящему. И он ненавидит свое страдание, ненавидит мир, который заставляет его страдать. Я не рискую призывать его любить страдание: он пошлет меня к черту, он скажет, что и Горький не любил страдание и даже надеялся избавить от него людей. Не жду и смирения: это теперь химера; смирение наше паче гордыни, это или военная хитрость, или все уверены, что это военная хитрость; это или юродство, истерика с подглядыванием, или — если без подглядывания — нервный срыв: не даете мне всего — тогда не надо ничего!

Я зываю лишь к некоторой доле разума: понять, что безумие мира, обрушивающееся на человека, рождается в самом человеке.

Это не отменяет ни в коей мере того факта, что литераторы, чьи произведения составили альманах «Зеркала», сами по себе, по отдельности люди весьма разумные. И умелые. И, само собой, талантливые: ни одной бездарной строчки в альманахе нет (что неудивительно: «мы, русские, народ по преимуществу талантливый...» и т. д.). Но речь о некотором коллективном безумии, моделируемом как художественный ответ невменяемой реальности.

Теперь я все-таки назову имена. Имена славные, многие из которых интересны, милы, а иные даже близки мне. Булгаков (Николай), Гандлевский, Губанов, Дилуров. Оба Ерофеевы (Венедикт и Виктор), Знаменская и Комаровский, Коркия и Кутик, Лаврин, Левитин и Наумов, Парщиков и Петров, Поволоцкая и Попов (Евгений), Дмитрий Александрович Пригов (так и поименован в оглавлении), Пьедух, Салимон, Соловьев (Сергей), Толстая (Татьяна), Эпштейн, Ярбусова. Читательское им спасибо, а теперь несколько слов в заключение.

Если дважды два не четыре, то сколько это будет теперь: пять, двадцать пять или двести пятьдесят два, — уже не так существенно. Если вы передразниваете дьявола и доводите его логику до абсурда, то дьявол именно этого и ждет, а пережегоять его в бессмыслице все равно не удастся.

Попробуйте все-таки сказать: дважды два — четыре. И ждите, что будет дальше. Дальше возможно всякое. Две тысячи лет назад за такие дерзости распинали. Сейчас вряд ли. Но что-то все-таки произойдет. «Безумная» реальность как-то отреагирует. Я думаю, что получится нечто отнюдь сюрреалистическое. И получится «само», так что не надо будет ничего устраивать специально ни с планками, ни с зеркалами.

Это — не нравоучение авторам, боже упаси. Это вообще не «авторам», а читателям. И больше всего — самому себе.

Анна ПУГАЧ
В ГОСТЯХ
у «КОНТИНЕНТА»



Фото Леонида Шимановича

«Париж-89», «Диалог-89» — так назывались проходившие в этом году в Париже встречи международной общественности, посвященные 200-летию Великой французской революции. Комитет молодежных организаций СССР, Союз обществ дружбы с зарубежными странами стали организаторами этих встреч с советской стороны, и хотя некоторые участники «круглых столов» напоминали «свадебных генералов» времен застоя, разговор состоялся. Важным открытием для французов стало то, что мы все разные: журналисты и дипломаты, работавшие во Франции в семидесятые годы, и совсем юные неформалы, запомнившиеся многим участникам своими напряженно-вдумчивыми выступлениями; различный подход к проблемам, к их решениям, споры и разногласия внутри делегации (чего раньше не было). Для нас, сотрудников «Юности», эти встречи стали и возможностью продолжить свой, начатый задолго до сегодняшней моды диалог с литературной эмиграцией, с теми, кто, некогда будучи отторгнутым Родиной, сейчас с надеждой и верой всматривается в нас — пусть не новых, но уже других...

Правда, в том, что мы иные, долго пришлось убеждать писателя третьей волны эмиграции, главного редактора журнала «Континент» Владимира Емельяновича Максимова. Пришлось, потому что в возможность диалога, а тем более публикации в Союзе он не верил, да и особой приязни к советскому журналисту не выразил.

Первый мой телефонный разговор из Парижа в Брюссель, где иногда работает писатель, был обескураживающе безнадежен:

— Нам с вами не о чем говорить. Мы стоим на разных позициях. И никаких интервью я давать не собираюсь.

— Почему?

— Потому что прежде всего мы должны обсудить критерии, как жить в обществе не по лжи, — этого я пока не вижу. Нельзя быть вытолкнутым из литературы с парадного входа и приходить с черного. Если жить не по лжи, то нельзя. Должно быть официальное решение о нашей реабилитации...

Единственным утешением в этом невыигрышном для меня разговоре было наблюдение Льва Аннинского в рецензии на книгу Максимова «Мы обживаем землю»¹: «Максимов — это жесткий, почти иступленный исследователь мятушей души... Его герои сходятся на случайных перепутьях, тоскливо смотрят в глаза друг другу: «Эх, не вышло разговора!» Жажда разговора, того самого. «русского спора», где все до дна, — вот их главная жажда».

— Владимир Емельянович, и все же давайте попробуем выйти на разговор открытый, пусть дискомфортный, но отражающий ваши взгляды и позицию.

— Так ведь это вас не устроит. Я неудоваримый. Вы сначала узнайте все обо мне, узнайте, что про меня пишут в ваших перестроечных изданиях, а потом подумайте...

Вернувшись в Москву, я отправилась в библиографический кабинет Центрального Дома литераторов, где находится самая полная писательская картотека. В основном фонде фамилии Максимова не нашлись. «Еще не пришло его время», — заметила одна из работниц, извлекая из спецхрана уже знакомый мне деревянный ящичек с надписью «Эмигранты», некогда предназначенный к уничтожению, но чьей-то доброй волей сохраненный.

Всего полгода назад он был достаточно тяжел и прочно укомплектован персональными карточками В. Некрасова, В. Войновича, А. Синявского, В. Аксенова, А. Гладилина, Л. Копелева. Теперь пусто. Осталась только одна стопка картонок — журнальные, газетные, художественные публикации В. Максимова с припиской в конце перечня: «Зарубежом с 1973 года».

Мы слышали о Максимове много. И то, что яркий антикоммунист, и не приемлющий нашу действительность публицист, и редактор одного из самых антикоммунистических изданий на Западе — журнала «Континент», и непредсказуемо резкий комментатор радио «Свобода»... И почти ничего о том, что на Западе он считается одним из значительных писателей русского зарубежья, продолжате-

¹ Одна из последних рецензий на книгу Максимова 1971 года, после чего его книги были изъяты из библиотек.

лем реалистических традиций отечественной литературы XIX века...

В. Е. Максимов 1932 года рождения, г. Ленинград, драматург, поэт, очеркист, переводчик.

Из автобиографии: «В 12 лет лишился родителей, воспитывался в детдоме, затем в Шекснинской детской трудовой колонии, что в Вологодской области. Оттуда был направлен в ФЗО в г. Москву. Учился по специальности каменщика. Работал на стройках Москвы, Тулы, Красноярска, рабочим Меймиченской экспедиции на Таймыре, директором клуба речников в г. Изгарка. Плавал судовым матросом на Енисее. С 1952 года — на Кубани, работал трактористом, журналистом районной газеты «Знамя», корреспондентом краевого радио. Первый сборник стихов «Поколение на часах» вышел в 1956 году. Затем опыты в прозе».

9 декабря 1963 года. Из постановления секретариата Союза писателей РСФСР. О приеме в члены СП товарища Максимова В. Е.

«Беспартийный. Образование начальное. Автор повести «Жив человек»¹, маленькой повести «Мы обживаем землю», а также автор переводов поэзии с киргизского. Рекомендовали секция прозы и члены СП СССР — А. Борицаговский, М. Лисянский, Р. Рождественский.

Рецензировали — член приемной комиссии В. Шкловский. С. Макашин: «На мой взгляд, проза Максимова очень самобытная, сильная проза».

В. Шкловский: «Его вещи несколько грубы и суровы, как сурова и груба жизненная правда. Это самобытная проза».

А. Борицаговский: «Максимов выделяется зрелостью, силой и, я бы сказал, определенностью таланта... Он из тех молодых писателей, чья принадлежность литературе (профессиональная и душевная) вне всякого сомнения, его надо звать в Союз, чтобы его талант развивался в добром товарищеском кругу, в совместной нашей работе».

Принят единогласно при тайном голосовании.

В отличие от многих начинающих Максимов прочно и решительно занял свое место в литературе. Доброжелательные отклики, как справа, так и слева, сопутствовали его творческому восхождению.

На ноябрьском пленуме 1963 года Максимова отмечает главный идеолог страны Л. Ильичев, критик А. Бочаров выделяет рассказы Максимова, как «утверждающие общечеловеческие нравственные нормы жизни». Статья В. Кочетова о творчестве Максимова и других молодых авторов «Октября» называется «Время больших надежд»...

И вдруг среди документов личного дела, хранящегося в СП СССР, нахожу следующее: «20 мая 1968 года.

Слушали: О членах СП СССР Максимова В. Е., Копелева Л. З., Аксенова В. П., Балтере Б. И., Войновича В. Н., Чуковской Л. К., Ахмадулиной Б. А., Искандере Ф. А. и других, подписавших коллективное заявление в защиту осужденных за антисоветскую деятельность Гинзбурга, Галанскова, Добровольского.

Секретариат правления Московского отделения СП РСФСР считает, что подобные действия со стороны ряда членов Союза писателей находятся не только в резком противоречии с Уставом Союза писателей, но и нетерпимы в условиях нашего творческого союза».

Следует также отметить, что в свое время секретариат правления дал надлежащую политическую оценку этим заявлениям и разослал свои постановления всем членам СП СССР, поставившим свои подписи под этими заявлениями. Однако ни один из подписавших (за исключением Ю. Пилыра и О. Михайлова) не счел нужным пересмотреть свое отношение к этому вопросу.

На основании вышеизложенного секретариат Союза писателей РСФСР счел необходимым наложить дисциплинарные взыскания на всех членов СП, связавших себя с делом Гинзбурга, Галанскова, Добровольского путем подписания заявления в их защиту.

Постановили: За политическую безответственность, выразившуюся в подписании заявлений и писем в различные адреса, по своей форме и содержанию дискредитирующих правопорядок и авторитет советских судебных органов, а также за игнорирование фактов использования этих документов буржуазной пропагандой в целях, враждебных Советскому Союзу и советской литературе, строго предупредить члена СП тов. Максимова».

И последняя страничка, подколотая к делу пять лет спустя:

«17 сентября 1973 г. Слушали: Решение Московской писательской организации об исключении из членов Союза писателей СССР тов. Максимова В. Е. (Сообщение В. Ильина.) Постановили: утвердить постановление секретариата правления Московской писательской организации: за политические взгляды Максимова В. Е. и его творчество, несовместимые с Уставом Союза писателей СССР и званием советского писателя, исключить Максимова В. Е. из членов СП СССР».

— Вот так я уезжал. На скандале. Вернее, публичный скандал разразился позже. Сначала все было мирно. Я сдал рукопись романа «Семь дней творения» в издательство «Советский писатель» (у меня с ними был заключен договор). Роман о старом большевике, который к концу жизни переосмысливает свою судьбу. Для меня это была возможность рассказать об истории государства, рассказать о том тупике, к которому мы пришли.

С этого начался наш разговор в Париже, спустя месяц.

— Владимир Емельянович, получается, что много лет назад вы сказали то, о чем сейчас все пишут?

— Конечно, я не вижу в романе ничего особенного по сравнению с тем, о чем сейчас говорится. Но тогда, когда я представил рукопись, мне очень дружелюбно редактор сказал: «Этого напечатать нельзя». Не было у нас никакого конфликта, мало того, мне даже, насколько я сейчас помню, выплатили шестьдесят процентов аванса. Поскольку я договор выполнил и рукопись сдал. Потом, в частных разговорах, рецензенты из издательства говорили, что им очень понравились, но печатать сейчас нельзя, это непроходимо. Вот и все. А конфликт возник, когда рукопись попала «самиздатом» на Запад (причем я ее не передавал), издательство «Посев» довольно быстро ее опубликовало.

— Простите, перебыл вас, но у читателя может возникнуть недоуменный вопрос: разве без вашего согласия западное издательство могло опубликовать книгу?

— Нет. Согласие я дал, когда меня спросили, этого я не отрицаю.

— А как потом развивались события? Вы сделали какие-то ультимативные заявления в Союз писателей, в издательство?

— Что вы, я себя вел тихо, спокойно. Ну, идет и идет. Хотя я знал, что мне за это что-то грозит... надо жить в контексте времени, атмосферы, которая тогда царила в обществе, чтобы понять, как это было. Я решил себя обезопасить в том смысле, что сдал рукопись в редакцию и специально, открыто давал читать ее многим знакомым (некоторые этого не понимали, знаю, разговоры были: «Максимов дает такую рукопись читать — это, наверное, какая-то провокация»), а я хотел, чтобы как можно больше круг писателей и людей, имеющих отношение к литературе, читал, чтобы дело было не подпольным, а абсолютно открытым. И я предложил обсудить роман на секции прозы. Вместо обсуждения они просто осуждение устроили. Минут сорок, не более, все это длилось. Собрались наши прозаики, наиболее порядочные не пришли, а пришли какие-то малоизвестные люди, председательствовал Александр Михайлович Борицаговский, сам когда-то пострадавший во времена космополитизма... Вот что меня убивает: люди, прошедшие через все это, затем тоже становятся гонителями. Ведь если бы на мне все это замкнулось, но, нет, многие поучаствовали и в разгроме «Метрополя», а теперь не хотят об этом вспоминать. Вот что у меня вызывает скептицизм к процессу, который сейчас происходит в культуре. Почему его осуществляют люди, которые еще вчера занимались гонениями против своих товарищей, против своих собственных коллег... И сегодня не хотят об этом сказать.

— Владимир Емельянович, а почему вы не допускаете, что выступавшие на обсуждении были искренними и по идейным ли, социальным ли, художественным ли причинам роман им не понравился?

— Позвольте, все правильно, но почему об этом надо говорить на секретариате Союза писателей? Тогда любой из тех, кто участвовал в обсуждении, предположим, Пастернака или Дудинцева, может сказать то же самое. Мне, например, понравился роман Пастернака не понравился, я считал, что это плохая проза, и уже здесь, перечитывая роман, я вдруг почувствовал его волшебство, и роман мне кажется теперь великим, а тогда я считал: ну, плохой роман. Но я же не выступал с этим...

¹ «Тарусские странички», 1961 год.

— Вы сказали, что надо знать контекст времени, в котором живешь, по этой логике после публикации романа на Западе должны были произойти осложнения в вашей дальнейшей творческой судьбе. Примеры тому уже были. Вы намеренно шли на разрыв с системой или отъезд был неожиданным?..

— Честно скажу, и это может подтвердить Виктор Николаевич Ильин, бывший оргсекретарь московского отделения Союза писателей, перед тем как готовилось мое исключение из СП (я об этом уже знал), я пришел к нему, у нас была беседа. И я тогда проявил... слабость только потому, что хотел остаться. Я сказал: «Виктор Николаевич, я готов отказаться от публикации на Западе (но без официальных заявлений), дайте мне только возможность жить, то есть дайте мне какую-нибудь работу, переводческую или другую (я с подстрочников и раньше переводил, писал какие-то диалоги на Одесской киностудии), потому что, когда меня исключат, я не буду иметь работы. А если у меня будет, ну, элементарно, кусок хлеба и крыша над головой (я же сразу попадал в разряд тунеядцев), то я готов не печататься...» Он мне ответил: «Ты ставишь условия Советской власти? На колени, а потом мы подумаем!» А когда меня выбросили из Союза писателей, то я уже оказался перед выбором. Для меня отъезд не был вызовом, я уезжал от безнадежности.

— Выезжали вы, по-моему, как и многие, с советским паспортом?

— Выезжал я весьма банально, как и было принято в то время: мне был выдан заграничный паспорт на один год, но обе стороны понимали, что это значит. Вскоре в результате своей общественной и редакторской деятельности на Западе я был лишен советского гражданства.

— Как все же необычна судьба третьей эмиграции. Первые уезжали сами, вторые оставались после фашистского иллена, а третья волна «интеллектуальной эмиграции» просто сажалась в самолет и отправлялась за пределы страны, правда, не все с конвоирами.

— Мой приезд на Запад почти совпал с высылкой Солженицына. И все внимание, которое было направлено на него, частично коснулось и меня. Я был вынужден занять позицию политического деятеля, хотя до этого жил только литературой. Последняя общественная должность — староста класса.

— По-моему, диссидентская слава была создана вам еще в Союзе, после «Семи дней творения».

— Это тоже сказалось. Меня пригласил Шпрингер и предложил издавать журнал. Я советовался с Солженицыным. Тогда мы нуждались в трибуне, да и многие писатели в эмиграции остались без средств к существованию. Я пытался как-то объединить всех. Так что была совокупность причин. Название журналу, между прочим, придумал Солженицын — «Континент». Журнал объединил представителей всех эмиграций и оппозиции из Восточной Европы.

Для справки: «Континент» — крупный русскоязычный общественно-политический и религиозный журнал в Европе. Издается в Мюнхене с 1974 года. Тираж — от трех до четырех тысяч. Периодичность — 4 раза в год. Поддерживается интеллигенцией Европы и Америки. В составе редколлегии: Василий Аксенов, Ален Бессансон, Иосиф Бродский, Милован Джилас, Эжен Ионеско, Наум Коржавин, Эрнст Неизвестный, Андрей Сахаров и др.

— Владимир Емельянович, известно, что на Западе все эти годы вы активно занимаетесь политикой. Сами себя вы считаете политиком или литератором?

— Я вырос в политизированной среде. Моя семья — рабочие, железнодорожники, вышедшие из крестьян, но очень политизированные. Я интересовался политикой, но никогда не чувствовал в себе никаких политических амбиций... Здесь же положение обязывает. Если у вас журнал... Журнал сам по себе — явление прежде всего политическое. Например, вы обязаны выступать, когда вас приглашают. Вы можете начать о Рильке, о Кафке, вы можете говорить о самых тончайших вещах. Вас все равно переведут на политические рельсы. Потому что Россия — это болезненный центр современного мира. Мало того. Вам приходится полемизировать со своими оппонентами, значит, это все равно уже политическая позиция. И я в это был просто втянут, а прежде всего я писатель.

— Но, очевидно, ваша политическая позиция отвлекает общественное внимание от литературных работ. Хотя знаю, что роман «Семь дней творения» был отмечен несколькими литературными премиями и переведен на многие языки мира.

— Мне кажется, моя журналистская, политическая деятельность не мешала литературной. Я написал три романа, несколько пьес, несколько повестей, книгу публицистики, но литературная моя судьба была бы плодотворней в России, потому что здесь теряешь языковую атмосферу (прозаик ведь живет только в языке). Язык — постоянно складывающийся организм. Он быстро устаревает, видоизменяется. Надо жить у себя в стране и в социальном контексте это чувствовать. В этом смысле я потерял много.

— «Континент» всегда выступал с непримиримых позиций относительно нашей системы, негативным было отношение и к внутренним переменам. И вдруг в последних номерах журнала стало заметно некоторое потепление. Напечатано издательство Солженицына с пожеланием ему скорого возвращения к советскому читателю, обращение к писательскому комитету «Апрель»...

— Вы знаете, за все эти годы я не сказал ничего сверх того, о чем говорится сейчас с официальными позицией. Я не ожидал того, что сейчас происходит, не ожидал, что наша эмиграция станет живой и в физическом, и в моральном смысле. Недавно в Кельне в Политической академии проходила международная конференция «Советский Союз сегодня». Мы пригласили советских писателей Н. Эйхельмана, А. Стреляного, А. Ваксберга, и меня порадовало то, что они оказались такими, какими я их знал и раньше. Мы подписали общее заявление. И что удивительно: обострили формулировки не мы, а советские гости. Это меня настраивает на оптимистический лад¹.

— Несколько недель назад, когда мы говорили по телефону, вы выразили сомнение в искренности происходящих демократических преобразований. Эту мысль можно найти и в редактируемом вами журнале, цитирую: «Критика советского общества едва ли не самая разрешенная тема советского нечисти...» «...Масштаб и направление предлагаемых ими реформ ограничены по крайней мере одним существенным пределом: за рамками их реформаторских попользований остается вся партийно-номенклатурная сердцевина режима, который они ремонтируют» — это из первых номеров 1989 года. У нас за это время уже создан новый парламент и ушли в отставку многие скомпрометировавшие себя функционеры.

— Я считал, что процесс должен был начаться не волшебным порядком. Кроме того, еще не выработаны гарантии необратимости демократических процессов. Этому может способствовать легализованная позиция других, альтернативных движений. Кстати, это обеспечило бы стабильность и самой партии, потому что перед лицом оппозиции партия консолидируется. Оппозиция может быть обоюдной.

— Последние события в Армении, Азербайджане не заставили вас пересмотреть свою позицию?

— То, что происходит сейчас там, — не альтернативное движение, а просто эмоционально-националистическая анархия. В этом случае даже в самом демократическом государстве власть показывает свою силу. Попробуйте закрыть железные дороги в Америке по политическим мотивам.

— События в стране развиваются настолько молниеносно, что, по-моему, обгоняют все прогнозы и выстроенные теории. Только что мы говорили о движении сверху, а сейчас?

— Да, взаимный процесс уже начался, что тоже заставляет нас пересмотреть свою концепцию. Забастовка шахтеров... Ну, скажите, кто этого ожидал? В России... российский рабочий класс без всякого опыта забастовочного движения, казалось бы, с очень низким уровнем правосознания — и вдруг проявляет такую политическую зрелость. Если бастующие советские шахтеры все-таки выдавали минимум угля для того, чтобы не остановились основные отрасли промышленности, то это говорит о высочайшей ответственности рабочей массы в целом. Я был просто поражен. На Западе, уверяю вас, ни грамма угля бастующие шахтеры не выдали бы, трава не расти, остановилась вся промышленность. Оказывается, народ-то у нас готов к демократии.

— Да, только в отличие от Запада мы не прошли через два века демократических свобод. У нас пока, мне кажется, все стихийно.

— Стихийно, но посмотрите, какие удивительные органи-

¹ Отчет об этой встрече опубликован в «Литературной газете» 5 июля 1989 года. В подписанном итоговом документе говорится: «Надо легализовать деятельность всех независимых движений, отвергающих любое насилие», «необходимо полностью реабилитировать все жертвы насилия и беззакония 1917—1989 гг.».

зационные способности проявлены... Вот если оба процесса сверху и снизу будут идти навстречу друг другу, тогда можно будет взорвать эту трясину в середине, которая сопротивляется изменениям.

— Долгое время эмигрантская пресса — газета «Русская мысль», «Новое русское слово», ваш журнал — воспринимала новое партийное руководство страны как очередную хитрость Советов. В статье Алена Безансона в «Континенте» читаем: «За рубежом Горбачев пытается придать новый образ своей стране, чтобы соблазнить Европу, пока не удастся ее покорить, и соблазнить Америку, пока не удастся изолировать ее от друзей-союзников, от Европы. Сейчас у нас фаза обольщения, предшествующая фазе запугивания».

— Я печатаю всех: и союзников, и противников. Это возможность завязать диалог, я считаю, что журнал не антология. Главное — качество, уровень... Сам я не в оппозиции к Горбачеву. Знаю хорошо структуру власти своего государства. Я знаю, что первый секретарь всегда был персонификацией аппарата, он ограничен целым рядом обязательств. Но то, что сейчас происходит в мире, доказывает, что Горбачев все-таки влияет на процесс. Чего я лично раньше не предполагал, зная структуру власти. Будучи кровно заинтересован в том, что происходит со страной, откуда я родом и частью которой себя считаю, я вынужден считаться с реальностью. А реальность такова, что те перемены, которые происходят у вас, связаны с его именем. Это диктует нам и мне лично изменение отношения к тому, что делает и говорит Горбачев. Но аппарат, его среднее звено еще очень сильны и опасны своим пассивным сопротивлением. И они могут направить процесс в другую сторону. Меня несколько настораживает и так называемая национальная проблема.

— Было бы интересно услышать ваши суждения о национальных делах, поскольку бытует точка зрения, что новая русская эмиграция далеко не едина и раскол произошел по линии социальной — национализм и демократия.

— Если смотреть правде в глаза, то, что сейчас в стране называют национальным движением, на мой взгляд, очень и очень смахивает на шовинистическое. Если интеллигенция Грузии, к которой я всегда относился с высочайшим почтением, выступает против независимости Абхазии, против возвращения своих собственных соотечественников на родину (я имею в виду месхов), то, согласитесь, это никакого отношения к национализму не имеет. Я не понимаю, откуда такое неприятие друг друга. Или Латвия все-таки часть западного мира, где уровень политического правосознания более высок, чем в других районах страны... Но как можно относиться к одному из пунктов их экологической программы, который гласит об очищении Латвии от иноязычных элементов? Это в экологической-то программе! Я в этом вижу уже признаки не только шовинизма... Свобода или демократия должны быть для всех уважаемы, поэтому я не понимаю, чем эти движения отличаются от «Памяти», которую я, разумеется, категорически не принимаю.

— Солженицын на Западе считается знаменем русского национализма, вас также причисляют к этому движению, объявляют неославянофилом. Наши журналы правого направления ссылаются на вас, числят в своих союзниках...

— Ох, вы знаете, меня всегда числили и в тех, и в других рядах, потому что я не принимаю целиком ни того, ни другого.

— И все же на вашем рабочем столе я вижу свежие издания «Московских новостей», «Огонька», «Советской культуры» — значит, выбор вы все же делаете и отдаете предпочтение определенным органам печати?

— Я привык по-крестьянски относиться ко всему индивидуально: к явлениям, к человеку, по качеству нужно судить прежде всего, по качеству литературы, и какую бы позицию ни занимал журнал «Молодая гвардия», для меня это прежде всего плохой журнал. Анатолий Иванов прежде всего плохой писатель. К «Нашему современнику» я тоже потерял интерес, потому что по качеству это очень слабо. Но если в тех же журналах будет печататься действительно хорошая литература, то для меня их идеологическая основа будет иметь вторичное значение. Поймите, и среди тех, и среди этих у меня есть очень близкие, очень честные люди. Они могут заблуждаться — кто влево, кто вправо, но это очень хорошие писатели, и к каждому из них нужно подходить индивидуально. А то получается, какие-то свои группы создали. Одни свои, и другие свои, и вот друг против друга. Это меня не устраивает, и я в этом не участвую.

— Позвольте с вами не согласиться — идеологическая направленность журнала, его позиция определяются как раз теми произведениями, которые там печатаются. Будь это проза, стихи — все равно все складывается в определенную платформу. Вы же сами редактор?

— Правильно, но я даю всем высказаться. На семьдесят процентов материалов я мог бы выбросить в корзину. Я могу многое не принимать, но для меня должен быть уровень разговора. Когда вы полемизируете с «Памятью», мне это кажется смешным. Они не заслуживают даже разговора. Я посмотрел видеоленту о митинге «Памяти» в Ленинграде — это ведь неандертальский уровень сознания, такое косноязычие футбольных болельщиков. Я готов полемизировать, но не с ними, а с Беловым, с Распутиным, с Астафьевым, с людьми, которые, уверяю вас, искренне так думают. Попытайтесь их переубедить, а не эту уличную свору. Сейчас принято «наш — не наш», но среди не наших тоже ведь надобно различать — Астафьев, Белов, Распутин — это крупные величины, и с ними нужно полемизировать, нужно учить, что эти писатели вышли из деревень. Они видели, как живет наша деревня, как вымирает наша деревня, — и я это знаю. И они очень болезненно относятся к этому процессу, очень эмоционально реагируют на то, что во всем пытаются обвинить только русских. Поучаствовали все, а виноваты только русские. Нет, господа! Давайте возьмем каждый свою долю вины...

— Я знаю, что в «Континенте» печатался Александр Янов... Сейчас у нас в прессе развернулась бурная дискуссия по поводу объявленной журналом «Октябрь» публикации этого автора. А Янова упрекнут в русофобии, а «Октябрь» — в недопустимости подобных выступлений. Как вы считаете, проблема русофобии существует?

— А как же? Существует, и не пятьдесят, не семьдесят лет, а значительно больше. Это ведь еще от Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Отворачиваться от этой проблемы, делать вид, что ее нет, нельзя. Любая крайность рождает свою противоположность. Есть А. Янов, и есть И. Шафаревич (печатают, по-моему, того и другого) — два полюса одного и того же явления. Я печатал Янова, но сильно его сократив, чего обычно не делаю. Русофобия, конечно, существует. Здесь, на Западе, выходят книги, под которыми подписался бы и Розенберг: «нация нищих», «чем быстрее они исчезнут, тем лучше» и т. д. Так что проблема есть...

— Владимир Емельянович, первым нейтральным умином о вас в советской периодике спустя десятилетие была ваша подпись под «обращением десяти», напечатанным в газете «Московские новости». Письмо называлось «Пусть Горбачев предоставит нам доказательства» и было довольно странно, поскольку только что у нас в стране начались обнадешивающие перемены, а вы объявили о создании «Интернационала сопротивления» — чему? — требовали гарантий в вопросах, которые сами собой решались при образовании нового гражданского общества. По-моему, и среди эмиграции многие не разделяли вашу изоляцию?

— Этот текст был написан по-английски, для западного читателя. Опубликован в «Фигаро», там же (не мы) придумали и название. Я только предложил сделать такую вставку, что если процессы, начатые в Советском Союзе, действительно серьезны, то лучшим доказательством этому будет публикация нашего письма в советской печати. Нам хотелось, чтобы разговор, начатый на Западе, продолжился и на Востоке. И я очень рад был тому, что эта затея осуществилась. Мне, правда, совершенно непонятен тон, которым со мной говорил в послесловии главный редактор «Московских новостей». Кто за социализм, кто — против, а, простите, кто судья? Я считаю, что подобные выступления работают на демонизацию, на компроматацию моей личности. Я изображен неким перманентно пьяным, что-то бормочущим монархистом. Ну, согласитесь, уж говорить-то я умею, если мне надо что-то сказать, то как-нибудь не бормотать, а сформулировать я смогу. Так что нужно учиться разговаривать со своим противником. А «Интернационал сопротивления» уже не существует, просто отпала необходимость в нем.

— С какого романа вам хотелось бы начать знакомство советского читателя со своим творчеством?

— Мне очень дорог «Ковчег для изгнанных» и роман о Колчаке — «Заглянуть в бездну». О Колчаке близко потому, что я писал о самом себе. Это когда с возрастом ты вдруг приходишь к такому внутреннему одиночеству, не внешнему, а внутреннему... Но как насчет публикации в Со-

ветском Союзе, я не знаю, потому что все эти годы как для тех, так и для других я был неприемлемым...

— Вы знаете, мы так стремительно духовно возрождаемся, что еще вчера невозможное сегодня становится реальностью. Вот второй номер «Континента» за этот год, интервью с Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем: «Г. В. С этой гласностью и перестройкой идет, как мне кажется, какая-то игра. Ведь можно одним махом решить всю двусмысленность: напечатать «Архипелаг ГУЛАГ» и солженицынское письмо «Жить не по лжи»..., напечатать Максимова...» Как видите, год не закончился, а наш читатель с произведениями Солженицына уже знаком.

— И все-таки я уже говорил, что несколько скептически отношусь к процессам, происходящим в культуре, и объясню почему. Меня смущает, что люди, участвовавшие вчера в порабощении своей страны, в гонениях против своих товарищей, получавшие сталинские и другие награды, преуспевающие во времена застоя, сегодня — перестройщики. И ведь не хотят в этом признаться. Мне очень близка точка зрения Лихачева — все виноваты... Вина разная — у одного маленькая, потому что молчал, у другого — чуть побольше, третий — палач, но в целом — все виновны! Ведь Сталин — это мы с вами. Он был адекватен психологии общества. И я против того, чтобы искать виновных, я за то, чтобы каждый человек взял свою долю вины на себя.

— Рискну вызвать неудовольствие, но вам часто принимают стихи о партии, о Сталине, о комсомольских стройках, участие в редколлегии кочетовского «Октября».

— А в чем дело? Я вообще не понимаю, о чем речь... У меня есть роман биографический «Прощание из ниоткуда», так там в десять раз больше рассказано, чем обо мне пишут. Кстати, такие же стихи напечатали тогда Твардовский и Яшин, целый ряд очень хороших поэтов. Что же мне-то, мальчишке, в 22 года думать... Я уже не говорю о том, что у Мандельштама и Ахматовой тоже были подобные стихи. А из редколлегии «Октября» я сам вышел через 8 месяцев, когда увидел, что не могу никак повлиять хотя бы на прозу. А вот кто из них это сделал?

Я против того, чтобы люди выдавали себя сегодня за страдающих величины. Это похоже на мародерство. Вот минное поле очистили саперы, одни погибли, другие попали в госпиталь, и на очищенное минное поле вступает команда, на всякий случай берут раненых из госпиталей: вместе мы, вместе. Нет, вы вступили на разминированное другими поле, и за него очень дорого уплачено. Жизнями. Константин Богатырев, Алексей Марченко, генерал Григоренко, писатель такого огромного масштаба, как Шаламов, — они заплатили жизнью. Я считаю, что и я уплатил судьбой. Для меня эмиграция — не рай, для меня это огромное потрясение. И я потерял, а не приобрел. Я социально, может быть, живу хорошо, но внутренне я живу очень плохо... А у вас здесь теперь все вместе. Рыбаков с Шаламовым, Дудинцев с Платоновым, все в одном ряду. И тут я говорю — это слишком. Одно — великая литература, другое — текущая.

— Известно, что время все расставит по своим местам. В 30-е годы Булгаков был вне ряда, а Платонов почти не упоминался. А сейчас ряд-то отвалил...

— Знаете, когда ты приходишь к концу, тебя мало утешит мысль — зато потом. Умирая, зная, что ни строки не напечатано из того лучшего, что ты сделал, это трагедия из трагедий для писателя. Скажите мне сейчас, человеку, крайне сомневающемуся в том, что я делаю: «Ну, старик, зато потом...» Да не нужно мне «зато».

— И все же мы живем в реалиях времени — и мне интереснее и ближе иуть, который проделали Рыбаков, Борщаговский, Шатров, Дудинцев, чем та эволюция, которую проделал Бондарев. И слава богу, что есть шестидесятники, которые сегодня тянут перестройку и пытаются что-то сделать, нас расшевелить...

— Вот она, разница наша с вами. В том, что я ни с теми, ни с другими не хочу быть. Вот в чем дело. Мне омерзительны люди, которые, ничего не признав, говорят о нравственности и морали. Это настолько душно...

— Владимир Емельянович, вы со многими рассорились на Западе, многих не приняли...

— С кем это я рассорился? Я фельетонов ни на кого не писал... Сорятся со мной. Если у вас там стенка на стенку, то мы ведь тоже являемся сколком с того, что там. Мне уже кто-то из Москвы говорил, и я ответил: «Ну зато вы там, на Аэропортовской, как утром выйдете из подъезда, так друг друга и целуете». Потом у редактора всегда есть враги...

Меня обвиняют, что я рассорился с Некрасовым... Я очень любил его, когда он умер, я сам пришел в церковь на отпевание — и оказалось-то, что прощального слова сказать некому. Я говорил по просьбе родственников... Так бывает, у кого много друзей. Трудно быть всегда хорошим парнем.

А друзей у меня значительно больше, чем у кого бы то ни было в эмиграции. Все со мной. Художники, мои ближайшие друзья Ростроповичи, я в нормальных отношениях с Солженицыным, в прекрасных с Сахаровым. Посмотрите, кто в редколлегии «Континента» — пять нобелевских лауреатов. Я всегда говорил: «Нам любви этих людей вполне хватит». Сейчас, когда у «Континента» возникли финансовые трудности, кто поддержал журнал? Эжен Ионеско, Милован Джилас, Иосиф Бродский. Андрей Сахаров, который, кстати, сейчас никаких эмигрантских писем не подписывает.

— Разве «Континент» испытывает какие-то трудности? Ведь ваш тираж раза в полтора больше других русских эмигрантских изданий?

— Финансовые трудности есть. Издание русскоязычной литературы на Западе всегда дело убыточное. Раньше А. Шпрингер помогал, а теперь наследники посчитали, что это дорогое удовольствие.

— Публикация в Союзе многих запрещенных ранее авторов может как-то отразиться на «Континенте»? Не станем ли мы для вас конкурентами?

— Думаю, сейчас «Континент» должен искать новый подход, мы не выдерживаем соревнования с советскими журналами. Нам нужна новая форма, выработка новой концепции. В том виде, в котором журнал существовал как трибуна для противостояния действующей системе, он себя исчерпал. Эпоха кончилась, и с окончанием эпохи журнал, в той форме, в которой он был, себя изжил. Я вижу, как в стране зарождаются клеточки гражданского общества. Вот объяснить эти силы, открыть двери для всех желающих выступить — в этом, наверное, и будет наша задача. Мы готовим сейчас шестьдесят третий номер, состоящий из произведений общественного комитета «Апрель». Предполагаем опубликовать их оригинальные вещи. Для себя я открыл молодого литератора из Ленинграда — Звягина, замечательный прозаик. Он не может напечататься в Союзе — не хватает места в журналах. Таким талантливым молодым людям мы будем помогать, давать трибуну.

— Какие интересные писательские имена открыл «Континент» за последнее время?

— Мы первыми напечатали главы из «Жизни и судьбы» Гроссмана, но если говорить о прозе, выше всего я ставлю публикацию отрывков из нового романа Георгия Владимова «Генерал и его армия». Если это будет до конца на таком же уровне, то мы будем иметь дело с явлением в нашей литературе. Могу назвать целый ряд талантливых имен: Юрий Милославский, Юрий Гальперин, Саша Соколов. Все перспективные писатели, но мне еще не ясно, во что это выльется, их развитие не завершено. Ну и у вас сейчас много молодых, талантливых ребят...

— Наше время давно истекло, поэтому последний вопрос: какие надежды в душе вы все же оставляете?

— А я все написал еще в 1973 году, когда меня исключали из СП СССР, вот у меня на столе ксерокс письма в секретариат Московского отделения Союза писателей. «...Я прекрасно сознаю, что меня ждет после исключения из Союза, но в конце пути меня согревает уверенность, что на необъятных просторах страны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и ночников сидят мальчишки, идущие следом за нами. Сидят и, наморщив софокловские лбы, пишут. Пишут! Может быть, им еще не дано будет изменить скорбный лик действительности (да литература и не задается подобной целью), но единственное, в чем я не сомневаюсь, они не позволят похоронить свое государство втихомолку, сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех мастей и оттенков.

Со всей ответственностью — В. Максимов.
15 мая 1973 года».

Отправленное пятнадцать лет назад, и это письмо готовило рождение того гражданского общества, которое сегодня прозревает и избавляется от многих своих пороков — и в первую очередь от гонения на мысль. Время монологов кончается, мы идем к диалогу!

Париж — Москва,
октябрь 1989.



Владимир
БОЛЬШАКОВ

Катехизис

(После концерта Айвза)

Мечта моя!
Жива ли ты?
И где ты?
Я торопился так.
Не встретился с тобой.
Я вспоминаю Айвза
и гобой.
Вопросов пять.
Ответов —
лишь четыре.
— Ты есть? — я спрашивал.
Ты отвечала: — Да!
— А ты была?
— Всегда, — ты отвечала.
— Ты будешь?
— Бесконечно, —
был ответ.
— Со мной?
Да, если гороскопам верить...
— А как тебя зовут?
Но флейта замолчала,
И ты ушла, неслышно хлопнув дверью.

Соловьиные гнезда

Свили гнезда соловьи
из мелодий полуночных
да из пуха и травы...

«Удивительно непрочно
строят гнезда соловьи!» —
утверждали две вороны,
галка,
сыч
и три совы...

ИЗ ЦИКЛА «ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ»

1. Первое свидание

Было просто мгновение — дуновение Вечности —
ты сказала по-русски: «Мы с тобою повенчаны...»

Было трудно поверить
и принять откровение...

По-французски грассируя,
голубиная стая
мост Иены над Сеной перелетала.

Кружевное железо.
Галогенные свечи.
Триста метров невеста
и рост человеческий.

От греха бы подальше!
К Полю Марсову, в темь...
Что ты делаешь, Башня?
Отвечала:

«Je t'aime»¹.

2. Исповедь эмигранта

Будит песня чужая.

И я просыпаюсь...

Все на месте —

ЮНЕСКО

и Башня косяя...

Все на месте...

Клошар²

на решетке метро,

а в окне — попугай.

Недопитый пинар³

кто-то в небо сливает...

Лиловатый рассвет да опухшие тучи.

Говорили и мы: «Где нас нет,
там, наверное, лучше!»

Зябко... Волглый туман.

И деревья нагие,

словно руки, дрожат.

На столе — ностальгия.

На столе — ностальгия —

слеза по России.

«Мы клянемся! Вериемся!»

Не мы — так другие мессии!»

Ностальгия берет,

не берет —

забирает...

Мрут мессии.

Россия же не умирает.

Постижение Истины —

это то же похмелье.

Чистый лист. Рюмка «чистой» —

цикл еженедельный.

А у Башни туристочка в блузке

из России,

девчоночка такая простая,

тихо шепчет по-русски:

«Красота! Красота-то какая!»

3. Дождь

Я ждал, что ты придешь,

а ждать

пришлось четыре дня.

Не знал,

что хлынул дождь

опять

и что ты принялась вязать

четыре платья

или пять

из нового дождя.

г. Париж.

1986—1987 гг.

¹ «Je t'aime» (франц.). — Я тебя люблю.

² Клошар — бродяга.

³ Пинар — дешевое красное вино.

Жизнь под угрозой

Иван КУНИЦЫН,
Алексей НИКОЛАЕВ

ОДЕССЕЯ

Всесоюзная независимая комплексная экологическая экспедиция «Юности» завершила свою работу в Одесской области. В этом регионе ее участниками были:

Василий ВАСИЛЬКОВСКИЙ — председатель Одесского областного комитета по охране природы;

Валерий ГОРБАТКО — директор Одесского припортового завода;

Алла КИЛЬДЫШОВА — заведующая отделом профилактики и социальной гигиены Одесской областной санэпидстанции;

Всенолод МАРЬЯН — редактор отдела науки журнала «Юность», руководитель экспедиции;

Альфред ЦЫКАЛО — председатель совета ученых и специалистов Одесского экологического клуба, доктор химических наук, профессор.

Что же произошло? Отчего раньше можно было купаться на одесских пляжах, а теперь значительную часть курортного сезона запрещено или по крайней мере нежелательно? Как случилось, что в так называемой зоне водопользования, простирающейся от берега на 3,9 километра (по новым правилам), море находится в катастрофическом состоянии? Ведь с тех пор, как одесситы всерьез обеспокоились судьбой своих пляжей, проведено немало мероприятий по снижению загрязнений хотя бы в этой самой зоне, но море почему-то никак «не хочет» очищаться и даже, напротив, становится все более и более грязным. Морская вода у берега токсична, цветет, ее загрязнение по так называемому бактериальному показателю иногда превышает допустимые нормы более чем в сто раз, что и вынуждает санэпидстанцию закрывать пляжи, вывешивая таблички, запрещающие купаться. Создавшееся в зоне водопользования положение приводит к сезонному росту заболеваемости населения и гостей города острыми кишечными инфекциями.

Минеральные удобрения, попадая в море, вызывают интенсивный рост водорослей, особенно красных. Отмирая, они выделяют токсичные вещества, обрекая на гибель моллюсков и снижая таким образом самоочищающую способность моря, а также создавая опасность аллергических и грибковых поражений кожи. Не купайтесь в местах, где плещет «красная волна»!

И если прежде, лет 10—15 тому назад, время от времени люди могли купаться у берега в довольно чистых волнах, — сейчас вода загрязнена постоянно. А почему? Вопрос серьезный. Поэтому мы обратились с ним к компетентному человеку — заведующей отделом профилактики и социальной гигиены Одесской областной СЭС Алле Кильдышовой, которая оказалась к тому же, впрочем, как и все одесситы, человеком душевным и на редкость коммуникабельным. Она выложила все накопившееся у нее на сердце за двадцать лет работы в органах санитарного надзора. В Одессе, кстати, это очень деятельная организация, смело «воюющая» с гигантским спрутом, нмйа которому — ведомственная политика. «Природолюбивые» щупальца ни много ни мало 58 министерств переплетаются в Одесской области. Главными хо-

зясами, пожалуй, чувствуют себя здесь Минэнерго и Минморфлот.

О печальной, пока безысходной участи Черного моря поведала Алла Николаевна Кильдышова: «Произошло неоправданное, по крайней мере в ближайшем будущем. Море не выдержало насилия и потеряло в прибрежной полосе свою самоочищающую способность. Оно стало какое-то слабое».

Вместе с неумеренным сбросом бытовых и промышленных стоков к этому привела непродуманная политика берегоукрепления. Все, что у нас на берегу делалось, — это был большой эксперимент. Что тут только не испробовано! И намыв территорий, и волноломы, и траверсы — и что угодно. Взять хотя бы намыв территорий. Вроде бы хорошо — образуется уютный песчаный пляж. Но при этом полностью меняются водные обитатели. Бычки живут среди скал — мы засыпаем их гнездовья. Губим моллюсков, а ведь это естественные химические заводки по переработке грязи. Таким образом намывные пляжи становятся мертвыми, очень быстро накапливающими загрязнение...

Мы совершенно не думаем, как разгрузить курортную зону Одессы. Ведь в обе стороны от нашего города — прекрасное побережье, но мы его не осваиваем. Там нет ни канализации, ни питания, ни обслуживания — ничего. Эти районы побережья подвергаются варварскому нашествию «дикарей», особенно на машинах. Вот уж истинные дикари, от которых природе нет никакой пощады.

Море болеет. Оно задыхается без свежей воды. В его бассейне все водоемы превращены чуть ли не в сточные канавы. Ему срочно необходимо отдохнуть от нашего насилия.

До семидесятых годов у нас в Одессе над этим никто не задумывался. И только после эпидемии холеры — небольшой эпидемии, но все-таки холеры — население обеспокоилось тем, что все наши канализационные воды прямым ходом, без всякой очистки выпускаются в море — как разрядышком с пляжами.

В середине 70-х, когда загрязнение пляжей сточными водами уже было доведено до абсурда, городские власти наконец осознали необходимость что-то предпринять в этом отношении — дальше тянуть с очисткой стоков было просто невозможно.

Построили станцию механической очистки — самую примитивную, но уже что-то — и так называемый выпуск в море, вынесенный на 1200 метров. Через него-то вся наша полуочищенная «грязь» до сих пор и сливается. Однако не рассеивается, а прибавляется к берегу...

В Одессе только еще разрабатывается генеральная схема ливневой канализации. А что такое наша нынешняя ливневка, вы знаете? Это вот что такое. Желоб обыкновенной канализации и желоб ливневой проложены рядом (так что при сильном напоре их содержимое обязательно перемешивается), но если стоки первой, после того как пройдут через весь город, направляются ныне на механические очистные, то стоки второй до сих пор поступают прямо в море без всякой очистки. Как пошел ливень, все это перемешалось — и на пляжи. А при особо обильных и продолжительных дождях затопливает целые районы, в том числе знаменитую нашу Пересыпь. В прошлом году ее залило так, что тракторами вытаскивали затонувшие в результате «канализационного наводнения» машины, погибло несколько человек. Кроме того, многие предприятия никак не откажутся от порочной практики незаконных подключений к ливневке...

Добились мы строительства «Южной» станции биоочистки (относительно, конечно, не идеальной, но гораздо более совершенной, чем механическая) с глубоководным выпуском в море за 2800 метров. Вскоре она вступит в строй, приняв весь сток южной части города. Проектировщики предполагают: сбросы в этом случае не будут возвращаться к берегу, как сейчас. Однако практика показывает, что канализационные воды, будучи пресными, сразу не размешиваются с морской водой, а всплывают, образуя большое пятно, плавающее на поверхности, пока бризом не прибьет его к берегу. А так как самоочищающая способность моря упала, вся эта «грязь» не успевает естественным образом ликвидироваться до поступления новой порции. В итоге имеем перманентно «грязные» пляжи, на которых чуть ли не весь курортный сезон купаться опасно.

Со сбросом северной части города почти та же история. Строится станция биоочистки «Северная», очень недостаточной мощности (что в будущем означает перегруз ее, а следовательно, снижение качества очистки), тоже с глубоководным выпуском — и куда? В бухту!..

Ситуация, как видите, беспросветная. Идеально было бы вообще не сбрасывать в море бытовые и производственные, пусть даже «очищенные», стоки, а после так называемой глубокой доочистки использовать их в промышленности. Но...

В своих экологических мероприятиях мы еще не выработали системный, комплексный подход. Мы не идем от общего к частному, поскольку не имеем надлежащего представления об этом общем, его взаимосвязях и «подводных камнях». Стремясь поскорей (что уже само по себе смешно, если учесть темпы нашего строительства) да подешевле преодолеть сиюминутные трудности, закрываем глаза на их отдаленные последствия, уже сейчас требующие кардинально иного решения проблем. По существу, наугад, причем в силу вбитой в нас иждивенческой уверенности в завтрашнем дне особенно не напрягаясь, пытаемся определить дорогу, ведущую к спасению окружающей среды и, значит, к нашему выживанию.

Точка зрения председателя Одесского областного комитета по охране природы Василия Васильковского на проблемы Черного моря является, на наш взгляд, логическим продолжением последних слов Аллы Кильдышовой.

Васильковский: «Настала пора создать в Одессе единый комплексный научный центр по всестороннему изучению экологических и социально-экономических реалий области, а также неблагоприятной ситуации, создавшейся на всем Черном море в целом, а не только на отдельных его участках».

Мы бьем тревогу: Черное море погибает! А что делать для его спасения, не знаем, ибо нет серьезных научных проработок именно его проблем, взятых в комплексе, а не так, как ныне: одни ученые изучают влияние промышленного загрязнения на моллюсков, другие — состояние морского дна, третьи занимаются экологией отдельных территорий области, но нет обобщающего анализа всего этого. Нет фундаментальных разработок, на основании которых можно было бы сформировать стратегический взгляд на дальнейшее развитие региона.

Скажем, мы уже поняли, что переориентация области в курорт всеозначного значения, чего хотим достичь мы, и дальнейшее наращивание ее производственных мощностей, чего жаждут союзные министерства, несовместимы в принципе. Но при этом мы здесь не имеем четкой программы действий в выбранном направлении, даже не знаем, насколько далеки от желанной цели и в какой степени зависимы от индустрии, от которой хотели бы избавиться в будущем. Нам не известно, как далеко это будущее. Каков должен быть первый шаг к нему, попросту — какие предприятия закрывать, какие перепрофилировать или модернизировать, что строить в первую очередь, что во вторую и что в последнюю? Пока развитие региона осуществляется фактически стихийно.

Я вносил предложение о создании подобного центра и в Госкомприроду СССР, и в Академию наук Украины. Там вроде бы все «за», но...

Калейдоскоп гордиевых узлов

Еще Александр Сергеевич Пушкин подметил два серьезных недостатка этого во всем остальном безупречного города. А именно: что в Одессе, во-первых, грязновато, а во-вторых, «нет воды». Время, однако, внесло и сюда свои коррективы. Нынче грязь в Одессе несколько иного рода, нежели была при Пушкине. Александр Сергеевич имел дело с очень даже чистой грязью, если позволительно так выразиться. Она лежала себе или текла по мостовым, пусть не совсем эстетично, на взгляд дворянина и поэта, но совершенно безвредно для живого организма. Теперь в Одессе грязь не та. Что, впрочем, касается и воды, о которой так прямо не скажем, как мог позволить себе Пушкин, что ее, мол, нет, однако же дефицит в ней сохранился, пожалуй, на том же уровне, что и полтора века назад, а вот качество ее стало просто отвратительным. Поэтому многие одесситы, со свойственной им брезгливостью ко всему противоположному, стараются ни в коем случае не пить ее и не использовать для приготовления пищи. А где же берут воду для столь насущных нужд? Да кто где. Одни из артезианских скважин (если есть машина), другие при помощи самогонного аппарата получают дистиллированную, иные ящиками закупают «минералку» и успешно приготавливают на ней изумительный борщ по-одесски.

Заметим, за полтора века одесситы настолько свыклись

с недостатком и плохим качеством питьевой воды, что перестали замечать и то, и другое. Что всегда было только на руку городским властям, которые, видя такое дело, особой энергии к решению проблемы обеспечения жителей водой никогда не прикладывали. И наконец запустили до недопустимой степени.

Мощность одесского водопровода, причем «дырявого», и близко не соответствует потребностям города, а очистные не в состоянии «переварить» днестровскую воду. А ведь чего только нет в Днестре, несущем в себе половина на половину своей собственной воды и отработанных стоков. Выше тысячи чужеродных веществ и соединений попадает в Днестр, откуда он «достигает» Одесской области. Высокое бактериальное его загрязнение приобрело постоянный характер. Из-за несовершенства и маломощности водопроводной системы обеззараживания санэпидслужба санкционирует добавку хлора в пищевую воду, в 3—4 раза превышающую норму, что вроде бы должно исключать возможность эпидемий, но вместе с тем способствует устойчивой тенденции к росту числа желудочно-кишечных онкологических заболеваний. А шестикратный недостаток фтора в днестровской воде привел к поражению карием зубов 80 процентов одесситов (данные областной СЭС). Однако же установки для фторирования питьевой воды в Одессе до сих пор отсутствуют.

Ежегодно растет число аварий на горводопроводе, что вносит свою лепту в ухудшение качества воды по бактериальному показателю. Со всеми вытекающими последствиями. Пример. В одном из районов Одессы была неожиданная вспышка брюшного тифа. Эпидемиологи сразу определили причину — питьевая вода. И действительно, когда раскопали водопроводные коммуникации, обнаружили, что труб нет вообще — соржавели напрочь.

И удивительное дело: никого, кроме СЭС, столь жуткая ситуация особо не волнует. Даже одесская общественность, которую уж никак не назовешь пассивной, в чем читатель еще убедится, относится к ней довольно-таки либерально.

Дошло до того, что санэпидстанция вынуждена не согласовывать даже строительство жилья, добиваясь своевременного ввода в строй водопроводных объектов. И в самом деле: какое жите без воды?

А что же местные власти? Они бы рады сделать все возможное, да мощностей строительных нет. Однако стоит Минморфлоту или Минэнерго затеять новое строительство в области — мощности откуда ни возьмись появляются.

Но как ни худо в Одессе с водой, а с воздухом и того не лучше. Его ведь не достанешь из артезианской скважины, не получишь при помощи самогонного аппарата, не купишь в магазине, как «минералку»...

Если вы и не были никогда в Одессе, то, наверное, все-таки можете себе представить, какая летом на Дерибасовской толкотня. Всем ведь приезжим хочется «пофланировать» по ней туда-обратно, а их миллион на одну Дерибасовскую. А теперь вообразите себе центральную часть города Одессы, через каждые пятьдесят метров вдоль и поперек пересекаемую узкими улочками. Светофоры, светофоры, светофоры. Так вот, скажем разве что с небольшим преувеличением, уж поверьте на слово: плотность автотранспорта в одесском центре приближается к плотности гуляющих на Дерибасовской. Ибо ни транспортных развязок, ни объездных и сквозных магистралей в Одессе нет. К тому же она «вытянута» вдоль моря. И вся лавина автомобилей, работающих на этилированном бензине, устремляется из южной части города через центральную на север и далее — по одной-единственной трассе между морем и Куяльницким лиманом в сторону Херсона и Николаева. И наоборот. В результате загрязнение воздуха, например, по бензопирену, сверхтоксичному веществу, способствующему возникновению раковых заболеваний, превышает предельно допустимую концентрацию до 9 раз.

В Одессе более двухсот предприятий, иные из них старше нашего века. Они образуют несколько мощных промузлов, расположенных непосредственно в жилой застройке и замыкающих на себя интенсивные пассажиро- и грузопотоки. До 40 процентов предприятий даже не имеют санитарно-защитных зон, то есть люди живут буквально под их заборами. Можно представить, чем дышат одесситы.

Два порта, грузовой и пассажирский, военная гавань, нефтегавань... Вот тебе и курорт.

Новым генпланом развития Одессы предусмотрен вынос к 2005 году за городскую черту 22 предприятий, а из жилой застройки — ста двух. В оптимизме его составителям не

откажешь. Цифры явно нереальные, завышенные в несколько раз. Спрашивается: по недомыслию ли они преувеличены или же с умыслом — отчитаться перед партией и народом, вот-де какие мы молодцы, взяли повышенные обязательства к 2005 году решить свои экологические проблемы. Ну, а не выполним, так до 2005 года сколько воды-то утечет...

Легко сказать: вынесем 22 предприятия за пределы города и 102 — из жилой застройки. Но поди вынеси хотя бы одно.

Кильдышова: «Мы попытались закрыть картонажное производство рублирного завода. Это не производство, а какой-то допотопный кошмар. Туда свозят всю макулатуру, там крысы, грязь и, простите, вонь. Просто жуть! Притом убыточное производство. А рядом детский сад. И вот когда мы вынесли постановление о закрытии, кстати, даже получив на это согласие администрации завода, — трудовой коллектив этого предприятия вышел чуть ли не со стягами: мы хотим тут работать, будете закрывать — костями ляжем, не дадим...»

Все так запутано, переплетено в этом мире, особенно в наш век, что подчас, пытаясь разобраться в иной ситуации, ухватишься за «торчащий» конец, потянешь, стремясь скорее раскрутить клубок хитросплетений, а он только еще больше запутается. Осердясь на собственное бессилие, в сердцах потянешь сильнее — и завяжется вообще гордиев узел.

И куда ни глянешь, везде у нас экологические проблемы позакручивались в такие тугие и смертоносные узлы.

Кто хоть примерно сможет подсчитать, сколько у нас накопилось болезней, запущенных до такой степени, что без хирургического вмешательства их уже не одолеть? А тут еще новая проблема: как ликвидировать экологически вредное и притом убыточное предприятие, если его рабочие категорически против? У всех у них семьи, всем хочется доработать до пенсии, многие, наконец, кроме той работы, какую выполняли всю жизнь и именно на этом производстве, больше почти ни на что не способны. И не хотят — в силу привычки, а то и любви к старой, пусть даже «грязной» работе — быть способными еще на какую-либо. Не желают перепрофилироваться. Очевидно, однако, что выйти из подобного кризиса так, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы, не получится.

Гордиевых узлов в Одессе завязалось к настоящему моменту предостаточно. О некоторых из них мы уже упомянули, скажем и еще о нескольких, особо закрученных.

Среди городов-миллионников только этот испытывает столь чудовищный дефицит в теплоснабжении. Он прогрессирует и к началу следующего века грозит достигнуть 50 процентов. Зимой «недотоп» в одесских квартирах составляет в среднем 10—12 градусов. Вот вам и «юга».

Дабы именно «разрубить» проблему, в 25 километрах от города начали строить атомную станцию и уже освоили добрых полторы сотни миллионов, как вдруг — Чернобыль. Одесская общественность одной из первых в Союзе извлекла из этой трагедии уроки, сказав атомщикам решительное «НЕТ!» — и те отступились. Вскоре возникла идея возвести на той же площадке, порядком сэкономив и в деньгах, и в сроках, ТЭЦ на газе и таким образом в какой-то степени улучшить ситуацию с тепло- и энергоснабжением города. Идея, сама собою напрашивавшаяся, так как реализация ее требовала от ведомств наименьших затрат, усилий. Но были и другие альтернативы. А потому окрепшая в борьбе с АЭС одесская демократия не допустила скоропалительного превращения нового плана в жизнь, без открытой дискуссии. Последняя, однако, затянулась на год, и власти взяли на себя смелость по своему усмотрению разрубить этот гордиев узел. Не дождавсь на то согласия населения, приняли все-таки решение строить теплоэлектроцентраль. От имени общественности с осуждением келейного акта властей выступил на страницах «Вечерней Одессы» Борис Деревянко, редактор этой газеты, народный депутат СССР: «Какие альтернативные варианты рассматривались облисполкомом? Каково истинное положение в теплоэнергетическом хозяйстве нашего региона? Есть ли подтвержденные экспертизой серьезные расчеты, что ТЭЦ-2 согреет Одессу? Прошу рассматривать эти вопросы как публичный депутатский запрос. Ответ, безусловно, будет опубликован».

По-видимому, мораль описанной ситуации такова: уж если решать проблему, касающуюся буквально каждого одессита, так всем городским миром. Чтоб потом опять не махать

кулаками после драки, от чего никак не отучимся. И одесситов не обошел сей порок. Поводом для нашего последнего замечания послужил весьма распространенный в Одессе взгляд на причины появления в 78-м году в нескольких десятках километров от города, но в курортной зоне, что недопустимо, так называемого припортового завода — по производству и перегрузке (на экспорт) аммиака и карбамида. Суть живучей молвы такова, что известный американский бизнесмен А. Хаммер навязал нам, доверчивым-де и неопытным в делах, и чуть ли не построил за свои кровные это опасное предприятие, а теперь покупает его продукцию, производство которой в Америке якобы запрещено. Говорят даже. Хаммер где-то сказал: «Я отнял у русских кусок биосферы», — во что верится с трудом, ибо он поставил для Одесского припортового завода (ОПЗ) только комплекс хранения и перегрузки аммиака и суперфосфорной кислоты, то есть сравнительно небольшую часть оборудования, остальное привезено главным образом из европейских стран.

Действительно, ОПЗ «посадили» не там, где следовало бы, но при чем тут Хаммер! Ведь принимали решение и строили мы. Тем не менее горячие головы из одесских «зеленых» грозятся устроить капиталисту «хорошую обструкцию», если он еще хоть раз приедет в Одессу.

Вокруг ОПЗ кипят страсти: «Дамоклов меч!», «Пороховая бочка!», «Бомба замедленного действия!», «Памятник тупости!», «Закрывать!», «Перепрофилировать!». Такие слова адресуются предприятию и в устной форме, и со страниц местной прессы. Хотя еще года три назад произносились исключительно дифирамбы «уникальному заводу-порту».

Но давайте дадим высказаться и директору ОПЗ Валерию Горбатко. Руководители промышленных предприятий, особенно крупных, — люди, как правило, высокопрофессиональные, досконально знающие свое дело и умеющие трезво оценить общее положение вещей в экономике (значит, и экологии) региона, отрасли, страны в целом. Они практики. К их мнению надо прислушиваться. Правда, высказывая его, отнюдь не все они и вовсе не всегда бывают искренни. О Валерии Николаевиче, однако, этого не скажешь.

Горбатко: «Поскольку у нас на заводе хранятся большие количества аммиака, то возможен его опасный выброс в случае разрушения хранилищ при каких-либо особых обстоятельствах, как-то: диверсия, стихийное бедствие, военные действия. Нельзя смеивать два понятия — потенциальная опасность производства и опасность его в текущей эксплуатации. У меня складывается такое впечатление, что в сознании яростных противников ОПЗ эти понятия слились воедино. Иногда приходится слышать, что аммиак у нас чуть ли не растекается непрерывно во все стороны, уничтожая природу. Между тем за одиннадцать лет эксплуатации на нашем предприятии не было ни одной серьезной аварии».

(При взгляде со стороны ОПЗ трудно сравнивать, например, с химическими «душегубками» Сибири и Урала, окутанными ядовитыми облаками выбросов. Над припортовым лишь несколько маленьких белесых струек дыма. На вид он как игрушка.)

Горбатко: «Аммиак производится во всех развитых государствах, в том числе и в США. Существует, однако, точка зрения, что в Америке аммиачное производство запрещено и потому якобы американцы размещают его в странах третьего мира, а также покупают аммиак у нас. Не знаю, откуда берется такая информация: в США выпускается этого продукта почти столько же, сколько и в Советском Союзе, чуть меньше».

Что же касается требований общественности закрыть или перепрофилировать завод на том основании, что он расположен в курортной зоне, думаю, в той ситуации, в какой мы находимся (наше предприятие, кстати, дает стране 70 миллионов рублей чистой прибыли ежегодно, много в валюте), уж коль завод построили, целесообразно было бы просто не наращивать его мощности. Но закрывать, даже не сделав сравнительного анализа экологической опасности ОПЗ с опасностью других предприятий области, вряд ли будет разумно. Перепрофилировать же его невозможно».

Зато возможно другое. Правда, теоретически.

Кильдышова: «По мере того как оборудование будет амортизироваться (оно же не вечно), уменьшать на него нагрузки, и постепенно предприятие перешагнет порог рентабельности, станет убыточным...»

Увы, в нашем обычае другое: в погоне за планом нагружать производственные мощности до предела, не учитывая при этом их износ и тем самым повышая аварийность.

Как видим, в лице припортового завода представлен еще

один гордиев узел Одессы. Причем весьма типичный, характерный для страны в целом. Ибо сколько у нас в государстве промышленных объектов, либо уже, либо потенциально экологически опасных? Тысячи. Разумеется, все не закроешь. Поэтому представляется верной точка зрения, которой придерживаются и Горбатко, и Васильковский, и Кильдышова, — в каждом регионе после комплексного изучения его социально-экономических и экологических проблем прежде всего должны быть определены приоритеты: какие производства наиболее опасны и нуждаются в природоохранных мерах в первую очередь, а какие во вторую и так далее. И в каких именно мерах, исходя из наших реальных возможностей, а не только желаний. Но... Опять «но»!

На это можно возразить: так-то оно так, да только некогда уже определять приоритеты, надо немедленно спасать природу и самих себя вместе с ней. Вот, пожалуй, наш главный экологический гордиев узел. Его не разубишь — нужно распутывать. Всем миром.

Добро через худо?

Хотя Николаю Михайловичу Ольшанскому, главе недавно упраздненного Минудобрений СССР, было прекрасно известно, что 200 тысяч одесситов подписались против размещения на Одессине еще одного химического комбината (по производству фосфорных удобрений), и несмотря на то, что Николай Михайлович со своими замами неоднократно бывали в Одессе и могли убедиться, с какой грозной силой имеют дело, — они продолжали стоять на своем: строить химзавод.

Читателю, конечно, не надо объяснять, для чего может существовать Министерство по производству минеральных удобрений. Для того, чтобы их производить. Если оно этого делать не будет, — пропадут оправдание и смысл его существования. Опять же в мире еще есть ориентиры для упомянутого министерства: скажем, в Японии на гектар вносятся в 4—5 раз больше удобрений, чем у нас. Вот он — маяк! Тем более что практически доказано: применение химикатов для поднятия продуктивности сельского хозяйства все же необходимо. Например, западногерманские ученые считают, что без этого нельзя получить более 50 центнеров зерна с гектара, между тем как «потолок» — 130 центнеров. С помощью азота можно увеличить содержание белка в пшенице, фосфор и калий повышают содержание крахмала в картофе и сахара в свекле... Споры идут вокруг другого: сколько вносить удобрений и как. В каждой развитой стране к этому свой подход. Своеобразный подход и у нас. В частности у одесских агрономов. Чтобы их нижеописанные действия не вызвали у читателя чрезмерного недоумения, поясним, что только 14 процентов получаемых Одесской областью сухих минеральных удобрений могут быть размещены под какой-либо крышей: хранилищ катастрофически не хватает. Под открытым же небом хранить химикаты строго запрещается — за это народный контроль с агронома три зарплаты сдерет. Что ему делать? Нечего, кроме как шепнуть на ухо доверенному бригадире: «Тут привезли нам селитру, а до вегетации растений еще полгода. Сам понимаешь, до того времени деть ее некуда. Тащи-ка, Сидорыч, эти мешки в дальнюю посадку и там того, замаскируй. А еще лучше припахай, чтоб «экология» с воздуха не засекала...» Таким вот образом продукция Минудобрений, по существу, оказывалась бросовой. По мнению некоторых одесских аграрников, химикаты, завозимые не ко времени, на все 100 процентов приносят земле только вред, а те, что сохраняются до использования, дают эффект не более чем на 10 процентов. И тем не менее данное министерство, вместо того чтобы навести надлежащий порядок в сфере применения удобрений, шло по экстенсивному пути — наращивало их производство, к тому же ежегодно закупая за рубежом пестициды на полмиллиарда инвалютных рублей! Да на эти деньги всю страну можно обеспечить хранилищами ядохимикатов, и не на год, а на десятилетия.

Мы почти не занимаемся поиском высокоурожайных сортов, устойчивых к болезням и вредителям. В США такие сорта составляют 80 процентов зерновых, у нас — не более 15.

С 1970 до 1985 года внесение минеральных удобрений на гектар пашни увеличили в 2,4 раза, а урожайность — только на 3,8 процента. Применяем орошение, органику, а все без толку.

Фермеры США и Канады до 42 процентов биомассы урожая оставляют на полях для воспроизводства плодородия

почв: перегнивая, солома возвращает земле значительную часть «потерянных» ею азота, фосфора, калия, что снижает потребность хозяйств в химикатах. Мы же используем солому в качестве корма для скота.

Мы не имеем современных технологий для эффективного использования удобрений, у нас не разрабатываются научно обоснованные программы химизации каждого конкретного поля и т. д. и т. п. Куда нам при этом гнаться за Японией в производстве гербицидов и пестицидов, зачем?

Ученые-аграрии всего цивилизованного мира заняты в последнее время поиском путей, альтернативных химизации. Но Министерство по производству минеральных удобрений искало смысл своего существования совсем в другой стороне, судя по тому, с какой настойчивостью оно добивалось наращивания мощностей отрасли. Шли в ход испытанные силовые методы. Однако времена уже не те, поэтому методы эти применяются не столь откровенно, как раньше. Добиваясь своего, представители Минудобрений подчас даже выражали сочувствие населению, пониманию его озабоченности.

Кильдышова: «Министерство пишет нам дивные письма. Да, мол, мы разделяем вашу тревогу, но строить комбинат в Одесской области все-таки будем».

Да и как не строить? Санкция на то Совмина имеется, проект разработан, средства изысканы, наскребли даже строительные мощности в области. А главное, есть сырье, которое любезно готовы предоставить ближневосточные страны почти за бесценок. В частности, уже заключен контракт с Сирией, много нам задолжавшей и уже начавшей расплачиваться фосфоритами. Осталось только построить завод по их переработке...

— Как контракт? Какой контракт? — засуетились одесские «зеленые», узнав об этой новости. И давай копать. Оказалось, сирийские фосфориты — одни из самых «грязных» в мире: содержат такое количество тяжелых металлов (в том числе канцерогенно опасного кадмия и радиационно опасного урана), что ни одна уважающая себя страна их не возьмет и даром. Зато охотно зарубежные фирмы покупают наши кольские, самые «чистые» в мире, фосфориты. Нонсенс! — скажете вы. Не совсем, ответит вам министерство, хоть не за такие уж и большие деньги разбазариваем мы кольское месторождение, зато за валюту.

Справедливо возмущенные ведомственными играми с ними, одесситы добились создания экспертной комиссии Госкомприроды СССР для рассмотрения целесообразности строительства в этом регионе химического завода по производству фосфорных удобрений. Предоставим слово лидеру Одесского экологического клуба Альфреду Цыкало, заместителю председателя этой комиссии.

Цыкало: «Выяснилось, что Минудобрений преднамеренно вводило общественность в заблуждение, в первоначальных данных о химическом составе сирийских фосфоритов не указав наличие в нем радиоактивных веществ. 335 тонн урана и тория ежегодно должно поступать к нам с химикатами, поставляемыми Сирией по контракту. Между тем совершенно не отработан вопрос извлечения этих веществ из исходного сырья».

Учитывая это обстоятельство, а также отсутствие потребности страны в увеличении производства фосфорных удобрений и приняв во внимание экологические реалии нашего региона, комиссия Госкомприроды СССР пришла к заключению о недопустимости размещения химзавода в Одесской области и экономической нецелесообразности подобного акта. Но Минудобрений сочло это заключение безосновательным и всячески стало добиваться его пересмотра. Оно не учло, однако, что все предыдущие действия ведомства в этой истории уже успели послужить мощным толчком к экологизации сознания одесситов...

Что ж, как говорится, нет худа без добра... Но не слишком ли накладно творить добро через худо?

Одесская область

Попечители экспедиции: московские кооперативы «Саят-Новая», «Фархад», «Белка», «Автосток».

Феликс
КРИВИН



НАШ ЧЕЛОВЕК В АНДОРРЕ



Рис. J. OFFENDENDENA

Своим авторам, отправляющимся в путешествие. «Зеленый портфель» всегда советовал одно — напишите-ка,

голуба, иронический путевой очерк.

Иной раз прямо обидно — человек исколесил весь мир, а пишет о грубости приемщицы прачечной в Черемушках. Многие авторы соглашались на наше предложение, но, увы, ничего путного у них не получалось...

Наконец, появилась первая ласточка — председатель Закарпатского отделения Детского фонда, он же по совместительству сатирик, Феликс Кривин совершил вояж на Малую Олимпиаду школьников. И вот теперь делится неизгладимыми впечатлениями.

Граница не знает покоя

На границе между Францией и Андоррой все спали. Два пограничных домика по обе стороны дороги, перекрытой шлагбаумом, никак не отреагировали на наше появление. В одном из них удалось отыскать дежурного и заинтересовать его нашими паспортами. В другом домике толстый человек что-то записывал в бухгалтерскую книгу, — возможно, количество перешедших границу в ту и другую сторону, чтоб не нарушать баланс между жителями той и другой страны. А то в один прекрасный день уйдут все жители из Андорры во Францию или, не дай бог, из Франции в Андорру...

Как говорил мой друг Семенов, вернувшись из очередной поездки в государство Лихтенштейн, хотите знать, почему у нас всюду такие очереди? Потому что мы из своей страны людей не выпускаем. В результате у нас страна переполненная, а у них, в Лихтенштейне, населения не хватает. У нас людей много, поэтому ничего нет, а у них людей нет, поэтому всего много.

Надо людей выпустить, советовал Семенов, пускай едут, куда хотят, заполняют другие государства. В том же Лихтенштейне могло бы, как у нас, выстраиваться тридцать тысяч очередей, а они в каждой очереди оставили по одному человеку. И приходит у них в магазин один человек — там, где у нас приходит целая очередь.

Надо, надо освобождать страну от людей, предлагал Семенов. Если б не люди, мы бы давно коммунизм построили. Но люди мешают. Им, понимаешь, для каждого строй коммунизм, а для каждого нельзя, можно только для некоторых.

В небесах над границей луна засмотрелась, как, разметавшись по материку, спит великая и прекрасная Франция, а у нее под бочком прикорнула крошечная Андорра. И, заглядывая в сны великой страны, Андорра видела и себя такой же великой, и, может быть, в солдатской сумке ей виделся маршалский жезл, хотя солдатской сумке можно найти другое применение.

С ней можно бегать в школу, учиться жить в мире со всеми странами — так, чтоб не понадобилась ни солдатская сумка, ни маршалский жезл...

Дежурный по границе вынес паспорта и пожелал нам счастливого путешествия. Шлагбаум взметнулся, как рука в прощальном взмахе. Мы выезжали из Франции, а за нами граница опять погружалась в сон.

Мы ехали уже по Андорре. Тихо спала маленькая страна, подложив под голову солдатскую сумку, но что-то ей в этой сумке мешало... Неужели маршалский жезл?

Маленькая страна Андорра

Мы привыкли, что наша страна самая большая, что она самая сильная, и нам казалось, что и мы такие. И даже самые слабые среди нас чувствовали себя сильными, когда речь заходила о другой стране, не такой, как наша, большой и вооруженной.

А в Андорре все привыкли, что их страна маленькая. Какими же они казались себе? Неужели такими же маленькими и слабыми? Да и как можно воспитывать в детях патриотизм, когда их страны почти не видно на карте? Например, песню, которая развивается в людях патриотизм — «Широка страна моя родная», — в Андорре совершенно невозможно петь, потому что вся эта страна меньше какого-нибудь Воловецкого района.

Андорра — маленькая страна, и она уже никогда не вырастет в большое государство. Поэтому у нее вся надежда на тех, кто растет. Вот она и пригласила к себе детей разных стран на Малую Олимпиаду школьников.

Прислало своих представителей государство Сан-Марино, которое еще меньше Андорры, так что у него тоже была надежда на детей. И государство Монако, еще меньшее, чем Сан-Марино, — уж ему-то и вовсе, кроме детей, надеяться не на кого.

А наша страна в пятьдесят тысяч раз больше Андорры, в триста пятьдесят тысяч раз больше Сан-Марино, в двенадцать миллионов раз больше Монако, — уж оно-то, кажется, могло б надеяться на себя!

Но и оно прислало своих детей на андоррскую Олимпиаду. Значит, и у большого государства тоже вся надежда на детей.

Потому что какой же смысл в размерах страны, если граждане ее не достигнут настоящего роста?

Страна показателей

У нас легкая атлетика опережает легкую промышленность, ее не стыдно вывозить за рубеж, а легкую промышленность стыдно держать у себя дома.

Легкой атлетике легче. Здесь один спортсмен может быть показателем общих достижений. А один пиджак — это не показатель, его не вывезешь за рубеж. В крайнем случае в нем может выехать руководитель делегации.

Мы — страна показателей. Выставок достижений, а не народного хозяйства. Показатели культурного роста нам заменяют культурный рост, показатели экономического развития заменяют экономическое развитие.

Только в стране показателей могло появиться высокое звание «корова-рекордистка». Потому что при нормальном развитии животноводства коровы не ставят рекорды, а дают молоко.

В латинском языке, откуда родом слово «рекорд», оно почему-то означало воспоминание. Экономические рекорды, в сущности, и означают воспоминания. Помните, какое мясо было до войны? Помните, какая птица была до революции?

Сегодня они только в рекордах — на память, чтоб не забыть. А все остальное — одни показатели.

Андоррец и советико

На крутой и узкой улице Андорры оступился и упал прохожий человек, и тут же его окружили участливые андоррцы: «Советико?»

Да, это был наш человек, но как они об этом догадались? Ну, споткнулся человек, ну, упал... Между прочим, наши люди не такие дороги прошли. И географические дороги, и исторические. У нашего человека позади большая история, а впереди — большое, светлое будущее. У него вся жизнь распределена между прошлым и будущим, андоррцы же целиком живут в настоящем. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в любой магазин.

Товары в магазинах — для нашего человека это главная примечательность. Причем товары не из-под прилавка, не своим знакомым, а совершенно чужим. Первым попавшимся покупателям!

Тут невольно засмотришься, зароешься в землю носом. Чтобы тут же услышать над ухом: «Советико?»

У нас, между прочим, не такие бывают дороги. У нас такие дороги, что любой андоррец шею свернет. А наш человек — ничего, топает к своей заветной цели.

Если поставить рядом советико и андоррца, то один из них непременно будет стоять на голове — в глазах того, который стоит как положено. Андоррец удивляется: если государство не может прокормить население, зачем же оно взимает налог за бездетность? Ведь тогда у него еще больше прибавится населения и еще труднее будет его прокормить.

А наш человек считает: нужно не только кормить население, но и оборонять его от внешних врагов. Андоррцы же рассчитывают, что их защитят Франция и Испания, хотя эти государства сами могут стать их внешними врагами.

Или, допустим, мы говорим в своей пословице: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз. Но все за морем покупают телушку, а мы возем ее туда продавать. Тратим рубль, зарабатываем полушку — вместо того, чтоб на полушке заработать рубль.

Этого тоже не может понять андоррец.

Слишком долго наш человек стоит на голове, но ему все же удается встать на ноги. «А как у вас с писателями?» — ставит он, в свою очередь, на голову андоррца.

Литература нас выручала всегда: чем больше было вокруг бессмыслицы, тем большего она была исполнена смысла. Она, словно аккумулятор, подпитывалась от бессмыслицы. Хотя глупость сама по себе и глупость, но она служит прекрасной пищей уму, и в этой пище никогда не было недостатка.

Андоррец мучительно вспоминает. Кажется, у них был какой-то писатель. Сервантес? Но Сервантес — это испанский. Дюма? Но Дюма — это французский. В Андорре все либо испанское, либо французское.

«А у нас очень много писателей», — говорит наш человек. Теперь он стоит на ногах, и это придает ему уверенности. — Пушкин, Достоевский, Толстой... Чингиз Айтматов, Георгий Арбатов... хотя нет, это не писатель, писатель Рыбаков, а Арбатов — это даже не Арбатов, а дети Арбатова... Тут, конечно, он спутал «Литературный видеоканал» с «Международной панорамой».

Но это ничего. Ну ошибся, ну оступился. Споткнулся, упал, встал, но только, конечно, не на голову...

Не нужно пенять на улицу. Самая крутая улица ведет одновременно и вверх, и вниз, и лишь от пешехода зависит, какое избрать направление.

Великая андоррская литература

Название Андорры до сих пор не имеет объяснения. Известно, что пришли андоррцы из испанской области Каталонии, название которой тоже пока не объяснено.

Эти испанские каталонцы долго боролись за независимость и в процессе борьбы разбрелись по земле, а некоторые, неходя далеко, тут же, рядом с Испанией, образовали свое государство.

Андорру.

Но почему Андорру? Может, они, как Колумб, думали, что пришли в Америку, куда-нибудь в Анды, и назвали Андорру в честь Анд?

А возможно, хотели Испании досадить. У Испании на юге Андалусия, так пусть ей на севере будет Андорра!

Но не забыли андоррцы, что они каталонцы, не стали придумывать какой-то новый андоррский язык, а оставили старый, каталонский. Объявили его государственным.

А потом, уже в нашем веке, когда стали испанцы из Испании прибывать, объявили и испанский язык государственным.

Немного французоз набралось — объявили и французский язык государственным. Когда государство маленькое, ему нравится, чтоб у него было побольше государственных языков.

Три государственных языка — для страны это большое богатство. Вся французская литература — это и андоррская литература. Вся испанская литература — это и андоррская литература. Не говоря уже о каталонской, исконно своей.

Вот уже и немцы стали прибывать, и англичане стали прибывать. Как объявят их языки государственными, ух, какой великой будет андоррская литература!

Слава андоррскому народу!

Обратите внимание: надпись «Хода нет» пишут обычно там, где ход есть, ее как раз и пишут у самого входа. А надпись «Нет выхода» пишут у самого выхода. Там, где их действительно нет, где сплошная стена или забор, такое писать никому не придет в голову.

О том, что пройти нельзя, пишут только там, где пройти можно. Чтоб мы почувствовали: не все то можно, что можно, кое-что из того, что можно, нельзя.

Почему в театре пишут «Не курить» и не пишут «Не стрелять»? Потому что сигареты у зрителей есть, а патронов нет, так что они стрелять все равно не будут. А вот в школе не пишут «Не курить», потому что там курить и без того запрещается.

В Андорре очень много разных входов и выходов, но нигде не встретишь надписей: «Нет выхода», «Нет входа». И ни в одной гостинице не прочитаешь надписи: «Мест нет». Потому что, если в гостинице вывесиваешь табличку «Мест нет», — надо сначала снять вывеску «Гостиница».

Хотелось на каком-нибудь доме процитировать: «Слава андоррскому народу!» Нет такого воззвания. Неужели андоррскому народу совершенно не хочется прославиться? Пусть не во всемирных масштабах, а хотя бы в масштабах своей страны.

И нигде не прочитаешь: «Да здравствует партия большинства!» или: «Под руководством партии умеренных вперед — от победы к победе!»

В Андорре целых три партии. По ее скромным масштабам ей бы хватило одной. Может, тогда появились бы надписи, которых сейчас не хватает?

Но нельзя сказать, что в Андорре совершенно нет никаких надписей. Иногда прямо на улице можно прочитать надпись: «Туалет». И эта тихая надпись подчас важнее, чем громкая: «Слава андоррскому народу!»

Андоррцы преодолевают соблазн рельефа

В отдельных своих точках Андорра поднимается почти на трехкилометровую высоту, и это большой соблазн возвыситься над другими народами.

Но андоррцев всегда украшала скромность. К ней приучило их многовековое более чем скромное существование.

Поэтому андоррцы не называют свою страну Светлейшей республикой, как это позволяет себе Светлейшая республика Сан-Марино. И не называют свой Генеральный Совет Большим Генеральным Советом, как та же Светлейшая республика, у которой и для обычного Совета места не наскребешь.

Можно было бы, конечно, назвать. Рельеф позволяет. Более того, рельеф к этому подталкивает.

Ну и что с того, что Сан-Марино — самая древняя в Европе республика, что у нее самая древняя демократия, которую она одиннадцать столетий отстаивает с оружием в руках? Андорра ничего не отстаивает с оружием в руках, но, смотрите, как много она сегодня имеет.

Так подталкивает андоррцев рельеф, чтоб они возвысились над другими народами.

Но андоррцев всегда украшала скромность. К ней приучила их жизнь.

У Светлейшей республики Сан-Марино под ружьем семьдесят пять солдат и офицеров, но вся эта армия постоянно находится в окружении. Потому что республика со всех сторон окружена Италией, и только от Италии зависит, чем ее окружать: враждебностью или вниманием и заботой. И площадь Свободы в столице республики — это площадь свободы относительной, потому что какая ж свобода в окружении иностранной державы?

Сколько в Андорре высочайших вершин, но андоррцы не решаются называть их Титано, хотя сам рельеф это подсказывает. А в Сан-Марино гора — Титано. Каких-нибудь семьсот метров — и Титано.

Недостаток высоты нередко восполняет недостаток скромности, а подлинную скромность рождает избыток высоты.

Так считают андоррцы.

Андоррцы повышают свой жизненный уровень

В Андорре испанцев в два раза больше, чем андоррцев, и это вызывает опасение, что в один прекрасный день Андорру переименуют в Испанию. И приходиться андоррцам бороться за независимость в своем собственном государстве.

Возникает проблема большинства, которое является большинством лишь количественно, но явное меньшинство по своей сути. Приходится доказывать большинству, что оно меньшинство.

Но андоррцы никогда не ругают испанцев за то, что их много. И не вывешивают плакаты «Андорра — только для андоррцев!», «Испанцы, уберите в Испанию!».

Андоррцы понимают: в плохую страну иностранцев не заманишь, и если иностранцев много, это верный признак, что страна хорошая.

Почему иностранцы едут не в Анголу, а в Андорру? Хотя и Ангола хорошая страна, но иностранцы туда едут меньше. Их пугает ее жизненный уровень.

В Андорре тоже был невысокий жизненный уровень, пока на ее дорогах не появился первый иностранный турист. Он прогулялся по горам и поинтересовался, где здесь гостиница.

И андоррцы поняли, что нужно строить гостиницы.

Турист еще прогулялся и спросил, где здесь автозаправочная станция.

И андоррцы поняли: нужно строить автозаправочные станции.

Потом стали приезжать другие туристы, интересовались кто магазинами, кто канатными дорогами, — и так постепенно повышали жизненный уровень андоррцев.

Некоторым туристам так здесь нравилось, что они оставались в Андорре навсегда. Вот тогда и возникло опасение, что эти туристы превратят Андорру в Испанию, Португалию или еще в какую-нибудь страну.

Сейчас в Андорру приезжают от десяти до пятнадцати миллионов туристов в год и каждый год повышают ее благосостояние. Но для тех, кто пожелает остаться в Андорре, существуют очень строгие ограничения.

Так, иностранец, живущий в Андорре, не может иметь больше трех автомобилей — очень большое ограничение, учитывая здешний жизненный уровень. И не может иностранец сидеть в андоррской тюрьме. В той самой тюрьме, что расположена в Доме правительства, рядом с рестораном, куда заключенных водят питаться, не могут сидеть некоренные андоррцы, хоть и закоренелые преступники. Для них наказание строже — навсегда покинуть эту страну.

Очень мудрое решение национальной проблемы. Чтоб не дать инородцам растворить в себе коренное население, им разрешается иметь четыре автомобиля и сидеть в андоррской тюрьме не раньше, чем в третьем поколении.

Полиция Андорры

Кольцевой дороги в Андорре нет, слишком тесно ее обступают горы, поэтому по центральным улицам движется вся механизация — от миниатюрных легковушек до тяжеловозов величиною с дом.

Чем тяжелее тяжеловоз, тем тяжелее создаваемая им вокруг себя атмосфера, однако даже самая тяжелая атмосфера не способна испортить атмосферу благожелательности, которую распространяет вокруг себя регулировщик движения.

Скептики полагают, что размеры благожелательности андоррских полицейских определяются размерами их зарплаты. Это соблазнительная точка зрения для тех, кто приличную зарплату видел только во сне. Однако в жизни можно встретить немало людей, в которых самая большая зарплата не способна родить и крупницы благожелательности, и даже чем больше зарплата, тем больше в них самого откровенного, разнузданного хамства.

Когда андоррский регулировщик останавливает движение, он делает это легким взмахом руки, напоминающим птицу, взлетевшую и замершую в полете. Иногда он даже прижимает руку к сердцу, извиняясь перед водителем за то, что придется ненадолго его задержать. Невозможно определить, кому он отдает предпочтение — транспорту или пешеходам. Иногда кажется, что пешеходам. — так радушно, почти любовно он приглашает их перейти улицу. Словно на другой стороне улицы их ожидает другая, более счастливая жизнь.

Но вот двинулся транспорт, и жест, адресованный пешеходам, можно истолковать так: извините, граждане, счастливой жизни пока не будет, если не хотите, чтоб вас раздавили, со счастливой жизнью придется подождать.

Судя по всему, в этой стране никто не нервничает. Не исключено, что государственная система и нервная система каким-то образом связаны между собой, и задача полиции в том и состоит, чтоб охранять государственную систему от нервной системы населения.

Или наоборот.

Первый советико

В 1929 году в Андорру приехал первый советико.

В стране советико это был год великого перелома и других великих побед, которые в то время еще не воспринимались как великие поражения. Перелом есть перелом, и ему приходится долго и трудно сростаться.

А советико уехал. В такой ответственный для страны момент. Причем страна несколько его не удерживала.

Звали этого советико Троцкий.

Он бродил по Андорре, пытаясь определить революционную ситуацию. Но революционной ситуации в Андорре не было лет восемьсот и в ближайшие восемьсот лет ее не предполагалось. Андорра в то время была нищая страна, как же она могла позволить себе революцию?

Демократия — вот было единственное ее богатство. Самая старая в Европе демократия.

Но Троцкому не нужна была демократия. Ему нужна была диктатура пролетариата.

Поэтому он покинул Андорру и уехал в другую страну.

Король республики

По дорогам Андорры прошли испанская и французская истории, так что для своей истории места почти не осталось. И на это место, которого почти не осталось, в 1934 году вступила русская история.

После отъезда советико Троцкого, которому не удалось установить в Андорре диктатуру пролетариата (по причине отсутствия пролетариата), в Андорру приехал Борис Скосырев, эмигрант и матерый антисоветико, который мыкался по Европе, ища, где бы восстановить монархию взамен утраченной в России.

Хотелось бы, конечно, во Франции, но во Франции не удастся. И в Германии не удастся, там совсем другие завариваются дела.

И тут-то антисоветико Скосыреву подвернулась Андорра. Такая старая республика, что это могло бы ей и надоесть.

Республика Андорра ничего не имела против монархии: ведь она была порождением двух монархий. Она потому и возникла как республика, что две монархии — Испания и Франция — не могли поделить ее между собой.

Две монархии могут родить республику, а при одной монархии республика возникает только на ее могиле. Могила монархии — колыбель республики, но колыбель иногда остается пустой, потому что могила стремится остаться могилой.

Реставратор монархии Скосырев легко захватил власть в Андорре и объявил себя королем, но республика оставалась республикой. Монархией, но республикой. И не потому, что андоррцы как-то сопротивлялись, они просто не интересовались политикой. Может, они вообще не отличали монархию от республики, а просто различали плохую и хорошую жизнь. При республике у них была плохая жизнь и при монархии была плохая жизнь. Как же они могли отличить монархию от республики?

Семь лет просидел на троне король, и никто этого не заметил. Он издавал манифесты, декреты, указы, обращался со всех высоких трибун к андоррскому народу, но никто его не слышал и не читал. Потому что андоррцы не интересовались политикой.

А потом из Германии пришли люди, которые интересовались политикой, и отправили андоррского короля в концентрационный лагерь.

Так окончил свое правление Борис Первый, он же Последний, он же Единственный во все времена андоррский король, установивший в Андорре монархию взамен утраченной монархии в России.

Андоррцы полагаются на свою память

Почему у нас так много памятников? Потому что мы не полагаемся на свою память. Мы забываем, что недавно еще хвалили человека, и начинаем его ругать. Или забываем, что ругали, и начинаем хвалить. Или вообще забываем человека.

Другое дело, если памятник. Посмотрел на него — и вспомнил. Опять посмотрел — и опять вспомнил. А если памятник на каждом шагу, можно на каждом шагу вспомнить человека.

Но в Андорре-то этих шагов — раз, два и обчелся. И если всюду ставить памятники, нигде будет жить живому человеку. Будут жить одни каменные, бронзовые, а живому хоть помирай.

Поэтому у андоррцев одна надежда — на свою память. Был, допустим, великий француз, проезжал из Франции в Испанию. Или великий испанец из Испании во Францию проезжал. Им бы можно было поставить памятники. Но андоррцы просто помнят: был такой великий француз, был такой великий испанец.

О великих андоррцах нечего и говорить, кто ж их забудет, когда всех андоррцев — раз, два и обчелся?

Туристы, конечно, ищут, на фоне кого им сфотографироваться. Чтоб туристу себя запечатлеть, ему непременно нужен фон великого человека.

Но андоррцы знают, чем привлечь туристов. Из того же камня, из которого другие воздвигают памятники, они строят гостиницы, очень много гостиниц. И дороги, по которым ехать в гостиницы. И автозаправочные станции, чтоб было где заправиться в дороге. И магазины, и рестораны, чтоб дорога была веселой.

И туристы едут и не спрашивают, какой там фон, и фото-

графируются просто на фоне гор, которые величественнее, чем памятник самому великому человеку.

Свобода от денежного мешка

Пока мы жили в гостинице, автобус, доставивший нас в Андорру, покорно дожидался нас у дверей, а его водитель Антонио Перес Пуэрес целыми днями околачивался в гостинице, совершенно бездарно тратя свое рабочее время.

Вообще мы заметили, что андоррцы не в ладах с экономикой. В магазинах, отпуская незнакомому человеку товар, то и дело добавляли что-то бесплатно, хотя никто у них этого не просил, их товары покупали и так, без этих бесплатных приложений.

Андоррские предприниматели демонстрировали нам свободу от денежного мешка, какой мы не могли ждать от капиталистов. Мы-то думали, что у них зависимость от денежного мешка, а зависимость оказалась у нас, правда, не от мешка, потому что денежного мешка мы и в глаза не видели. Продавцу в нашем магазине легче положить чужую десятку себе в карман, чем отказаться от копейки в пользу покупателя.

Впрочем, в Андорре на моих глазах наш человек продемонстрировал свободу от копейки. Какой-то зарубежный миллионер сделал ему ценный подарок, видимо, в расчете, что наш человек тоже подарит ему что-то ценное. А у нашего человека ничего ценного не нашлось, и он, чтоб как-то миллионера отдарить, вручил ему нашу советскую копейку.

Миллионер горячо его поблагодарил, и наш человек так прокомментировал его благодарность:

«Он потому и миллионер, что знает цену каждой копейке».

У нас всегда копейка рубль берегла. Берегла да не убергла: по ценности своей наш рубль все больше приближается к копейке.

Так что мы, как никто, свободны от денежного мешка. Но вот почему андоррцы свободны от денежного мешка — это остается для нас загадкой.

Деньги

Мы зорко стережем границу между бедностью и благосостоянием. То ли чтобы бедность от нас не ушла, то ли чтобы к нам не пришло благосостояние. Таможенники следят, чтобы граждане не вывозили отечественных денег и не ввозили валюту, хотя по логике они должны следить наоборот. Чтобы отечественных денег, которых в стране избыток, побольше вывезли, а валюты, которой не хватает, побольше ввезли.

Отечественные деньги у себя в отечестве не в цене, потому что их можно сколько угодно напечатать. Даже тогда, когда у нас очень многое запрещали печатать, деньги печатали без всякого ограничения. И чем больше печатали, тем больше хотелось печатать еще. И в результате — инфляция.

Андоррцы придумали остроумное средство от инфляции: у них просто нет своих денег. И при этом они миллионеры — вот что значит, когда в стране нет инфляции.

Правда, чужих денег у них много. И долларов, и франков, и песет. А чужие деньги — это не деньги уже, а валюта.

Может, и наш рубль, если б его где-нибудь за деньги считали, тоже стал бы валютой. Не потому ли его из страны не выпускают, что опасаются: а вдруг его где-нибудь за деньги будут считать? И тогда купят у нас за наши рубли то, что у нас продается только за валюту.

Нет уж, лучше так, как в Андорре: чтоб своих денег вовсе не было. Тогда можно все покупать за валюту, а на валюту, как известно, все можно купить. Тут и миллионером недолго стать, если все покупать исключительно на валюту.

Страна использованных возможностей

Андорра — страна использованных возможностей. Все возможности использованы, дальше дороги нет.

Дефицит отсутствует. Куда же двигаться? К дефициту? От полного изобилия к полному шаром покати?

Можно, конечно, построить атомную станцию или химический комбинат, можно повернуть реку Валиру в противоположную сторону. У них такие скалы, что ни одна химия не возьмет. Ни одна радиация не возьмет. А они на этих скалах строят гостиницы, пансионаты. Туристские кемпинги.

Мы бы тоже могли развивать туризм, если б заботились

только о благосостоянии и здоровье. Но нам надо рабочие руки занять.

Построили мы в зоне отдыха комбинат по производству отходов. Рядом с комбинатом люди отдыхают, на комбинате люди работают. Очень удобно. И нет безработицы — если, конечно, каждую зарплату делить на двоих.

Но люди недовольны. Стало вредно купаться, воду пить и вообще дышать в зоне отдыха. Да и на половину зарплаты трудно семью прокормить.

Вот как получилось. Старались рабочие руки занять, а о ртах не подумали. А голодный человек все равно что безработный, — с той только разницей, что работать приходится целый день.

Чтоб людей накормить, бросили на поля всю химию. С химией урожай значительно выше. Но людям не нравится — нитраты в продуктах, говорят. Им объясняют: нитраты — вещества не такие уж отравляющие, среди отравляющих веществ они на двадцать девятом месте. Если, конечно, начинать с цианистого калия.

В Андорре другой разговор. Промышленности нет, сельского хозяйства нет, сплошной туризм, и при этом у каждого персональная зарплата. Да у нас бы при этом такая безработица была!

У них на пятьдесят тысяч населения не то десять, не то пятнадцать миллионов туристов. Сколько ж мы на триста миллионов должны иметь?

Шестьдесят миллиардов как минимум!

Шестьдесят миллиардов туристов — вообще-то не проблема, но как в этой сплошной зоне отдыха рабочие руки занять?

Наш человек в Андорре

У них в Андорре самое дорогое — это земля. Потому что она плохая. Чувствуете логику?

У нас земля отличная и поэтому ничего не стоит. Но мы ее постепенно делаем плохой. Когда совсем сделаем плохой, тогда она тоже станет такой дорогой, как в Андорре.

А пока у нас, кроме земли, хватает дорогого. Или просто отсутствующего.

Привезли бы к нам такого андоррца, поменяли ему валюту на рубли в ограниченном количестве да пустили б по нашим магазинам широкого пользования, тут бы он заинтересовался памятниками архитектуры.

Потому что чем же еще интересоваться человеку в стране неиспользованных возможностей? Ходил бы, пересчитывал в кармане рубли и все спрашивал: а эта церковь какого века? А эти развалины еще с тех времен или их уже в наше время развалили?

И совсем другое дело, когда в Андорру приезжает наш человек. Поменяет два рубля на три доллара — обрадуется. Поменяет три доллара на триста песет — еще больше обрадуется. Но, конечно, этой радости мало.

Крутнется туда-сюда, поменяет еще что-нибудь на песеты. Потом еще что-нибудь на песеты. Глядишь: и наш человек на фоне андоррских миллионеров неплохо смотрится.

Когда наш человек возвращается из Андорры домой, самолет долго машет крыльями, не в силах взлететь от такого непосильного груза.

Потому что наш человек — из страны неиспользованных возможностей, он использует любые возможности, но для этого его нужно выпустить в другую страну.

А в своей стране он лучше постройит БАМ. Он лучше осушит Арал. В своей стране он сделает все, чтоб его страна и дальше оставалась страной неиспользованных возможностей.

Андоррцы следуют национальным традициям

Легкая атлетика пришла к нам из Древней Греции, теннис из Англии, дзюдо из Японии. А плавание вообще из Мирового океана.

Наибольшего расцвета плавание достигло в те времена, когда наши предки еще не вышли из моря на сушу. Вот тогда они плавали! А как вышли на сушу, стали потихоньку этот вид забывать.

То же самое с легкой атлетикой. В Древней Греции, по свидетельству очевидцев, один бегун так быстро бежал, что даже не оставлял следов. А мы оставляем следы. Результаты можем не оставлять, а следы непременно оставляем.

Плавание — это была жизнь, легкая атлетика — соревно-

вание, теннис — игра, а дзюдо — борьба. Из четырех этих видов, представленных на Малой Олимпиаде в Андорре, наши большие все были готовы к борьбе. Потому что мы всегда готовы к борьбе.

Андоррцы же были не готовы к борьбе, такая у них национальная традиция. У них в детской борьбе вообще запрещены болевые приемы. Как будто это не борьба, а утренняя гимнастика.

Потому что им, андоррцам, жалко детей.

Мы говорим: но ведь если жизнь — борьба, жалость не уместна. Это не нами сказано, это сказано задолго до нас.

Но им неинтересно, что там сказано задолго до нас, у них другая национальная традиция. И состоит она в том, что детям нельзя делать больно.

Как тут бороться? Наши эти болевые приемы применяют автоматически. Два-три таких приема — и считай, что ты проиграл.

И все-таки наши выиграли. Без болевых приемов.

Оказывается, и мы умеем по-хорошему побеждать.

Хотя жизнь, конечно, борьба, но, может, именно поэтому жалость в ней особенно уместна?

Великая страна Андорра

Андорра — великая страна. И вовсе не потому, что территория ее равна трем Лихтенштейнам, семи Сан-Марино и более чем двумстам княжествам Монако. Бывают территории еще большие, но не они определяют величие страны.

И вовсе не потому Андорра великая страна, что она вооружена до зубов и держит в страхе всю окружающую Европу. Она вообще не вооружена, у нее под ружьем нет ни одного солдата.

Почему же она великая? Может быть, она победила в великой войне? Может быть, она победила в великой революции?

Андорра выплавляет стали ноль единиц на душу населения, добывает нефти ноль единиц на душу населения, производит комбайнов, самосвалов, атомных электростанций ноль единиц на душу населения...

Но душа ее населения спокойна, ее не мучит проблема, как заработать на то, чего негде купить, как защитить себя от нитратов и бюрократов... Вот поэтому Андорра — великая страна.

Вечные снега

И вот мы в автобусе, который увезет нас обратно в Париж. Хозяева гостиницы поставили нам на дорогу ящик яблок и ящик апельсинов — просто удивительно, как им удается не зависеть от денежного мешка! Вероятно, нужно иметь очень большой мешок, чтобы вот так от него не зависеть.

Они стоят на дороге и машут нам вслед, и все удаляются от нас вместе с вершинами, покрытыми вечными снегами.

Мы видели эти снега вблизи, мы играли в снежки вечными снегами.

Игра в снежки вечными снегами — забава нашего времени, когда ничего вечного почти не осталось. Как не вспомнить классику: «Мне не нужна вечная игла, я не собираюсь жить вечно».

Все только начиналось с вечной иглы, главное было не в ней, а в том, что никто не собирался жить вечно. Людям объяснили, что они не вечные, вот они и не собирались жить вечно.

Первая очередь в Андорре: очередь автомобилей на границе. Тут можно простоять не один час.

Но к нам подъезжает полицейский:

«Советико?»

«Советико».

Он делает знак следовать за ним и доставляет нас к началу очереди.

Мы протягиваем пограничнику паспорта, но он в них не смотрит.

Нас пропускают, не заглянув в паспорта.

Здесь нам доверяют. А дома не хотят доверять. Дома видят в нас потенциальных преступников.

Может быть, потому, что там у нас никто не собирается жить вечно?

А вечные снега при ближайшем рассмотрении оказались просто старыми и грязными снегами. Они только кажутся вечными, когда смотришь на них, задрав голову, и видишь их высоко-высоко...

г. Ужгород.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» ЗА 1989 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ

АКСТНОВ Василий. Золотая наша Железка	6,7
ВОИНОВИЧ Владимир. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чокина (окончание)	1,2
ВОДКОВ Олег. Горстка праха	3
ГРИБЕР Алла. Мама и папа	5
ГОЛОВИН Геннадий. Чужая история	9,10
ДИК Филипп К. Помутнение	4,5,6
ДЫШЕВ Сергей. Да воздастся	8
КОЖЕВНИКОВ Петр. Ученик	4
КОЗЛОВ Юрий. Имущество движимое и недвижимое	2
ПОДЯКОВ Юрий. «Апофетис»	5
ПРИСТАВКИН Анатолий. Кукушата	11,12
РАЗГОН Лев. Непридуманное. Часть 2	1,2
ГВАРДОВСКИЙ Иван. Страница пережитого. Часть 2	10, 11

РАССКАЗЫ

БЕЛЯЕВ Артур. Зрелое лето. Накануне. Просыпаясь	12
БОРОДИН Леонид. Встреча. Вариант. Посещение	11
ГАВРИЛОВ Анатолий. В преддверии новой жизни. Гантенбаши и кабаны	6
ИСКАНДЕР Фаизель. Молния, мужчина, или Четвертый пушкнист	3
ЛАНИНА Александра. Встреча	5
ЛАНУТИН Евгений. Дождь	3
СКОРОБОГОВ Александр. Натан	10
СОКОЛОВ Саша. Общая тетрадь, или Групповой портрет СМОГА	12
ЦВЕТАЕВА Анастасия. Зимний старческий Коктебель	9

ПОЭМЫ, СТИХИ

АКОПЯН Армен	9
БАРДОЛЫМ Александр	1
БЕЛОВСКАЯ Мария	1
БЕЛОРУСЦЕВ Сергей	5
БЕРЕСТОВ Валентин	8
БЕЛЖЕВСКИЙ Евгений	5
БОГАТЫРЬ Владимир	8
БОЛЫШАКОВ Владимир	12
БОЛОТОВСКИЙ Михаил	10
БУНИМОВИЧ Евгений	2
БУШУЕВ Дмитрий	10
БЫКОВ Дмитрий	10
ВАШЕНКИН Константин	12
ВЕГРОВА Виктория	11
ВИНОКУРОВ Евгений	6
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей	11
ВОРОПАЕВА Любовь	3
ГАНДРОВСКИЙ Сергей	8
ГЕЛЬМАН Виктория	10
ГОРЬБОВСКИЙ Глеб	11
ГОФФ Инна	8
ГУГОШ В Юлий	10
ГУМЕРОВ Рифат	10
ГУЩИНА Юлия	6
ДУБРОВИН Борис	7
ЗЛОТНИКОВ Наташ	5
ИВЧЕНКО Вита	11
ИЛЬИН Александр	1
КАБАКОВ Марк	8
КАЗАНЦЕВ Василий	3
КАЗАНЦЕВА Елена	10
КАЛАШНИК Гена	12
КАЛИНИЧЕНКО Владимир	4
КАНОПЕНКОВ Владимир	10
КАЦ Георгий	5
КАШЕЖЕВА Инна	2
КВАШНИН Вадим	10
КЕКОВА Светлана	1
КЛЕТИНИЧ Борис	10
КОВАЛЕВ Анатолий	3
КОВАЛЬДЖИ Кирилл	8
КОЗЛОВСКИЙ Яков	4
КОНДАКОВА Надежда	7
КОРОТАЕВ Виктор	7
КУСДОВ Валерий	1
КРАДИМОВА Марина	1
КУЗОВЛЕВА Татьяна	12

КУДИНОВ Михаил	11
КУЛГА Виктор	10
КУПЧЕВ Борис	6
КУШНЕР Александр	6
ЛАВИНСКИЙ Леонард	9
ЛАПТЕВ Михаил	11
ЛИПЬКОВА Людмила	10
МАКСИМЕНКО Татьяна	1
МАРКОВ Алексей	7
МОВЧАН Павло	6
МУКАШЕВА Роза	4
МУРАТОВ Игорь	4
НАТАРОВСКИЙ Николай	4
НЕМЕРОВ Говард	5
НИКИШИН Николай	1
НОВИКОВ Денис	11
ПАТАЦКАС Гинтарас	10
ПИВОВАРОВА Юлия	10
ПИЛЯГИН Александр	10
РАЙХЕР Виктория	11
РЕШЕТОВ Алексей	9
РУБИН Валерий	7
РУДОЙ Ной	7
РУСАКОВ Геннадий	6
РЫБЧИНСКИЙ Юрий	2
РЯШЕНЦЕВ Юрий	12
САВЕЛЬЕВ Владимир	11
САЛИМОН Владимир	4
СЕЛЫЦ Евгений	10
СЕРГЕЕВА Галина	10
СИГОВ Константин	10
СЛЕПАКОВА Нонна	8
СЛЕПАЯ Ирина	1
СМЕРТИНА Татьяна	12
СТЕФАНОВА Лияна	1
ТАРАКАНОВА Лариса	11
ТКАЧЕНКО Александр	6
ТРУНЕВ Андрей	10
ТЮРИН Аркадий	3
ХЛЕБНИКОВ Олег	6
ЧИЧИБАБИН Борис	2,4
ЧУРДАЛЕВ Игорь	2
ШЕФНЕР Вадим	6
ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь	9
ШУРМАК Григорий	3
ЮЛАХИН Александр	6

ПУБЛИЦИСТИКА

АЧИЛЬДИЕВ Игорь. Идол	10
ВИШНЕВСКАЯ Галина. Солженицын и Ростропович. 20-я комната. Заседания двадцать первое — тридцатое.	6,7 1,2,4, 6—12
ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. Кто во «Взгляде»	1
Кто приходил ночью в худом очинном туалете	5
ЗОРИН Александр. В ожидании фрей Кымгансана	6
КАЛИНИН Александр. На ВАЗ посмотреть — себя показать	3
КАЛИНИЧЕНКО Владимир. «Точка отталкивания» — 1	7,8
КАРПОВ Анатолий. «Перестройка — это борьба и действие»	4
КОБЗОН Иосиф. Последний аккорд	4
КОВАЛЬДЖИ Кирилл. Сегодняшними глазами	6
КОЗЬКО Виктор. Хроника несостоявшегося митинга	7
КОЛОБАЕВ Андрей. Демократия по разрешению	4
«Почему я не уйду из «Космоса»?»	7
КУНИЦЫН Иван. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...»	4
КУПРИЯНОВ Александр. Долгая дорога в лес	12
ЛУКЬЯЕВ Владимир. А вы вернетесь, верьте мне	1
МЕДВЕДЕВ Рой. Они окружали Сталина	3,5,6, 8,9,12
ПРИВАЛОВ Кирилл. Заговор насилия	7
«Сколько лиц у милиции?»	1
СТАНКЕВИЧ Сергей. «Там, где начинается единство, там заканчивается парламент»	9
ТИХОНОВ Владимир. Земля — крестьянам!	10

Трагедия и боль Армении	2
ФАДИН Андрей. Страх-2	10
ХОХРЯКОВ Геннадий. Мафия в СССР: вымыслы, домыслы, факты	3
ХУРГИНА Ирина. «МАНСЭ!»	11
ЩЕРБАК Юрий. Как я стал народным депутатом	6

КРИТИКА.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

АКСЕНОВ Василий. «Я, по сути дела, не эмигрант» (Беседа с А. Анна Пугач)	4
АННИНСКИЙ Лев. Не пеняй на зеркало	12
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр. «Ты один мне надежда и опора...»	8
БЕК Татьяна. В переломные времена	3
БОКОВ Виктор. Собеседник роц	11
БРЮДСКИЙ Иосиф. Скорбная муза	6
ЗОЛОТУССКИЙ Игорь. Куда ж нам плыть?	11
ИВАНОВА Наталья. Мертвая роща	2
Потасанный Тендряков	9
КАМЯНОВ Виктор. Испытание соседством	1
ЛАЗАРЕВ Л. «Читаю мемуары разных лиц»	10
ЛАКШИН Владимир. Не прячь глаз	2
От редакции	10
ПУГАЧ Анна. «Когда ходишь пешком»	5
В гостях у «Континента»	12
САРНОВ Бенедикт. Над схваткой	1
СЕСЛАВИНА Елена. Без розовых очков	5
СИНЯВСКИЙ Андрей. Диссидентство как личный опыт	5

НАША ПУБЛИКАЦИЯ.

НАСЛЕДИЕ

АВЕРЧЕНКО Аркадий. Дюжина ножей в спину революции. Предисловие В. И. Ленина	8
АЛДАНОВ Марк. Астролог	4
Святая Елена, маленький остров	9
БАЛТЕР Борис. Самарканд	10
БЕЛАЗ Юрий. Стихи	8
БЕРДЯЕВ Николай. Истоки и смысл русского коммунизма (Страницы книги)	11
КИСЕЛЕВ Леонид. «Осип Мандельштам». Поэма	9
КЛЕШЕНКО Анатолий. Стихи	8
ЛЕБЕДЕВ Алексей. Верность морю. Стихи	8
ЛОСЕВ Алексей. И не погаснет то, что раз в душе зажглось	6
МАНДЕЛЬШТАМ Надежда. Воспоминания	7,8,9
ОЛЕША Юрий. Юношеские стихи	5
САВИНОВ Б. (РОПШИН В.). Конь вороной	3
СЛУЦКИЙ Борис. Стихи	6
СОЛОВЬЕВ Владимир. Судьба Пушкина	6
ШЕХТЕР Марк. Стихи	3

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей. Я=R (О выставке Раушенберга в Москве)	5
ГАНЧИКОВА Виктория. На святой земле, родившей Мусоргского	12
ЗАБОЛОТСКИХ Борис. Мстиславовна грамота	10
КАРЕТНИКОВ Николай. Темы с вариациями	9
КОРОТКОВ Олег. «Мы в самом начале пути»	10
«На жизнь, на торг, на рынок»	4
ЛИПАТОВ Виктор. «Палыч»	1

Белый танец с чиновником и без него . . . 9
 Пейзаж ранящего одиночества . . . 7
 ЛУКЬЯНЧИКОВ Сергей. Жить без кавычек . . . 2
 ОБРОСОВ Игорь. «Край родной долготерпенья» . . . 8
 ПИСТУНОВА Александра. Россия Нестерова . . . 12
 ТЫШЛЕР Александр. О себе. . . 11
 ЯБЛОНСКАЯ Татьяна. Несколько слов о Серёже Хаджинове . . . 10
 ЯКИМЧУК Николай. «Я работал — я писал стихи. (Дело Иосифа Бродского)» . . . 7

НАУКА И ТЕХНИКА

Жизнь под угрозой (Всесоюзная экологическая экспедиция «Юности») . . .
 Кто обуздает мирный атом? (Интервью с В. Кизяковским) . . .
 КУНИЦЫН Иван, НИКОЛАЕВ Алексей. Во славу чего Вавилонская башня? . . .
 Короткая жизнь или долгая смерть? . . .
 Недоумие или преступление? . . .
 Одесса . . .
 На колени перед смертью? (Диалог социолога Б. Куркина и доктора физико-математических наук Н. Работнова) . . .
 Противостояние (По следам публикации «Помогите благу сбыться») . . .
 Процент величия (Интервью с профессором Б. И. Исаковым) . . .
 Убивающий миф (Беседа с социологом Б. Куркиным) . . .

ПОЧТА «ЮНОСТИ»

БЕРЕЗИН Феликс. История ордера на арест Берия . . .
 ВЕСНИН А. Выполняя приказ (Комментарий Ю. Зерчанинова) . . .
 И никаких гвоздей (Отклики на статью Н. Шантырь) . . .
 МОЛЧАНОВА Н. В. Об «офисерике да голубчике» . . .
 Письмо в редакцию . . .
 Подборка читательских писем . . .
 Рандеву с Прекрасной Дамой . . .

ЧЕРЕНЕВ Михаил и другие. «ГЛСНСТ?» . . . 5

СПОРТ

ЛУКЬЯЕВ Владимир. Подрядчиков-младший и другие . . . 9
 ШЕНКМАН Стив. Цена прыжка . . . 4

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

ВЛАДИН Вл. Я — депутат . . . 9
 ВЛАХКО Борис. Там . . . 1
 ГРЕЧАНИНОВ Владимир. Если бы я был . . . 7
 ДЕКАЛЬБАУМ Алексей. Признание . . . 6
 ДУДОЛАДОВ Александр. Всем! Всем! Всем! . . . 5
 ЕВТУШЕНКО Сергей. ЛАДЧЕНКО Владимир. Про Фатова . . . 10
 ИВАНОВ Александр. Пародии . . . 9
 ИРТЕНЬЕВ Игорь. Иронические стихи . . . 10
 КОКЛЮШКИН Виктор. Посмотри в окно. . . 6
 Тяжела ли шапка... Минчермета? . . . 10
 Косая линейка . . . 8
 КОТЮКОВ Лев. Борьба. Брожение умов . . . 10
 КРИВИН Феликс. Наш человек в Андорре . . . 12
 НЕХОРОШЕВ Алексей. 1937. Допрос. . . 10
 НОВОЖЕНОВ Лев. Монолог оптимиста. . . 8
 ПАВЛОВА Муза. Первый, второй . . . 10
 ПЕЛЕВИН Александр. . . 8
 Урбаноид . . . 8
 ПОЛЕЙКО Вячеслав, ЧУДОДЕВ Валерий. Завод восходящего солнца . . . 5
 САТУНОВСКИЙ Ян. От иронии до сарказма . . . 4
 СЕРГЕЕВ Павел. Рассказы на ладошке . . . 3
 СЛАВКИН Виктор. Исповедь графомана . . . 1
 СОЛОМИН Виктор. Цезарь и шут . . . 7
 ХОРТ Александр. Слесарь Элизабет . . . 7
 ЧИПУРИН Владимир. Мы — металлисты! . . . 3

В НОМЕРЕ:

Проза

Артур БЕЛЯЕВ. Рассказы (2).
 Анатолий ПРИСТАВКИН. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца. Повесть. Окончание (7).
 Саша СОКОЛОВ. Общая тетрадь, или Групповой портрет СМОГа. Интервью взяла С. Адамов (66).

Поэзия

Татьяна КУЗОВЛЕВА (5), Татьяна СМЕРТИНА (6), Константин ВАНШЕНКИН (47), Гено КАЛАНДИЯ (69), Владимир БОЛЬШАКОВ (85)
 Юрий РЯШЕНЦЕВ. Ночная машина. Поэма (70).

Публицистика

20-я комната. Заседание тридцатое (48).
 Александр КУПРИЯНОВ. Долгая дорога в лес (56).
 Рой МЕДВЕДЕВ. Онн окружали Сталина. Глава шестая: Штрихи из жизни Михаила Суслова (72).

Критика

Лев АННИНСКИЙ. Не пеняя на зеркала (78).
 Анна ПУГАЧ. В гостях у «Континента» (80)

Культура и искусство

Виктор ГАНЧИКОВА. На святой земле, родившей Мусоргского (62).
 Александра ПИСТУНОВА. Россия Нестерова (64).

Наука

Иван КУНИЦЫН, Алексей НИКОЛАЕВ. Одесса (86).

Зеленый портфель

Феликс КРИВИН. Наш человек в Андорре (90).
 Содержание журнала за 1989 год (95).

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.
 Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление обложки К. Кедрина
 Главный художник О. Кокин
 Художник Ю. Цишевский
 Технический редактор О. Трененок.

Сдано в набор 28.09.89. Подп. к печ. 30.10.89. А 13110.
 Формат 84×60% Бумага офсетная.
 Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
 Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
 Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 1290.
 Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1. Тел. 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда» «Юность», 1989 г.



За Волгой. 1922 г.

Михаил
НЕСТЕРОВ
1862—1942 гг.

Смотрите нашу вкладку.

Девушка у пруда. 1923 г.

Портрет дочери
Наталии Михайловны.



**ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
КООПЕРАТОРОВ
И ПРОСТО ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!**

**С нового года наш журнал,
имеющий многомиллионную читательскую аудиторию,
будет публиковать
КОММЕРЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ.
Телефон Агентства: 285-76-54**

НЕРАСТОРОПНОСТЬ И КОММЕРЦИЯ — НЕСОВМЕСТИМЫ!

Юность. 1989. № 12. 1—96.
Индекс 71120
70 коп.



ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ОКТАБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

СЕНТЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

АВГУСТ

1 9 9 0

ДЕКАБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

1990

1990

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31